

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

№ Славяноведение  
№ 1



СЛАВЯНО ·  
ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

# Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6  
2003

НОЯБРЬ ●

ДЕКАБРЬ ●

Содержание

## К 250-ЛЕТИЮ ЙОЗЕФА ДОБРОВСКОГО

<i>Нещименко Г.П.</i> (Москва). Великий чешский ученый Йозеф Добровский .....	3
<i>Лаптева Л.П.</i> (Москва). Йозеф Добровский и русское славяноведение в XIX веке .....	19
<i>Страхова О.Б.</i> (Кембридж, США). Языковая практика создателя “Слова о полку Игореве” и лингвистические взгляды Йозефа Добровского .....	33

## СТАТЬИ

<i>Максимович К.А.</i> (Москва). Службная майская минея как памятник древнеболгарского книжного языка (К новейшему изданию Путятинной минеи XI века) .....	62
Из словаря “Славянские древности” .....	71

## СООБЩЕНИЯ

<i>Косик В.И.</i> (Москва). Русская Церковь в Болгарии (1940–1950-е годы) .....	85
<i>Иванова А.</i> (София). Сербия в критике и публицистике Ивана Вазова .....	94
<i>Гальвоник А.</i> (Братислава). Словацкая проза после 1989 года .....	97
<i>Белякова С.М.</i> (Тюмень). Признаки “глубокий” и “высокий” в народной культуре .....	100

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Носова А. М.</i> Otáhal. Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání .....	103
<i>Ржанникова О.А.</i> Н.В. Котова. Горно поле. Дупнишко. Речник .....	106

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Березович Е.Л., Толстая С.М.</i> Конференция “Славянская этнолингвистика и проблемы изучения традиционной народной культуры” .....	108
---	-----

<i>Клепикова Г.П.</i> Чтения, посвященные памяти профессора С.Б. Бернштейна .....	115
<i>Тимора В.</i> Литературно-информационный центр в Братиславе .....	117

### ЮБИЛЕИ

<i>Горизонтов Л.Е., Носкова А.Ф.</i> К юбилею Геннадия Филипповича Матвеева .....	119
Указатель статей и материалов, опубликованных в журнале в 2003 году .....	121
Новые издания Института славяноведения РАН .....	125

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**В.К. ВОЛКОВ** (главный редактор),  
**М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,**  
**Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,**  
**В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,**  
**М.А. РОБИНСОН** (зам. главного редактора),  
**Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН**

*А.В. Болдов* (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),  
*Белова О.В.* (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),  
*Васильев М.А.* (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20  
 E-mail: [vasilyev@FL09.tower.ras.ru](mailto:vasilyev@FL09.tower.ras.ru)



© 2003 г. Г. П. НЕЩИМЕНКО

## ВЕЛИКИЙ ЧЕШСКИЙ УЧЕНЫЙ ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИЙ

В 2003 г. славистическая общественность отмечает 250 лет со дня рождения великого чешского ученого, патриарха славистики и богемистики Йозефа Добровского. Этот юбилей – отнюдь не ритуальное событие в культурной жизни славянских стран. Й. Добровский не только сыграл ключевую роль в становлении нового чешского литературного языка, его труды стали мощным импульсом в возрождении чешской нации в целом. Определив вектор развития культурно-языковой политики XIX в., они оказали огромное влияние на деятельность нового поколения будителей, представленного прежде всего Й. Юнгманом. Действуя “в унисон”, а в чем-то и вопреки взглядам Й. Добровского, будители всемерно способствовали развитию чешского языка, расширению его коммуникативных функций. Все это стало предпосылкой последующего расцвета чешской культуры, повышения ее международной значимости.

Труды Й. Добровского явились основой научной разработки истории чешского литературного языка, принципов языковой культуры. Огромный вклад ученый внес в изучение грамматической системы, словообразования, он по праву считается создателем первой морфологической кодификации чешского литературного языка, в поле зрения его интересов находились и проблемы чешской просодии и орфографии, славянской письменности, компаративистики, старославянского языка. Его деятельность, проходившая под знаком идеи славянской взаимности, была весьма многообразна и плодотворна.

Одной из важнейших заслуг Й. Добровского, с нашей точки зрения, является то, что он, обладая поистине энциклопедической эрудицией, острым критическим мышлением, строгостью научного анализа, разработал методiku научного описания языковых – и шире – культурных фактов. Изучая комментарии, имеющиеся в тексте его работ, поражаешься тому, насколько они современны. Это касается также и социолингвистических помет, сопровождающих приводимый языковой материал.

Четкий, пронизательный, несколько отстраненный ум Й. Добровского, полученное им великолепное образование, безукоризненное владение исследовательским аппаратом позволили ему адекватно представить состояние чешского языка той эпохи. Современные исследователи могут принимать или не принимать его взгляды,

оценку конкретных языковых фактов, однако вряд ли можно отрицать, что предложенное им описание грамматической системы чешского литературного языка и по сей день во многом является отправной точкой при изучении языкового узуса не только эпохи национального возрождения, но и чешского языка вообще.

Важную роль в становлении научной позиции Й. Добровского сыграли его международные контакты, в частности с немецкими, а также славянскими учеными.

Авторитет Й. Добровского как у современников, так и у последующих поколений исключительно велик. Его имя и в наше время вполне заслуженно окружено аурой почитания, пиетета. Это, однако, не означает, что в его адрес не раздавались критические замечания. Невзирая на присущую ученому гениальную исследовательскую прозорливость, он был весьма осторожен и даже консервативен в принятии тех или иных решений в сфере языковой культуры. В силу этого его современники, а также ученые последующих поколений, признавая исключительную значимость вклада Й. Добровского, по-разному оценивали те или иные аспекты его научной деятельности.

Известен, например, скепсис Й. Добровского в отношении судьбы литературного чешского языка, возможности восстановления, а тем более расширения сферы его использования, в частности создания на нем научной терминологии. Этот скептицизм разделяли и определенные слои интеллигенции, считавшие невозможным и даже нецелесообразным восстановление традиции научного творчества на чешском языке. Они полагали, что ущерб, нанесенный двухвековым перерывом в использовании чешского как средства фиксации достижений культуры и науки, практически непоправим (тем более на фоне успехов, достигнутых в эпоху Просвещения культурой и наукой других европейских народов, и прежде всего, непосредственных соседей чехов – немцев). В связи с этим, по их мнению, использование чешского языка в функции языка “высшей” литературы и науки привело бы лишь к культурной изоляции чешского народа, к нарушению его культурных связей с народами Европы.

Подобная позиция не могла не вызывать протеста у нового романтически и патриотически настроенного поколения будителей, в частности Й. Юнгмана<sup>1</sup> и его сторонников, поставивших своей целью расширение функционального спектра чешского литературного языка. И тем не менее “для развития чешского языка и нашей нации было большим счастьем то, что оба основных представителя возрождения, несмотря на различие своих взглядов, не только не противодействовали друг другу, а, напротив, составляли определенное, взаимодополняющее целое, способствовавшее созданию современного чешского языка”, – подчеркивал Б. Гавранек [1. S. 203].

Нельзя не заметить, что в последнее время, особенно после “бархатной революции” 1989 г., критика деятелей чешского возрождения, правда, в первую очередь Й. Юнгмана, заметно усилилась. Нередко эта критика имеет выраженный политический подтекст, обусловленный современными стратегическими и тактическими ус-

---

<sup>1</sup> Так, в письме к своему другу А. Мареку (от 13 февраля 1819 г.) Й. Юнгман жалуется: “Создается впечатление, что в Добровском, невзирая на все его высокие заслуги, скорее преобладает немец”. В другом письме он пишет: «(Добровский) назвал мою “Словесность” (важнейшее произведение Й. Юнгмана. – Г.Н.) чудовищем, он унижает меня, где только может. Я же, учитывая его огромные заслуги, стараюсь не обращать на это внимания ... Я всегда замечал, что он - не столько чех, сколько симпатизирующий славянам немец (в оригинале – *slaviesierender Deutsche*. – Г.Н.)». Нельзя, однако, не отметить, что в целом Й. Добровский высоко ценил работы Й. Юнгмана и тщательно их анализировал..

тановками<sup>2</sup>. При этом деятельность “возрожденцев” выхватывается из исторического контекста, из совокупности языковых и культурно-исторических обстоятельств эпохи, в которую они жили.

Для того чтобы составить по возможности более объективное представление о Й. Добровском и эпохе национального возрождения, необходимо понять суть предшествовавшего периода в жизни чешского этноса и его языка, т.е. с середины XVI по первую половину XVIII в. В литературе этот период обозначается по-разному: “средний” период, эпоха барокко, период мрака и упадка<sup>3</sup>, послебелогорский период (т.е. после битвы у Белой горы, завершившейся поражением чехов и торжеством габсбургской монархии)<sup>4</sup>. Работу исследователей в этом случае весьма затрудняют два фактора: с одной стороны, устойчивые стереотипы и представления о данной эпохе; с другой – то, что тексты той поры, особенно XVII – первой половины XVIII в., равно как и их описания, представлены весьма скупо<sup>5</sup>.

Чешский исследователь Ф. Цуржин отмечает наличие значительной лакуны в знаниях о состоянии чешского языка с начала XVII вплоть до 80-х годов XVIII в. “Все наши сведения, – пишет он, – ограничиваются несколькими наиболее известными произведениями, а также традиционно анализируемыми грамматиками. Мы знаем, что до этого времени чешский язык не использовался в литературе высших жанров, однако мы не имеем четкого представления о функционировании чешского языка в обществе, а также о том, насколько он мог удовлетворить повседневные по-

---

<sup>2</sup> Так, нередко деятелей возрождения обвиняют в национализме, в том, что благодаря проводимой ими языковой политике они помешали интеграции чешского этноса в европейскую цивилизацию. После 1989 г. критика в адрес Й. Юнгмана особенно усилилась. Об этом упоминает А. Стих в лекции перед зарубежными богемистами, прочитанной им в сентябре 1997 г. (ее текст – в интернетовской версии – нам любезно предоставила А. Терентьева). Как утверждает А. Стих, Й. Юнгмана называли дьяволом, который под влиянием Гердера вверх чешский народ в языковой национализм, что в конце концов привело к трагической современной истории чешского народа. Престижный еженедельник “Respekt” даже возложил на Й. Юнгмана вину за выселение немцев из пограничья в 1945 г. Невзирая на бессмысленность, по мнению А. Стиха, подобных обвинений, они, тем не менее, воспроизводятся в школьных учебниках [2]. Разумеется, Й. Юнгман был противником германизации чешского языка, однако это было его правом гражданина и ученого; ср. его упреки, адресованные поборникам германизации: “Скорбя по поводу бедности и негибкости, по поводу грубости своего родного языка, они переделывают его на чужую колодку ... К этому ведет их незнание его правил. В результате этого в употреблении, изменении, словообразовании и склонении слов они поступают ошибочно и вопреки правилам, а поэтому всемерно способствуют оскорблению языка и читателей” [3. S. 167].

<sup>3</sup> Во всяком случае, именно так его определил Й. Добровский в шестой главе своего труда “Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur” (1792). Позднее той же точки зрения придерживался Й. Юнгман, а вслед за ним и последующие поколения.

<sup>4</sup> Единство в оценке этого практически 250-летнего периода истории чешского этноса отсутствует и ныне, причем порой высказываются диаметрально противоположные мнения (по словам А. Стиха в упомянутой лекции, наблюдаются колебания в диапазоне от “эпоха тьмы до эпоха сияния”). Можно лишь глубоко сожалеть о том, что безвременная кончина А. Стиха не позволила осуществить грандиозные планы по изучению эпохи барокко – остается лишь надеяться на то, что намерения ученого будут осуществлены его многочисленными учениками и последователями.

<sup>5</sup> Сошлемся на наш собственный опыт: при проведении диахронического описания деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка мы были вынуждены оперировать лишь тремя синхронными срезами: конец XIII–XVI в.; последняя четверть XVIII – середина XIX в.; вторая половина XIX – середина XX вв. [4]. Период с XVII в. до последней четверти XVIII в. нами специально не рассматривался в связи с недостатком материала.

требности” [5. S. 72]. По мнению ученого, пик наибольшего упадка чешского языка приходится на первую половину XVIII в. Во многом здесь сказалось то, что чешская молодежь, посещавшая школы иезуитов, из-за засилья латыни забывала чешский язык (дело заходило настолько далеко, что нередко латинская терминология проникала даже в язык детских игр в деревне). После закрытия ордена иезуитов на смену латыни пришел немецкий язык, ставший языком обучения в главных (нормальных) школах. Таким образом, в большинстве своем образованные чехи покидали чехо-язычную среду в десятилетнем—одиннадцатилетнем возрасте (ср.: [5. S. 72]).

Исходя из сказанного, становится очевидным, что теоретическая концепция деятелей национального возрождения формировалась в экстремальных для чешского этноса условиях, когда, по словам Й. Добровского, дело чешского народа было совершенно безнадежным. Функциональный спектр чешского языка в это время был предельно ограничен. Примечательно, что это осознавали и власти империи. Так, изданный в 1763 г. Марией-Терезией декрет гласил: “Чешский язык в королевстве Чехия и маркграфстве. Моравия настолько прозябает в упадке, что большая часть старост и чиновников вообще не владеет этим языком. Существенная нехватка лиц, знающих чешский язык, сказывается на работе земских и высших судебных органов, а также городских магистратов. Посему на благо служения Его императорской милости, а также во имя сохранения порядка и справедливости крайне необходимо предпринять что-нибудь для того, чтобы возвысить язык, находящийся в таком упадке” (цит. по: [5. S. 70]).

Справедливости ради следует сказать, что, несмотря на дискриминацию чешского языка, все указы, декреты правительства и распоряжения земельных властей публиковались все же на двух языках – чешском и немецком. Однако в целом употребление чешского языка было маркировано как социально, так и в коммуникативном отношении: он использовался прежде всего как средство бытового общения простого народа, главным образом крестьянства. Чехоязычная интеллигенция в XVIII в. едва начинала формироваться.

Несмотря на то, что формально чешский язык, наряду с немецким, считался официальным, деловым языком (во всяком случае так это провозглашалось), на практике в административной сфере полностью господствовал немецкий. Процесс германизации во второй половине XVIII в. все более усиливался. Как отмечает Я. Порак, если в 1751 г. в городе Литомнержице записи в городских книгах еще производились на чешском языке, то через 40 лет – лишь на немецком, поскольку не было чиновников, владеющих чешским языком [6. S. 50]. В этой же статье указывается, что в конце XVIII в. онемечиваются уже целые исконно чешские области, например вокруг Жатце, Литомнержице, Прахатиц и т.д. По декрету 1787 г. знание немецкого языка требовалось и от ремесленников.

Декреты 70-х годов XVIII в. повсеместно укрепили положение немецкого языка в школах. Только с 1774 г. чешский язык начал в ограниченной степени использоваться в сфере образования, причем лишь в начальных (тривиальных) школах в сельской местности; в остальных формах начального обучения, а также в средней и высшей школе чешский язык практически не использовался. Как отмечал Й. Добровский, в 1780 г. в Чехии было примерно 130 школ, в которых обучение ранее велось только на чешском, а теперь – только на немецком языке. В 1781 г. немецкий язык был провозглашен в качестве общегосударственного языка Австрийской империи.

В упомянутый период чешский литературный язык перестает быть языком науки, каким он был, наряду с латынью, в добелогорский период (т.е. до 1620 г.), в функции научного языка восстанавливается латынь, а также немецкий и французский языки.

Существенно изменилась в жанровом и тематическом отношении книжная продукция на чешском языке. Судя по дошедшему до нас корпусу текстов, она была весьма однообразна – в большинстве своем это была литература религиозного со-

держания, предназначенная для простого народа: религиозно-наставительная, нравоучительная и пр. Литература на чешском языке “высших” жанров, т.е. художественное творчество в истинном смысле этого слова, в том числе поэзия, “высокая” проза и т.д., во второй половине столетия практически отсутствовала.

Таким образом, чешский язык все больше утрачивал наиболее репрезентативные коммуникативные функции.

И тем не менее, практическая потребность в чешском языке продолжала сохраняться, о чем свидетельствует выход большого количества грамматик, разговорников и пр. Достаточно сказать, что за период с начала XVI в. по 1804 г. вышло не менее 18 грамматик чешского языка. Впрочем, как правило, это были двуязычные, немецко-чешские издания (делалось ли это вынужденно или нет, сейчас можно лишь гадать).

Что касается нормы литературного чешского языка, то, судя по грамматикам, она была нестабильна, а главное, эклектична. Наряду с явными архаизмами, она включала диалектизмы, элементы просторечья. Дефицит чешских обозначений для новых реалий и абстрактных понятий нередко восполнялся использованием германизмов и новообразований, не всегда соответствовавших внутренним закономерностям чешского языка.

Существенно урезанным и социально маркированным было использование разговорного чешского языка – здесь также сильно ощущалась конкуренция с немецким языком. В городе преобладал билингвизм (при большей престижности немецкого языка). Мелкие ремесленники и городская беднота пользовались чешским языком, однако их речь была сильно засорена германизмами. Что касается узкого круга национальной интеллигенции, в основном выходцев из крестьян, то использование чешского языка при повседневном общении, в частной переписке в связи с отсутствием соответствующих навыков (обучение проходило в германоязычной среде) ей также давалось не без труда. Не будет преувеличением сказать, что чешский литературный язык постигался главным образом из старых книг. Известно, что Й. Добровский, будучи чехом, о чем он, кстати, всегда с гордостью говорил, писал и изъяснялся на немецком или же на латыни. Даже более молодому Й. Юнгману, проводшему детство в чехоязычной среде, общение и корреспонденция на чешском первоначально давалось не без труда. Что касается языковой ситуации в деревне, то в отличие от города она была в основном моноязычной, поэтому там норма чешского языка (в диалектном воплощении) сохранялась гораздо лучше.

Таким образом, реальность, с которой пришлось столкнуться деятелям чешского возрождения, была не только сложной, но и довольно безрадостной. Нужно было обладать помимо энтузиазма еще и большим мужеством для того, чтобы выработать новые установки языковой политики, предложить обществу принципы формирования языковой культуры. Данная задача в основном выпала уже на долю второго, юнгмановского, поколения будителей.

Наметившееся в конце XVIII в. некоторое ослабление национально-политического гнета сделало возможным учреждение кафедры чешского языка в Пражском университете (1792 г.). Несколько ранее подобная кафедра была создана в Вене. С 1785 г. разрешается использование чешского языка на театральной сцене, появляются драматургические произведения, как переводные, так и, несколько позже, оригинальные. Важную роль играло и основание в 1784 г. “Чешского научного общества”, ставившего своей целью изучение истории и природных богатств страны.

Большое значение для общего подъема культуры и консолидации чешской нации имело и развитие чешской журналистики и публицистики. Особого внимания в этом отношении заслуживает деятельность М. Крамериуса, или Велеславина XVIII в., как его называли современники, который был издателем и редактором регулярной газеты на чешском языке. В 1786 г. он редактирует “Schönfeldské poštovské noviny”; с июля 1789 г. самостоятельно издает “Pražské poštovské noviny”, получившую с 1791 г. новое название – “Vlastenecké noviny” Крамериуса.



Заметим, что выходившие в ту пору газеты и журналы ставили перед собой не только просветительские и патриотические<sup>6</sup> задачи. Нередко они использовались как средство проведения языковой политики (ср., например, редакционные комментарии, рекомендующие заменять заимствованные слова чешскими, например: *vm. kanál – oužlabí*; *vm. parasol – stínidlo*, дословно ‘средство, дающее тень’, т.е. ‘зонтик от солнца’).

В конце XVIII в. на чешском языке появляются произведения поэтических жанров (мы имеем в виду поэтическую школу А. Пухмайера), авторы которых признавали авторитет языковой эстетики и правила просодии Й. Добровского.

Миссия первого поколения деятелей возрождения и прежде всего Й. Добровского, на наш взгляд, заключалась главным образом в выработке систематизированного, научного описания грамматической структуры чешского литературного языка, основывающегося на изучении чешского языка в самых различных его проявлениях. Именно поэтому он детально, а порой и нелюбезно анализировал книжную продукцию на чешском языке.

О том, насколько серьезно и ответственно он относился к своей миссии, свидетельствуют издаваемые им с 1779 г. журналы “*Böhmische Litteratur auf das Jahr 1779*”, “*Böhmische und Mährische Litteratur auf das Jahr 1780*”. Несколько позже начал выходить “*Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren*” (1786–1787 гг.). В предисловии к “*Böhmische und Mährische Litteratur auf das Jahr 1780*” Й. Добровский писал: “Моим главным намерением является говорить правду без стеснения, только чистую, ничем не приукрашенную правду”.

Названные журналы содержат самую разнообразную информацию: о современном состоянии науки, культуры, литературы, в библиотеках, редких книгах, открытиях, коллекциях, культурных организациях, важнейших рукописях и достойных внимания общественных событиях. Несмотря на то, что Добровский регистрирует всю литературу, выходящую в Чехии и Моравии (на немецком, латинском и чешском языках), основное внимание он уделяет анализу чешского языка и литературы. При этом главной его целью является “поднять языковую культуру произведений, написанных на чешском языке”.

И все же особое значение Й. Добровский придавал изучению языка и литературы “старшей поры” и прежде всего XV–XVI вв. Олицетворением и классическим примером образцового литературного языка для Й. Добровского был язык лучших произведений XVI в. – в первую очередь язык Кралицкой библии и произведений Д.А. Велеславина (как известно, период с 1520 по 1620 г. называют “золотым”, “классическим” периодом в развитии чешской литературы)<sup>7</sup>.

Важнейший труд Й. Добровского – фундаментальная Грамматика чешского языка (первое издание 1809 г. – “*Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache*”; второе издание 1819 г. – “*Lehrgebäude der böhmischen Sprache*”), в которой была изложена и фактически реализована программа возрождения чешского литературного языка. Появлению этого труда предшествовал подготовительный период, в течение которого постепенно “вызревала” позиция, а также программа ученого.

Полагая, что язык является живым и чувствительным организмом, не переносящим произвольного вмешательства, противоречащего закономерностям его разви-

---

<sup>6</sup> Примечательно, что в газетах и журналах того времени, особенно первой четверти XIX в., дается подробный список жертвователей, оказывавших финансовую поддержку тех или иных патриотических акций.

<sup>7</sup> В начальный период эпохи Возрождения предпринимались такие важные акции, как издание В. Дурихом, Ф. Прохазкой, Ф.М. Пелцлем литературных памятников Велеславинского периода. Так, Ф. Прохазка издает “Новый завет”, а затем и всю Библию. В 1786 г. Ф. Прохазка издал 12 произведений “старшей поры”. По мнению Й. Добровского, изданные Ф. Прохазкой тексты Библии являются классическими.

тия, Добровский акцентирует внимание на факторах, которые должны составлять основу развития и научного описания языка: 1) уважение к языковой традиции; 2) стабильность грамматической системы; 3) признание народа как создателя языковых средств, а народного языка как источника познания языка; 4) знание других славянских языков. Эти принципы легли в основу созданного им чешского словаря “Deutsch-böhmisches Wörterbuch” (1802 г.). К сожалению, был опубликован и завершен лишь первый том (неопубликованные словарные материалы он передал впоследствии Й. Юнгману, за работой которого следил с пониманием и восхищением).

Обосновывая необходимость создания полного чешского словаря, Добровский обращал особое внимание на важность соблюдения лексикографами следующих правил: знание родного языка, знание того языка, на который делается перевод, понимание русского, польского и сербохорватского языков, знание славянской и чешской грамматики, классической чешской литературы, а также знание народного языка (т.е. “нужно собирать материал из сокровищницы родного языка”).

Чрезвычайно важным представлялось Й. Добровскому изучение словообразования и, в частности, принципов создания новых слов. Этому посвящен ряд работ ученого и прежде всего его знаменитое исследование “Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache an der Bildung der Substantive und Adjective in der Böhmischen Sprache dargestellt” (1799). Данной работе Й. Добровский придавал, очевидно, особое значение, так как впервые она была напечатана под названием “Über den Ursprung und die Bildung der Slawischen Sprache” в качестве предисловия к словарю Ф.Я. Томсы [7], а впоследствии – во вводной статье к собственному словарю. Продолжая грамматическую традицию, сложившуюся в чешской науке (грамматики М. Бенешевского, В. Бенедикта из Нудожер и особенно В.Я. Росы и П. Долежала, отражающие предшествующие этапы в развитии чешского литературного языка), он предлагает и свое собственное понимание закономерностей словообразования.

Особое неприятие у Й. Добровского вызывает необоснованное образование неологизмов. Неологизмами, впоследствии не прижившимися в языке, особенно прославились Я.В. Пол, М. Шимек, К.И. Там; ср.: *slovárna* вм. *slovník*; *příšera* вм. *dobrodružství*; *ředlice* вм. *planeta*; *vzkvostnice* вм. *palác*; *větřlí* вм. *pověřti*; *obeclí* вм. *publikum*; *vyvojněnik* вм. *invalida*; *skokotnosta* вм. *taneční mistr*; *pukon* вм. *granát* и пр. Ср. также неологизмы конца XVII – начала XVIII в.: *přejinovatelka*, *jinovka*, *jinotajitelka* вм. *alegorie*; *usmívateľka*, *usmívka*, *usmívalka* вм. *ironie* (грамматика В.Я. Росы, 1672 г.); *knihohtipník* вм. *student*; *měšcopis* вм. *kalendář*; *vonocit* вм. *nos*; *čudnice* вм. *kuchyně*; *zelenochrupka* вм. *salát*; *chřípoprach* вм. *tabák*; *vokolník* вм. *talíř*; *tahohubka* вм. *fajfka* (словарь Фрозина 1700 г., подвергавшийся резкой критике Й. Добровского). Как мы видим, в подавляющем большинстве случаев речь идет о замене заимствований, т.е. о проявлениях пуризма.

Избыточное употребление заимствований, прежде всего латинизмов и германизмов, при общей неустойчивости чешского литературного узуса того времени, разумеется, могло подавлять словотворческие потенции чешского языка, однако попытки замены уже освоенных заимствований на неологизмы, образованные к тому же вопреки сложившимся деривационным традициям, могло привести лишь к сумятице, нарушению коммуникативной функции языка.

Не будучи противником создания неологизмов вообще, Й. Добровский справедливо полагал, что их образование должно осуществляться в строгом соответствии с грамматикой (*podle analogie gramatiky*) и языковым узусом. Он писал: “Тот, кто хочет создавать новые слова, должен прежде всего изучить законы деривации. Лишь только совершенный знаток языка может отважиться на создание нового слова, причем только в тех случаях, когда есть неотложная необходимость этого” [8. С. 9].

Эту свою позицию он изложил еще в 1780 г. в журнале “Böhmische und Mährische Litteratur auf das Jahr 1780”, предостерегая от ненужного изобретения новых слов –

основным источником должен служить языковой узус. Он писал: “При установлении правил, которых должны придерживаться грамматик и лексикограф, нужно исходить из языкового узуса как основного закона, не их дело заниматься изобретением новых слов”.

Следует подчеркнуть, что результаты деривационных разысканий Й. Добровского были чрезвычайно положительно оценены его последователями и в частности Й. Юнгманом. Так же, как и Добровский, он ратовал за строгое соблюдение правила аналогии в словообразовании, т.е. следование традиционным деривационным образцам; ср. : *sloha – poloha, vloha; slivoň – jabloň* и пр.

Особое значение имеет деятельность Й. Добровского, связанная со стабилизацией нормы литературного чешского языка. Именно эта цель стояла перед ним при написании упоминаемой выше грамматики. Появлению грамматики Добровского (1809) предшествовал выход ряда других грамматических описаний, среди которых заслуживают особого упоминания грамматика Ф.Я. Томсы (1782) и Ф.М. Пелцла (1795). Обе они были написаны под несомненным влиянием Й. Добровского. Первая из них была ближе к современному разговорному узусу, вторая – гораздо более консервативна (заметим, что именно Ф.М. Пелцл возглавлял созданную в 1792 г. кафедру чешского языка в Карловом университете), поскольку в ней более последовательно воспроизводилась норма языка произведений XVI в.

Описание грамматической системы чешского языка Й. Добровского принято называть кодификацией. Сам он вряд ли ставил перед собой цель языкового законодательства. Впрочем, безотносительно к его намерениям, благодаря непрерываемому авторитету ее автора, “Грамматика чешского языка” Й. Добровского стала восприниматься именно как кодификация. То же самое несколько позже произошло и с “Чешско-немецким словарем” Й. Юнгмана (1834–1839), также оцениваемого как лексическая кодификация чешского языка. Справедливости ради следует сказать, что оба труда чужды безапелляционной категоричности суждений, в них своеобразно внутренним закономерностям развития чешского языка очерчен набор возможностей, которыми располагает носитель и пользователь языка<sup>8</sup>. И это, на наш взгляд, очень важное обстоятельство.

Важнейшей особенностью грамматического описания Й. Добровского является опора на литературный узус “старшей поры” и прежде всего языка XV–XVI вв., рассматриваемого им как эталон языковой правильности. Именно это обстоятельство, в основном безоговорочно принятое в эпоху Возрождения<sup>9</sup>, позднее стало предметом весьма острой критики.

Язык так называемого золотого века чешской литературы отличался единством нормы, отсутствием значительных диалектных различий. Он имел стабильную грамматическую структуру, богатые выразительные средства, был хорошо стилистически дифференцированным языком разнообразной в жанровом отношении литературы. Мало того, чешский язык той поры имел высокий международный статус, использовался в качестве литературного у поляков, словаков и др. Важно и то, что для чешского государства это был период расцвета, стабильности и независимости.

---

<sup>8</sup> Ср., что пишет по этому поводу Й. Юнгман: “Некоторые требуют, чтобы мы приняли единое решение о терминах ... однако я ненавижу единовластие в литературе и с удовольствием вижу и слышу чуждые мне и противные мнения. Время решит, как должно быть, хотя, разумеется, я не отрицаю, что согласие в терминах, достигнутое уже в самом начале, было бы полезнее” (из письма к А. Мареку) (цит. по: [9]).

<sup>9</sup> Ср. весьма категоричное высказывание Ф. Палацко, известного своим языковым педантизмом: “Что касается своей материи, то чешский язык изменялся в каждом столетии, он будет продолжать изменяться и далее, пока народ наш не исчезнет из числа народов. Что же касается форм грамматических, то здесь изменениям была поставлена преграда в конце XIV столетия, преграда, которую язык с той поры не смел и не смеет переступить” (цит. по: [10. S. 2]).

Все эти обстоятельства поддерживали стремление будителей опереться на культурные достижения своих предков, использовать высокую книжную культуру добелогорского периода в качестве основы единого литературного языка формирующейся чешской нации в конце XVIII – начале XIX в.

Принятое Добровским решение давало возможность сохранить преемственность по отношению к огромному культурному и языковому наследию предшествующих поколений, избежать длительного пути формирования культурного идиома в ходе диалектной селекции.

Следует, однако, признать, что веские основания для подобного выбора у него имелись.

Несколько забегаая вперед, назовем одну из возможных мотиваций, делающих проблематичной опору Й. Добровского на разговорный узус того времени. Формирование проводимой им языковой политики приходилось на период классицизма с присущей ему эстетической концепцией. Согласно канонам языковой эстетики классицизма, поэтический язык должен был значительно отличаться от языка “низших” жанров, а тем более от разговорной речи<sup>10</sup>.

Можно, разумеется, упрекать “возрожденцев” в том, что они не воспользовались иным, альтернативным решением – опорой на существующий живой разговорный язык или же диалект, т.е. путем, по которому пошли некоторые другие славянские народы, но, во-первых, история не признает сослагательного наклонения; во-вторых, неизвестно, был бы этот путь короче и успешнее. Так или иначе, по нашему мнению, принятое решение было мужественным, оно позволило в исторически короткий срок преодолеть культурную стагнацию и упадок, возродить чешский язык во всей широте его коммуникативных функций, восстановить прерванную традицию использования чешского языка в сфере образования, гражданской жизни, в поэзии, философии, науках.

Таким образом, стремясь возродить значимость чешского литературного языка и чешского этноса вообще (не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что в Габсбургской империи по своей численности славянское население было преобладающим), Й. Добровский во многом восстановил грамматическую норму двухвековой давности.

Й. Добровский, как и другие выдающиеся деятели чешского возрождения, видел свою миссию в создании **общезначимого** литературного языка как основной предпосылки для подъема чешской культуры и дальнейшего развития чешского этноса. Не случайно столь резкое неприятие вызывало у него включение в словари и грамматики диалектизмов. Напомним в этой связи критику Й. Добровского называемой выше грамматики Ф.Я. Томсы.

Сходную позицию в этом вопросе занимал и Й. Юнгман, относившийся к новому поколению будителей (он был на 20 лет моложе Й. Добровского). Требование единства литературного языка, обязательности его употребления для всех членов этноса играло ключевую роль в теоретической концепции Й. Юнгмана. Отчетливо ощущая опасность расшатывания стабилизирующейся литературной нормы, последний неустанно акцентировал **наддиалектную** сущность литературного языка. Именно поэтому он подверг острой критике Ф.Д. Трнку и В.П. Жака, намеренно стремившихся приблизить литературный язык к наречию. Выступая против проявлений языкового

---

<sup>10</sup>Ср. высказывание Й. Добровского: “Особую ценность представляют для нас сохранившиеся памятники нашего языка той поры, когда он не был всего лишь разговорным языком простолюдина, а одновременно и устным, и письменным языком самой благородной и самой просвещенной части нашего народа... Если же некоторые судят о богатстве, утонченности и гибкости чешского языка лишь по тому, насколько они могут с его помощью договориться на базаре, тогда вряд ли они оценят по достоинству совершенство чешского языка” (цит. по: [11. S. 56]).

сепаратизма, представлявших, по его словам, самоубийственную акцию, Юнгман писал: “Мы радовались надежде, что у шести миллионов братских славян, пользующихся нашим письменным языком, литература со временем принесет большие и ценные плоды... Другие народы, у которых диалекты гораздо больше отличаются друг от друга, чем у нас, гордятся единым письменным языком, принося ему с радостью любую жертву ... Если так пойдет дело дальше, то скоро у нас будут книжки на пражском, домажлицком, крконошском, оломоуцком, турчанском и, кто знает, на каком еще наречии; в каждом понемногу, в целом же ничего ... Писать так, как где-то говорят, означало бы разбивать национальный язык на бесчисленные диалекты” [3. S. 166–167]. Отзвуки противоборствующих течений отчетливо отражены в данной работе Й. Юнгмана – так, он упоминает о представителях направления, идеализирующего добелогорский период в развитии чешского литературного языка, о борниках германизации чешского языка, о сторонниках подмены единого литературного языка территориальными диалектами.

Принятое Й. Добровским решение, хотя и было поддержано большинством современников, имело и своих оппонентов, в частности среди современных ученых. Основной упрек в адрес Й. Добровского в этом случае обычно сводился к тому, что его морфологическая кодификация была слишком архаичной, поэтому она “роковым образом”, по словам В. Матезиуса [12. S. 442], отделила литературный язык от разговорного, явившись причиной коммуникативного дискомфорта, испытываемого носителями и пользователями современного чешского языка.

Не вдаваясь в суть полемики, все же отметим, что, во-первых, между литературным и разговорным узусом изначально имеются принципиальные отличия (см. по этому поводу: [13]); во-вторых, предложенное Й. Добровским описание грамматической структуры чешского литературного языка отнюдь не носит характер жесткой кодификационной регламентации (равно как и лексический тезаурус Й. Юнгмана), он скорее регистрировал набор имеющихся возможностей, оставляя за пользователем языка право окончательного выбора; в-третьих, делом последующих поколений было смягчить возникший дискомфорт умелой кодификационной политикой. Как известно, произошло обратное, кодификация Я. Гебауэра и его сторонников, напротив, была в ряде отношений более жесткой и категоричной.

Как нам представляется, окончательно решить вопрос, был ли прав Й. Добровский, можно лишь после детального описания языкового узуса “среднего” периода. К сказанному выше следует добавить, что пафос языковой политики, проводимой деятелями национального возрождения на обоих его этапах, заключался не только в возрождении языка “золотого века”, но и в защите родного языка от деструктивного влияния германизмов, языкового псевдоноваторства, узкорегionalных элементов, свидетельствовавших о проявлениях языкового сепаратизма. Подобная защита была необходима для того, чтобы литературный язык мог успешно выполнять свою консолидирующую миссию в жизни этноса, чтобы он стал единым, обязательным, общепонятным языком для всего социума.

При оценке кодификации Й. Добровского обычно отмечается, что он шел на намеренную архаизацию норм литературного чешского языка. Имеется в виду восстановление старого различия дееспричастий по числам и родам, отсутствовавшее в языке Кралицкой библии и в произведениях Я.А. Коменского; устранение множества диалектизмов и новообразований, проникших в язык на протяжении XVII–XVIII вв. За существительными мужского и среднего рода в тв. п. мн. ч. и в некоторых других падежах снова закрепляются старые окончания (ср.: *pány, domy, okny*), хотя в разговорном языке уже существовала совершенно определенная тенденция к их унификации; устанавливается различие полных прилагательных в им. п. мн. ч. по родам, хотя в разговорном языке форма прилагательных ср. р. совпадает с ж. р.; вводятся инфинитивы на *-ti* и т.д. С другой стороны, Й. Добровский устраняет некоторые вышедшие из употребления явления: например, он пишет одно *l* (в некоторых грамма-

тиках эпохи Возрождения, например Ф.М. Пелцла, писалось два *l* (*l* и *l'*), ограничивает употребление форм дв. числа и т.п.

В связи с тем, что множество нареканий вызывало именно восстановление согласования у деепричастий, приведем соображения, высказанные по этому поводу Э. Дворжаком [14], представляющиеся нам чрезвычайно важными. Как отмечает исследователь, требование Добровского и других грамматистов эпохи Возрождения соблюдать различие родовой характеристики у деепричастий полностью соответствует чешской грамматической традиции, начиная с первой грамматики (*Náměšt'*, 1533). В древнечешском языке согласование именных форм проводилось очень последовательно. В устной речи уже в середине XVI в. согласование часто не соблюдалось, за исключением высокого и среднего стиля (90,9% согласованных форм). В XVII в. несогласованные формы отчасти проникают и в литературу высшего и среднего стиля. В XVIII в. этот процесс приостанавливается. Если язык литературы эпохи Возрождения был ориентирован на норму добелогорского периода, это требовало соблюдения согласования (поэтические сочинения, "обраны" и пр.). Под влиянием грамматик и авторитета Добровского авторы начинают тщательно соблюдать согласование деепричастий. Лишь в грамматике Я.В. Пола, в ее 3-м издании (1773), различение рода деепричастий в ед. ч. не проводится, наконец, для пятого ее издания (1783) характерен полный отказ от родового различения деепричастий.

Важным представляется и следующий вывод исследователя: грамматики эпохи Возрождения не были нормативными – в отличие, например, от грамматик Гебауэра, они были скорее дескриптивными, т.е. в значительной степени толерантными. В известной степени это касается и кодификации Добровского, особенно в отношении деепричастий. Добровский не придумывал правила – все они имели опору в языке или же в грамматической традиции. «Живому языку нельзя навязать никакие искусственные грамматические правила. Это было бы возможно лишь в том случае, если бы национальное возрождение было процессом "воскрешения" уже мертвого литературного языка.... Как показывают новые исследования, преемственность литературного языка никогда не прерывалась, в послебелогорский период произошло лишь сильное ограничение его функций. Все действительно искусственные правила не могут повлиять на развитие литературного языка. Различение деепричастий по числу, а в единственном числе и по роду, находилось в соответствии как со старой литературой высокого и среднего стиля, так и с грамматической традицией. Йозеф Добровский не придумал для них каких-то новых правил. Он лишь весом своего авторитета способствовал сохранению литературной нормы, к которой пришел чешский язык в ходе своего развития» [14. S. 35].

По мнению Б. Гавранека, кодификация Й. Добровского является консервативной, однако это обусловлено тенденцией отличать литературный язык от повседневного разговорного языка [15. S. 96].

В свою очередь, А. Едличка констатирует, что под влиянием живого разговорного узуса Добровский нередко отходит от старой велеславинской нормы [16]. Определяя кодификацию Добровского как целостное, хорошо дифференцированное и тонкое описание нормы литературного чешского языка, А. Едличка указывает и на то, что морфологическую норму чешского языка Добровский видит в динамике, о чем свидетельствуют многие приводимые им дублетные формы. При этом Добровский учитывает социальные и возрастные характеристики пользователей языка (старшее поколение / младшее / представители народа и пр.). Обращает он внимание и на частотность тех или иных морфологических явлений, и на другие факторы.

Можно с полным основанием утверждать, что Й. Добровский создал первую научную грамматику чешского языка, в которой описал основные закономерности его грамматической системы, а также словообразования. В своей "Подробной грамматике" Добровский приводит самый обширный диалектный материал, который был ему известен не только по чужим трудам, но и из собственного опыта (он три года

жил в Оломоуце, хорошо знал словацкий и другие славянские языки. В Моравии – в Брно – Й. Добровский и скончался в 1829 г.).

При описании грамматического строя литературного чешского языка, при классификации категорий и форм, характеристике словообразования, а также при изменении правописания Й. Добровский обнаруживает исключительное понимание системного характера языка.

Что касается правописания, то Добровский отходит от системы “братского” правописания, предложив систему аналогическую, в соответствии с которой после *c, z, s* он пишет *i* и *í* только в тех случаях, где это обусловлено требованиями этимологии и морфологической структуры слова (т.е. в дат. п. ед. ч. *otci, knězi*, в им. п. мн. ч. *vojáci*, у относительно-притяжательных прилагательных типа *psí, kozí, telecí*, у глаголов, оканчивающихся в 1 л. ед. ч. на *-ím: prosím, vozím* и т.п.).

Благодаря огромному авторитету Й. Добровского его кодификация литературного чешского языка удерживалась на протяжении всего XIX в. В конце XIX в. она была положена в основу описания чешского языка Я. Гебауэра (“Историческая грамматика чешского языка”).

Однако заслуженное право называться патриархом славистики Добровский завоевал не только своими работами по чешскому языку. Он является основоположником научного изучения славянства, славистики как науки, зачинателем сравнительно-исторического изучения славянских языков. Базой для такого изучения было не только критическое отношение к историческим источникам, унаследованным от его учителя Г. Добнера, не только необычайный интерес к исследованию библейских славянских текстов (прежде всего древнечешских и церковнославянских), который Добровскому привил его учитель В.Ф. Дурих, но и удивительное для того времени знание всех славянских языков.

Следует подчеркнуть, что Й. Добровский придавал большое значение изучению развития родственных славянских языков. На первое место он ставил знание старославянского и русского.

Стремление к изучению славянских языков, к установлению контактов со славянскими народами является важной стороной чешского возрождения, так как идея славянского родства, славянской общности и взаимности помогала формированию чешского этнического самосознания.

Кроме чешского, в центре внимания Й. Добровского находился старославянский язык, знание которого он считал необходимой предпосылкой для научной подготовки каждого слависта. В письме своему другу словенскому ученому В. Копитару в 1809 г. он писал: “Со своими учениками, изучающими языки как филологию, я начинаю всегда со старославянского языка, и с большой пользой... Только таким путем можно стать серьезным славистом” (цит. по: [17. S. 22]).

Работы Добровского по старославянскому языку начинают выходить с 1790 г. Изучение библейских текстов, разночтений в переводах Нового Завета, их описание – все это является подготовительным этапом для создания фундаментальной работы по грамматике старославянского языка и для изучения деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия. В 1822 г. выходит его монументальный труд “*Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris*”, подготовленный к печати еще в 1811 г. Эта грамматика открыла путь к научному изучению створославянского языка и его памятников. Позднее М. Погодиным (вместе с С. Шевыревым) был осуществлен перевод этой книги на русский язык – “Основа древнего наречия славянского языка”. Был сделан перевод и книги “Кирилл и Мефодий, словенские первоучители” (СПб., 1825). Сама работа Добровского “*Cyrill und Method, der Slawen Apostel*” вышла в Праге в 1823 г.

Активное участие принял Й. Добровский в полемике по поводу происхождения кириллицы и глаголицы. Так, он ошибочно полагал, что глаголица возникла не ранее XIII в. в Далмации для поддержания славянской литургии.

В числе заслуг Й. Добровского В. Кршистик [18] называет, в частности, то, что он дал научную оценку генетического родства славянских языков и их грамматической системы; первым предпринял попытку дать классификацию славянских языков, установить их отношение к индоевропейским языкам. Первым в славянском мире он трактовал язык как систему, имеющую свои собственные закономерности, не разделяя при этом взгляды на божественное происхождение языка. Добровский довольно четко осознавал взаимосвязь между развитием языка и развитием общества.

Грамматика церковнославянского языка Й. Добровского открыла путь к научному изучению старославянского языка и его памятников, хотя она и имела свои недостатки. Как пишет С.В. Смирнов [19. С. 175], в этой книге собран большой фактический материал, извлеченный преимущественно из рукописей. Но автор не распределил его по периодам, поэтому факты, взятые из памятников разных эпох и сведенные вместе, составили картину некоего идеального славянского языка, который нельзя приурочить к тому или иному времени. Таким образом, грамматика Добровского, построенная на исторической основе, оказалась чужда историческому подходу.

Примечательным является отношение к этому труду А.Х. Востокова. Так, весной 1822 г. он писал Н. Румянцеву: “Я видел экземпляр сей книги, присланный Добровским А.С. Шишкову, и нашел в ней множество превосходных вещей; полноту и основательность, какой только можно ожидать от столь ревностного и опытного разыскателя, каков Добровский. Однако ж так как он не имел у себя многих материалов, какими мы можем пользоваться в России (напр. древнейших словесных памятников XI века, каковы Остромирово евангелие и пр.), то и не мог всего определить удовлетворительным образом. Будущему сочинителю славенской грамматики, живущему в России, остается с помощью сих драгоценных памятников пополнить, объяснить и поправить многие недостаточные, сомнительные или ошибочные места в Грамматике Добровского, коей впрочем отдаю я преимущество пред всеми доселе изданными” [20. С. 29]<sup>11</sup>.

После выхода *Institutiones*, а также грамматики чешского языка большую грамматику сербского языка готовился писать Вук Караджич. Своими грамматическими трудами Й. Добровский вдохновил А. Пухмайера на написание грамматики русского языка (“*Lehrgebäude der Russischen Sprache*”, 1820 г.), в свою очередь Й. Бандтке не только написал, но и посвятил Добровскому свой труд “*Polnische grammatik*”.

На развитие чешской национальной культуры и пробуждение у чехов славянского самосознания огромное влияние оказали чешско-русские культурные связи. Для Добровского и других деятелей чешского возрождения русский был языком великого народа, носителя культурных и исторических традиций, народа, который был для всех славян опорой, народом-освободителем.

Как пишет С.В. Смирнов (см. цитированную работу), имя Й. Добровского стало известно в России уже в начале 90-х годов XVIII в. В феврале 1791 г. Н. Румянцев делает попытку установить связь с чешским ученым и узнать от него о чешско-русских взаимоотношениях в прошлом.

В 1792–1793 гг. состоялась поездка Добровского в Россию, где он имел возможность осмотреть библиотеки и архивы, собрания Чудовской и Лавровской библиотек, изучить некоторые памятники церковнославянской письменности, ближе познакомиться с русским языком и литературой.

---

<sup>11</sup>Как указывает С.В. Смирнов в названной статье, А.Х. Востоков отправил Добровскому снимки с Остромирова евангелия с подробным лингво-палеографическим описанием памятников, при этом написал: “Счастлив я буду, ежели Вы в награду за труды мои удостоите меня драгоценной для меня переписки с Вами! Давно уже я Вас люблю и уважаю, как учителя и вождя своего на стезе грамматических исследований, коими я занимаюсь” [20. С. 100]. К сожалению, переписка с Добровским не состоялась.



Это путешествие имело огромное значение для формирования отношения Добровского и других деятелей чешского возрождения к России и русскому народу. Вера Добровского в великую миссию славян в результате поездки усилилась. Он установил и в дальнейшем поддерживал живые контакты с русскими учеными. В 1820 г. он был избран членом Российской академии наук. О взглядах Добровского на взаимоотношения и классификацию славянских языков был хорошо осведомлен Н.М. Карамзин. С научной деятельностью Добровского впервые начал знакомить широкую публику журнал “Вестник Европы”, в 1816 г. опубликовав сообщение об издаваемых Добровским журналах “Slavín” и “Slovanka”; в 1818 г. – перевод статьи “О древних славянских названиях двенадцати месяцев”.

Во время путешествия П. Кеппена в Чехию (1821 г.) он встретился в Праге с Й. Добровским, Й. Юнгманом и В. Ганкой.

Поездка в Россию позволила Добровскому усовершенствовать знание русского языка, которое он считал необходимым компонентом славистического образования. Поэтому своих учеников он заставлял прилежно заниматься русским языком и радовался их успехам.

Й. Добровский стремился пропагандировать русский язык и среди читателей своего “Путевого дневника” (*Cestopis*). С этой целью он присоединил к дневнику комментированную и исправленную русскую и чешскую часть из большого многоязычного словаря Петербургской академии наук (*Glossarium comparativum totius orbis*). Это добавление он назвал “Сравнение русской и чешской речи” (*Vergleichung der Russischen und Böhmisches Sprache*). Он хотел показать на славянском материале, какие перспективы открывает такой словарь для сравнительного изучения родственных славянских языков. Позже, во второй части “Slovanky” (1815), он написал на этот словарь рецензию, в которой указал на неполноту, неточность, а иногда и неправильность собранного материала.

Несколько лет спустя, в связи с пребыванием русских войск на территории Чехии Й. Добровский написал также практический учебник русского языка (1799), вышедший под названием “Новое пособие, как лучше понимать русский язык” (*Neues Hilfsmittel die russische Sprache leichter zu verstehen, vorzüglich für Böhmen, zum Theil auch für Deutsche*). Хотя Добровский внимательно следил за грамматической литературой о русском языке, он не решался сам перерабатывать свое практическое пособие при его переиздании и написать систематическую грамматику русского языка. Эту задачу взял на себя А. Пухмайер. В 1820 г. вышла в свет его “Грамматика русского языка” с предисловием Й. Добровского. Эта грамматика использовалась в качестве пособия по изучению русского языка в высших учебных заведениях на протяжении многих лет. Так, в частности, она была рекомендована к употреблению Бодуэном де Куртене.

Оценивая в целом вклад Й. Добровского в изучение русского языка, следует сказать, что он одним из первых осознал величие русского народа и значение русской культуры для всех славян.

Интересы Й. Добровского не ограничивались изучением только старославянского, чешского и русского языков. Журналы “Slavín” (1806) и “Slovanka” (1814 и 1815 гг.), а также его многочисленные рецензии отражают широту славистических интересов ученого. Особенно его интересовали серболужицкие языки, с которыми он начал знакомиться уже в самом начале своей научной деятельности и изучение которых он завершил во время своего пребывания в Лужице в 1823 г.

В поле зрения Й. Добровского находились и другие славянские языки, например язык полабских славян, польский, украинский и т.д.

После проведенного исследования Добровский пришел к выводу о том, что старославянский язык является лишь братом, а отнюдь не прародителем славянских языков, тем самым он скорректировал точку зрения Шлоцера, с которым состоял в переписке, а также неоднократно встречался.

С именем Й. Добровского связан и огромный скачок в развитии возрожденческой дитературы, написанной на чешском языке. Его перу принадлежит знаменитая “Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur”, вышедшая в Праге в 1792 г. Поэтическая школа А. Пухмайера посвятила Добровскому первый том своего “Собрания стихотворений и песен” (1795), поскольку труды Добровского служили для них импульсом в борьбе за новую чешскую литературу. Первые чешские поэты пухмайеровской генерации (братья Ян и Войтех Неядлы, Ш. Гневковский и еще около 30 поэтов) сочиняли для своих Альманахов стихи (вышло пять томов: 1785–1814 гг.) в соответствии с принципами стихосложения, установленными Добровским (их ритмическую основу составляло чередование ударных и безударных слов). Й. Добровский описал правила чешского ударения, переноса ударения на предлоги, употребления безударных слов, примыкающих к словам ударным.

Деятельность первого поколения будителей и прежде всего работы Й. Добровского в области богемистики и славистики открыли дорогу к практическим целям второго, юнгмановского поколения деятелей чешского возрождения. Первое поколение свои задачи, заключавшиеся в возрождении литературного чешского языка, в укреплении языковой основы чешской литературы, в формировании этнического самосознания, в установлении связи между славянскими народами, выполнило.

\* \* \*

Хотя обращение к имени Й. Добровского, к творческому наследию выдающегося славянского просветителя, и приурочено к юбилейной дате, однако на деле его труды являются отправной точкой многих современных научных исследований.

Важно подчеркнуть, что юбилей Й. Добровского не только служит поводом для ретроспективной оценки трудов ученого, но и дает возможность определить их историческую перспективу, значимость в контексте новых исторических обстоятельств, новых культурно-политических и лингвистических реалий.

Не можем в этой связи не высказать одно соображение, представляющееся нам весьма симптоматичным. Настоящий юбилей примечателен и тем, что он наглядно показывает историческую преемственность поколений: на рубеже второго и третьего тысячелетий, т.е. на новом витке исторического развития современной цивилизации, вновь становятся актуальными проблемы, волновавшие деятелей славянского возрождения (и чешского в том числе). Мы имеем в виду прежде всего проблему сохранения этнокультурного и этноязыкового своеобразия и идентичности.

Чешский этнос на протяжении столетий жил в условиях полиэтнического государства унитарного типа, целью которого была гомогенизация культуры, стирание этноязыкового своеобразия многонационального населения. Этому по мере сил противодействовала демократически мыслящая, патриотически настроенная интеллигенция.

Власти Габсбургской монархии лелеяли мечту о национально-языковой интеграции обширной империи и, в частности, о создании единой австрийской государственно-политической нации, стоящей над этнической и языковой разнородностью населения. По сути речь шла о некоем надэтническом понятии, предполагающем использование общего официального языка в сфере государственного управления – в данном случае немецкого. Применение так называемых региональных языков разрешалось лишь на более низких уровнях общения (см.: [21]).

Разумеется, масштабы и характер интеграционных процессов, наблюдаемых ныне и в эпоху национального возрождения, не сопоставимы, однако определенная параллель здесь все же может быть проведена. Форсированное образование в современной Европе надгосударственного, надрегионального объединения с единым экономическим, социально-политическим и культурным пространством рано или поздно может вновь привести к возникновению острейших межэтнических конфликтов. Со значительной долей вероятности можно прогнозировать, что подобная тенденция приведет к весьма болезненным этнокультурным и этноязыковым последствиям. Уже сейчас

становится очевидным, что это повлечет за собой утрату рядом языков международного статуса, сужение их коммуникативного спектра за счет редукции наиболее репрезентативных функций, например в науке, в международных и прочих контактах. Причем в большинстве своем это языки, имеющие длительные культурные традиции.

В процессе развития глобальной интеграции многие из интегрируемых языков, по сути, станут коммуникативным средством исключительно “внутреннего” пользования. Иными словами, все возвращается “на круги своя”. Направленность подобной эволюции резко контрастирует с задачами, которые ставили перед собой и успешно решали не только деятели возрождения, но и последующие поколения<sup>12</sup>.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Havránek B.* Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny // *Slovanske spisovné jazyky v době obrození.* Praha, 1974.
2. *Stich A.* Kořeny české kulturní totožnosti: Jak to bylo s českým jazykem a literaturou v pobělohorském období // *Britské listy* 1998 (интернетовское издание).
3. *Jungmann J.* O různěni českého písemného jazyka // *Vojs o obrození národa.* Praha, 1948.
4. *Нецименко Г.П.* Очерк демунивативной деривационной системы в истории чешского литературного языка. Прага, 1980.
5. *Cuřín Fr.* Vývoj spisovné češtiny. Praha, 1985.
6. *Porák J.* K situaci v češtině před obrozením. Přednášky z 26. běhu Letní školy slovanských studií v roce 1982. Praha, 1983.
7. *Tomsa F.J.* Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch-lateinischen Sprache. Praha, 1791.
8. *Dobrovský J.* Die Bildsamkeit der Slawischen Sprache. Prag, 1809.
9. *Jedlička A.* Jungmannovy zásluhy o nový český jazyk spisovný // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica* 3–4. 1974.
10. *Grepl M.* K jazyku obrozených překladů z ruštiny a polštiny // *Slovanské spisovné jazyky v době obrození.* Praha, 1974.
11. *Spisy a projevy Josefa Dobrovského / Vydal B. Jedlička.* Praha, 1936. Sv. VII.
12. *Mathesius V.* Problémy české kultury jazykové // *Čeština a obecný jazykozpyt.* Praha, 1974.
13. *Нецименко Г.П.* Языковая ситуация в славянских странах (Опыт описания. Анализ концепций). М., 2003.
14. *Dvořák E.* “Umělá pravidla” Josefa Dobrovského // *Slovo a slovesnost.* 1979. № 1.
15. *Havránek B.* Vývoj spisovného jazyka českého // *Československá vlastivěda. Ř. II.* Praha, 1936.
16. *Jedlička A.* Josef Dobrovský a tvaroslovná kodifikace spisovné češtiny // *Studie o jazyce a literatuře národního obrození.* Praha, 1959.
17. *Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar (1808–1828) / Ed. Jagić V.* Petrohrad; Berlin, 1885.
18. *Křístek V.* Společenské předpoklady a vůdčí osobnosti českého jazykového obrození // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica* 3–4. *Slavica Pragensia* XVII. Praha, 1974.
19. *Смирнов С.В.* К истории русско-чешских научных связей в I половине XIX века // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica* 3–4. *Slavica Pragensia* XVII. Praha, 1974.
20. *Переписка А.Х. Востокова в современном порядке с объяснительными примечаниями И. Срезневского // Сборник ОРЯС. 1873. Т. V. Вып. 11.*
21. *Strážtecký J.* České identity // *Přítomnost.* 1990. № 3.
22. *Широкова А.Г., Нецименко Г.П.* Становление литературного языка чешской нации // *Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков.* М., 1978.
23. *Нецименко Г.П., Широкова А.Р.* Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения // *Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Исторический и историко-культурный аспект.* М., 1981.
24. *Нецименко Г.П.* Языковая ситуация // *Чешская нация на заключительном этапе формирования (1850 г. – начало 70-х годов XIX в.).* М., 1989.

<sup>12</sup> При написании статьи были использованы ранее вышедшие публикации, а именно: [22; 23; 24].



© 2003 г. Л. П. ЛАПТЕВА

## ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИЙ И РУССКОЕ СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ В XIX ВЕКЕ

Анализ материалов о восприятии творчества Добровского в русском славяноведении дает основание выделить в этом процессе два главных этапа. Первый из них охватывает время от начала до 60-х годов XIX в., второй же – примерно от середины 60-х годов до конца столетия, т.е. пореформенный период. Сюда же можно присовокупить и литературу о Добровском, созданную в первой четверти XX в. учеными, не разделявшими положений марксистской методологии.

В первой половине XIX в. происходило ознакомление русских славистов с сочинениями Добровского, восприятие его учения о славянских языках и других компонентах славяноведения. Его точка зрения на старославянский язык, его источники, происхождение славянского письма и другие проблемы, как правило, признавалась русскими учеными, пропагандировалась ими в печати и в университетских лекциях. Но следует подчеркнуть, что уже на первом этапе восприятия творчества Добровского нельзя констатировать их безоговорочного согласия со всеми выводами и гипотезами Добровского.

В пореформенный период в работах о Добровском преобладал оценочный момент. О влиянии теорий Добровского на взгляды русских ученых языковедов и вообще филологов говорить на этом этапе уже нельзя (имеются лишь редкие исключения). Слависты обращали основное внимание на то значение, которое имели труды Добровского для развития славяноведения, на становление науки о славянах в общеевропейском масштабе. Именно в этот период появились главные труды о Добровском, вышедшие из-под пера русских исследователей.

Первые контакты Добровского с русскими учеными относятся к концу XVIII в. Как писал В.А. Францев, граф Н.П. Румянцев “в бытность свою – в царствование Екатерины II – посланником во Франкфурте-на-Майне ... через посредство австрийского посланника ... гр. Филиппа Стадиона ... обратился к Добровскому за разъяснением некоторых занимавших его вопросов касательно древней истории и взаимных отношений славянских народов между собою” [1. С. 22]. Но предложенный “обмен мыслей” между “блестящим русским дипломатом, представителем научной пытливости екатерининского века с испытанным деятелем на ниве славянской науки не состоялся” [1. С. 23]. Добровский не ответил на обращение Румянцева, не придав значения “домогательствам” некоего русского дипломата.

Однако впоследствии контакты были все же установлены, о чем свидетельствует переписка между Добровским и Румянцевым [2. С. 345–353].

В 1792 г. Добровский посетил Россию с целью изучения памятников церковнославянской письменности. В Петербурге он в течение двух месяцев изучал материалы библиотек и архивов, в конце 1792 г. и начале 1793 г. работал в Москве, разыскивая в старых славянских рукописях разночтения в версиях перевода Нового Завета для представления в Йене нового издания ряда текстов. Краткое описание путешествия Добровского в Россию имеется в труде В.А. Францева “Очерки по истории чешского возрождения” [1. С. 23–30] и в его же специальном сочинении, изданном в 1923 г. [3. С. 3–17]. А результаты занятий Добровского русскими источниками и памятниками славянской письменности, хранившимися в русских архивах и библиотеках, были позднее проанализированы в работе Г.Н. Моисеевой и М.М. Крбеца “Йозеф Добровский и Россия” [4]. О контактах Добровского с русскими учеными во время его путешествия сведений нет; его консультировали и опекали в России немецкие академики и профессора, находившиеся на русской службе.

Сведения о творчестве Добровского впервые появились в русской печати в 20-х годах XIX в. после того, как один из русских славистов, представитель так называемого Румянцевского кружка, объединявшего ученых, занимавшихся исследованием древнеславянских и русских памятников, П.И. Кеппен (1793–1864) совершил длительное путешествие с научной целью по Западной Европе в 1821–1823 гг. В Праге он познакомился с Добровским и впоследствии переписывался с ним вплоть до смерти чешского ученого в 1829 г. (см.: [5. С. 43–63]). По возвращении из путешествия Кеппен стал издавать журнал “Библиографические Листы”, где публиковались и сведения о трудах Добровского с указанием, какие “известия” дал в это издание сам ученый, а также – какие сведения помещены в журнале о новых его сочинениях и о переводах его трудов [6. С. 60], излагалось содержание его рецензий и заметок. Так, в журнале был помещен разбор “Словаря Российской Академии”, опубликованный Добровским в XXIV части венских “Jahrbuch der Literatur”. По этому поводу Кеппен писал: «Рецензент, наторевший в трудах сего рода, предлагает в оном [разборе] мысли свои о возможном усовершенствовании помянутого словаря. Свойственная ему скромность в изложении суждений служит наилучшим доказательством, что одно только усердие к наукам побудило его приняться за перо. Ревнителям российской литературы в таком случае нельзя не благодарить почтенного ветерана за напечатанные статьи, заслуживающей внимания каждого отечественного филолога. В ответ на сей разбор г-на Добровского мы можем уведомить его в том, что желания его отчасти приводятся в исполнение почтеннейшим А.Х. Востоковым в лексикографическом (так! – Л.Л.) неизданном еще и недовершенном труде его, о коем упомянул еще Греч в своем “Опыте краткой истории русской литературы” (П., 1822)» [7. № 32. С. 470].

В 1825 г. вышел из печати перевод на русский язык крупной работы Добровского “Кирилл и Мефодий – славянские первоучители”. Кеппен изложил в своем журнале ее содержание и некоторые отзывы о ней [7. № 8. С. 101–116; № 10. С. 139–136].

Сведения о Добровском и его трудах помещались также в журналах “Вестник Европы” [8], “Московский Телеграф” [9], “Московский Вестник” [10]. Особое внимание уделяли русские ученые труду Добровского “Institutiones linguae slavicae dialecti veteris” (известном в России под названием “Грамматика церковнославянского языка”), вышедшем в 1822 г. (далее – “Institutiones”). В 1825 г. этот труд был в переработанном виде издан по-русски под титулом “Грамматика славянского языка, заимствованная из Грамматики г. Добровского старшим учителем С.-Петербургской гимназии Иваном Пенинским”. В 1827 г. “Institutiones” были переведены на русский язык М.П. Погодиным и С.П. Шевыревым. К представленному в Комитет по устройству учебных заведений в России переводу было 3 декабря 1827 г. сделано следующее замечание: «Для гимназий произведение Добровского слишком сложно, так что в них можно использовать переработку Пенинского, а полный текст “Институционаес” в переводе Погодина и Шевырева предназначить для университетов» [11. Л. 4]. Как показывают документы, Погодин хотел напечатать перевод труда Доб-

ровского в 2400 экземплярах, предполагая, что “сие число необходимо для студентов в русских университетах, для учителей в гимназиях и других учебных заведениях, для казенных библиотек, для публики”. На издание труда Погодин просил 7800 рублей ассигнациями. Но Главное управление училищ, хотя оно 28 июня 1828 г. и согласилось, что труд весьма полезен, все же нашло испрашиваемую сумму слишком крупной, поскольку имевшийся в распоряжении капитал был “по высочайшему велению” обращен на постройку публичной библиотеки. Департамент Народного просвещения предложил напечатать в своей типографии 600 экземпляров “Грамматики” в русском переводе. Погодин согласился с этим предложением, и 19 октября 1829 г. поступило распоряжение о печатании книги [11. Л. 3–6, 10, 13, 25]. В 1833–1834 гг. “Institutiones” вышли из печати под названием “Грамматика языка славянского по древнему наречию”.

Следует отметить, что в тот момент, когда сочинение было уже готово к первому изданию, Добровский получил из России опубликованное еще в 1820 г. “Рассуждение о славянском языке” А.Х. Востокова [12]. Известно, что Добровского поразило новаторство выводов русского ученого. В этой работе Востоков на основании ряда памятников славянской письменности определил древнеболгарскую основу древнеславянского языка и разделил историю церковнославянского языка на три периода – древний, средний и новый. После этого “Institutiones” Добровского оказались уже в какой-то мере анахронизмом. Как известно, Добровский придерживался точки зрения о сербской основе. Но книга чешского слависта была широко известна, она произвела огромное впечатление на европейских ученых и долгое время считалась чуть ли не единственным источником сведений о древнеславянском языке. Работу же Востокова, небольшую по объему, опубликованную в мало известном в Европе издании и на недоступном большинству европейских ученых языке, мало кто знал за рубежом, да и в самой России ее по достоинству оценить не смогли. К тому же Востоков не осуществил своего замысла – создать научную грамматику церковнославянского языка, и “Institutiones” Добровского стали основным пособием по этому предмету в России.

В 1835 г. в четырех российских университетах была учреждена кафедра истории и литературы славянских наречий. В Московском университете первым ее профессором стал М.Т. Каченовский (см. об этом: [13. С. 27–31]). В лекциях “О народах, в России обитающих” он на основании сочинений Добровского и ссылаясь на его авторитет, знакомил своих слушателей с концепцией деления славянских племен на “два порядка”: юго-восточный и северо-западный (о лекциях М.Т. Каченовского см.: [14]), что соответствовало выводам Добровского. Также и в вопросе о происхождении церковнославянского языка Каченовский придерживался мнения Добровского, утверждавшего, что языком перевода Священного Писания был древнесербский. Еще в 1817 г., в работе “Исторический взгляд на грамматику славянских наречий” [15], написанной под влиянием трудов Добровского, Каченовский доказывал важность “филологического изучения языка”.

В Петербургском университете преподаватель кафедры истории и литературы славянских наречий П.И. Прейс (1810–1848) также уделял в своей деятельности большое внимание славянским языкам. Подробности его преподавательской деятельности еще не исследованы; он рано умер, оставив после себя большой архив, тексты лекций по славянским языкам, по церковнославянской грамматике – все это в записях самого автора или его слушателей. Однако архив известен не полностью, лишь некоторая его часть через много лет после смерти ученого поступила в Архив Академии наук. Одна из бумаг представляет собой выписки из “Institutiones” Добровского [16. Д. 41]. Они свидетельствуют о том, что сочинение чешского ученого было изучено Прейсом досконально. В лекциях петербургского преподавателя классификация славянских языков дается по Добровскому, но здесь же приводятся и критические замечания по поводу этой классификации, а по многим пунктам предлагаются и иные варианты. Будучи учеником А.Х. Востокова, Прейс в ряде случаев не

соглашался с точкой зрения Добровского на происхождение и развитие церковнославянского языка.

В.И. Григорович, профессор аналогичной кафедры в Казанском университете, включал в программу своей дисциплины ознакомление с трудами Добровского [17]. В 1847 г. казанский профессор писал П.И. Шафарику, что “успехи филологии вообще” заставили его “сделать перемену плана” собственного преподавания, в котором “главное ... будет составлять изучение древнего славянского языка”. Здесь же Григорович сообщал, что разделяет свой курс лекций на три части: “обозрение племен и языков вообще; познание юго-западных и северо-западных племен и языков; и сведения о литературе славян с упражнениями”. И далее: «Славянский язык изучаю по “Грамматике” Добровского с замечаниями, заимствованными из ученых рассуждений новейших исследователей» [18. S. 253].

Использовался труд Добровского в университетском преподавании церковнославянского языка также и такими известными русскими славистами как профессор Московского университета О.М. Бодянский и профессор Петербургского университета И.И. Срезневский.

Большое значение имели труды Добровского и для формирования кирилло-мефодиевской проблематики, которая была одной из ключевых в русском славяноведении практически на протяжении всего XIX в. В первой половине столетия еще не было ясно, на какой язык было переведено Священное Писание, какая азбука была изобретена Константином-Кириллом, где началось богослужение на славянском языке, как и ряд других вопросов. Именно они были поставлены в книге Добровского “Кирилл и Мефодий – славянские первоучители”. И если А.Х. Востоков и К.Ф. Калайдович имели свое мнение по ряду вопросов, позднее подтвержденное наукой, то большинство славистов все же шли за Добровским. Так, О.М. Бодянский в работе “О времени происхождения славянских письмен” (1855), являвшейся его докторской диссертацией, отдавал первенство кириллице перед глаголицей, т.е. придерживался мнения Добровского, хотя к этому времени В.И. Григорович уже привез из заграничного путешествия ряд глаголических рукописей, свидетельствующих о большей древности глаголицы в сравнении с кириллицей; высказал свое мнение о древности славянских азбук и П.И. Шафарик. Книгой Добровского о Кирилле и Мефодии интересовался и П.И. Прейс. В его архиве имеется статья на русском языке об этом сочинении. В начале статьи говорится, что «Труды Королевского Богемского общества наук содержат в себе много критических статей, в коих аббат Иосиф Добровский, со славою преуспевший в литературе, старался очистить древнейшую богемскую историю от позднейших вымыслов. К таковым статьям принадлежит изданный в 1823 году историко-критический опыт “Кирилл и Мефодий, славянские первоучители”, за коим ныне в виде прибавления вышла и обработанная Морвская легенда о Кирилле и Мефодии» [16. Д. 79]. И далее Прейс разбирает эти “Прибавления”. Приложена и копия немецкого текста сочинения Добровского, выполненная в 1834 г., вероятно, самим Прейсом.

Книга Добровского ставила ряд вопросов, освещение которых было важно для разработки истории славян, их письменности и культуры. В лекциях по истории церковнославянского языка (или славянских древностей) каждый профессор-славист касался кирилло-мефодиевской проблематики, и хотя русские исследователи далеко не всегда соглашались с аргументами Добровского, метод его работы с источниками, отношение к источникам различного типа воспринимались и постоянно внедрялись в практику изучения материалов.

После активного освещения творчества Добровского в русской печати 20–30-х годов XIX в., в два последующих десятилетия наступило затишье. Только в 1838 г. была переведена с немецкого на русский язык брошюра Ф. Палацкога “Joseph Dobrowsky's Leben und gelehrtes Wirken” и издана под названием “Биография Й. Добровского” [19].

В 60-х годах XIX в. в системе общественной жизни, образования и просвещения в России произошли существенные изменения. Преобразования в общественно-политической жизни как результат реформ 1860-х годов коснулись и условий развития науки. Ослабла цензура, появилось большое число новых журналов и газет, активизировалась издательская деятельность. Были открыты новые университеты, наделенные, как и прежние, широкой автономией, зафиксированной уставом 1863 г. Все университеты обрели право издавать собственные печатные труды, чем обеспечивалась возможность публикации научных сочинений. Во всех университетах создавались научные общества, выпускавшие свои журналы и сборники статей. Очень важным фактором, создавшим условия для развития науки, было утверждение практики государственных стипендий для всех лиц, готовившихся к профессорскому званию. Каждый кандидат на профессорство мог получить двухгодичную командировку за границу и подробно ознакомиться с развитием науки в Германии, Франции, Англии, Австрии, и славянских странах.

Важным фактором для наступления второго этапа в изучении творчества Добровского в России было развитие славянской филологии и науки о славянах вообще, особенно в Западной Европе, но также и в России.

Среди русских языковедов постепенно утвердился сравнительно-исторический метод исследования. В различных изданиях публиковались важнейшие памятники древнеславянской письменности. Предпринимались активные поиски в архивах и книгохранилищах источников по славянским языкам, по истории и древностям славян. Зарождались новые научные дисциплины – этнография и археология, дающие вспомогательные материалы для изучения различных аспектов славянской материальной и духовной жизни. Бурное развитие славянской филологии на Западе показало, что многие гипотезы Добровского утратили свое прежнее значение. Не оправдалось его мнение об основах церковнославянского языка, о древности кириллицы по сравнению с глаголицей и многое другое. Добровский оказался прав в своем недоверии к Зеленогорской рукописи, однако в 60-х годах XIX в. научная общественность не была еще убеждена в ее поддельности. Окончательное разоблачение Краледворской и Зеленогорской рукописей (РКЗ) произошло только в начале XX в. Отметим, что большинство русских славистов XIX в. порицали Добровского за его неверие в подлинность Любушина Суда (т.е. Зеленогорской рукописи). В целом же ученым второй половины XIX в., вооруженным огромным арсеналом новых знаний, стали виднее промахи прошлых лет. Поколение ученых, получивших образование в условиях нового развития филологической науки, относилось к Добровскому более критически, их не подавлял авторитет Добровского, его широкая известность и уникальность, препятствовавшие критическому отношению к корифею его современники.

Но интерес к Добровскому в русском обществе в 60-х годах XIX в. возобновился. Молодые ученые, особенно слависты, часто посещали Прагу, многие здесь подолгу работали, черпая в беседах с местной интеллигенцией сведения о деятелях Чешского возрождения и делясь своими впечатлениями с читателями русских изданий. Так, краткую характеристику Добровского дал А.Н. Пыпин в очерке “Два месяца в Праге” (1850).

В 1861 г. умер В. Ганка. Как известно, он был своим образованием в значительной мере обязан Добровскому, являлся его учеником. Этот факт был отмечен в частности И.И. Срезневским [20], подчеркнувшим “холодную рассудочность” Добровского, стремление корифея к истине, какой бы она ни была, и, в то же время, отсутствие патриотических чувств. С этой точки зрения русскому ученому больше импонировал патриот Ганка.

А.Н. Пыпин в 1861 г. тоже написал статью о Ганке [21], в которой высоко оценил роль его Учителя, но разделял предубеждения тогдашней литературы и считал, что Добровский неправомерно подозревал своего ученика в подлоге Любушина Суда, а саму рукопись объявил поддельной, “даже не взглянув на нее”. Заметим, что взгляды великого русского ученого менялись в зависимости от хода полемики по этому вопросу в Чехии – он ждал, куда склонится чаша весов. В 1861 г. Пыпин объяснял неверие Добровского в РКЗ его “желчностью” и “старческой подозрительностью”.



Наиболее подробно Пыпин остановился на характеристике Добровского в книге “Обзор истории славянских литератур” [22], переизданной в дополненном и расширенном варианте в 2-х томах под титулом “История славянских литератур” [23]. В последней работе Пыпин назвал Добровского “высшим представителем движения Иосифовых времен”, деятельность которого “вышла за пределы чешской народности и имеет великое историческое значение – всеславянское” [23. Т. 2. С. 923]. Кратко остановившись на биографии Добровского, в изложении которой допущено впрочем немало ошибок<sup>1</sup>, Пыпин выделяет выступление чешского ученого в Королевском Чешском Ученом обществе перед императором Леопольдом, присутствовавшим на заседании этой институции в 1791 г., с просьбой, “чтобы король охранял против насилия чешский народ при его материнском языке, этом драгоценном наследии по праотцах” [23. Т. 2. С. 924]. Упомянув далее о путешествии Добровского в Россию и в другие страны, Пыпин констатирует, что ученые труды Добровского по чешской древности, чешскому и славянскому языкам, приобретают значение “великого ученого дела”, и перечисляет главные из них. Его грамматика чешского языка названа образцом, по которому стали составляться грамматики других славянских наречий. «В 1822 г. явилось знаменитейшее его произведение – первая реставрация старославянского языка: “Institutiones linguae slavicae dialecti veteris”», – писал Пыпин. Значение деятельности Добровского Пыпин видел в том, что он оказал чешскому и вообще славянскому возрождению “великие услуги”, “своими историко-филологическими исследованиями он в первый раз бросил свет на славянскую старину, указал тесную родственную связь племен и наречий и возможность национального изучения, сделал очень много для чешского языка”. Далее Пыпин констатировал, что труды Добровского носили уже всеславянский характер и производили “сильное действие”. Чешское национальное чувство стало опираться на общеславянскую историческую основу, а в Добровском признали “патриарха славянской науки” [23. Т. 2. С. 925].

По мнению Пыпина, вопреки предположениям самого Добровского, объяснявшегося и писавшего почти исключительно по-немецки, а также по-латыни, его труды послужили опорой для национальных целей, и в народной жизни они занимали и занимают высшее место среди трудов “Иосифовской эпохи”. В заключение Пыпин указал, что новейшие чешские писатели (имеются в виду Г. Ирчек, А.Я. Вртятко, Я. Малый и др.) обвиняли Добровского в “раздражительном упрямстве” и сопротивлении новым взглядам в форме резких выступлений против “древнейших памятников чешской литературы”, особенно против “Суда Любуши”, рукопись которого он считал “фабрикатом современного поддельщика”. Чешские писатели, по мнению Пыпина, объясняли это болезнью ученого. Сам Пыпин в то время, видимо, еще не определил своей позиции в отношении РКЗ; он констатирует, что “если новейшие чешские и славянские критики снова возвращаются к взгляду Добровского, то Добровский теперь еще больше, чем прежде, представляется им великим критическим умом и чистым характером” [23. Т. 2. С. 926].

Сведения о Добровском, содержащиеся в сочинении Пыпина, были в русской историографии XIX в. наиболее подробными фактологически. Однако славистическое творчество Добровского в них по существу не анализировалось и не оценивалось. Отметим, что источником сведений послужили для Пыпина чешская и немецкая литература. Известны были ему и основные труды Добровского – в работе они перечислены.

Новая оценка значения Добровского для развития славяноведения вообще и в России в частности содержится в лекционном курсе профессора Киевского университета св. Владимира А.А. Котляревского, прочитанном в 1880/81 учебном году на историко-филологическом факультете. Курс лекций сохранился в записи учителя

---

<sup>1</sup> Например, Добровский упоминается как “знаменитый аббат”. Между тем аббатом, т.е. главой монастыря, Добровский никогда не был и титула такого не имел. Не только у Пыпина, но и в работах других русских ученых Добровский по традиции именуется “аббатом”.

Первой Киевской гимназии М.Л. Лятошинского и хранится в Центральном национальном архиве Украины. В разделе о литературном движении в Чехии – после краткой характеристики литературного процесса в XVIII в. – Котляревский говорил, что все направления чешской науки “совместил в своем творчестве аббат Добровский”, который считается основателем славянской филологии. Он был “замечательен по таланту” и обработал все области славистики с “большой критической свободой исследования”. По мнению Котляревского, Добровский был в теологии учеником строгой богословской школы, в истории – учеником Чешского научного общества, а в языкознании – учеником французских энциклопедистов XVIII в. Изложив перипетии борьбы в Пражском университете между библиотекарем Рафаэлом Унгаром и преподавателем университета – ученым монахом Кандидом, в которой принял участие и Добровский, лектор перечислил его сочинения и издания на латинском языке. Характеризуя занятия Добровского богословием, Котляревский указал, что в этой области чешский ученый исследовал два вопроса: о времени перевода Библии на чешский язык и об употреблении славянского языка при богослужении в Чехии, придя к выводу, что оно было распространено в Чехии незначительно. Как историк, Добровский считал, что наименование славян происходит от термина “слава”.

Переходя к характеристике творчества Добровского в области истории, автор лекций знакомит студентов с изданными Добровским совместно с Ф.М. Пелцлом “*Scriptores rerum Bohemicarum*”, где в частности помещены произведения Пражского летописца Козьмы. Котляревский констатировал, что это издание почти всецело перешло в сборник Г.Х. Пертца “*Monumenta Germaniae historica*” и до сих пор представляет собой драгоценный труд. Добровский обратил внимание и на бытовые древности славян. Когда Г. Добнер выразил мнение, что славяне не сжигали тел покойников, Добровский выступил против этого утверждения – в сочинении “О способах погребения у славян вообще и у чехов в особенности” он доказывал, что раскопки погребений свидетельствуют не только о захоронении, но и о сожжении славянами умерших. А дополнением к этому сочинению служит исследование “Об одном месте 19-го письма Бонифация о славянах”, и сюда же относится заметка “О древнейших местах жительства славян в Европе и их распространении до VI века”.

Между тем в опубликованной русской литературе исторические труды Добровского не упоминались. Киевский же профессор характеризовал деятельность “патриарха славяноведения” во всей ее полноте.

Особое внимание Котляревский уделял в своих лекциях трудам Добровского по языкознанию. В филологических исследованиях, с точки зрения лектора, Добровский был аналитиком, он “мало придавал весу физиологическим свойствам языка”. В языкознании он был “последним философом аналитической школы энциклопедистов”. На язык ученый смотрел как на “нечто механическое”, но будучи по природе художником, он внес в труды по языку “стройную систематичность, необычайно правильное построение”. Однако, по мнению Котляревского, эта система мертва.

Лектором перечислены труды Добровского по языкознанию: “Немецко-чешский словарь”; “Общее объяснение славянского языка” – небольшой, но важный труд; “Полная система чешского языка” (его грамматика); “Программа преподавания этимологии славянского языка” – “сочинение, показывающее аналитическую систему Добровского во всей ее слабости”; “*Institutiones linguae slavicae*”. Последний труд, по мнению Котляревского, особенно важен. Он издан в 1822 г., написан в Вене, во время страданий Добровского от меланхолии. И еще: Добровский уже приготовил это сочинение к изданию, когда получил русское исследование о славянском языке А.Х. Востокова; и он хотел уничтожить свой труд, но просьба друзей удержала его от такого шага. Для европейских ученых это сочинение Добровского произвело переворот в науке, но оно устарело по сравнению с произведением Востокова.

Будучи рационалистом, говорит далее Котляревский, Добровский не признавал исторических изменений языка, они ему были непонятны. Но без этого понимания невозможна система славянского языка! Иначе подошел к проблеме Востоков, ко-

торый делит старославянский язык с точки зрения его истории на несколько периодов. Добровский же пользовался тем церковнославянским языком, который встречается в рукописях; ему недоставало основательного знакомства с ними.

Далее Котляревский замечает, что «"Грамматика" Добровского чужда движения», в ней нет жизни языка, который здесь представлен в "застывшей форме". Значение же "Грамматики" состоит в ее аналитическом методе. Это – «анатомия языка, в этом заключается достоинство "Грамматики"».

Во взгляде на язык, рассуждал киевский профессор, Добровский был материалистом, он смотрел на язык как на механический способ выражения мысли. У Добровского нет "исторического метода". Для него язык – только дело природы. Но ведь сама природа и язык развиваются с течением времени. Поэтому и язык имеет свою историю, его нужно рассматривать в "историческом отношении". Этого не понимал Добровский. Он приложил к языкознанию материализм французских энциклопедистов. Основателем же историко-сравнительного и палеографического метода в славянской филологии был, по мнению Котляревского, А.Х. Востоков.

Как видно из изложенного, Котляревский оценивал лингвистические труды Добровского с позиций новых языковых концепций и достижений в области языкознания. В русской историографии первой половины XIX в. подобных критических замечаний по поводу теорий Добровского быть не могло. Но, по мнению киевского профессора, Добровский и сам уже удостоверился в том, что его теории "падали и разрушались", а причиной была некоторая поспешность обобщения, между тем как значительные выводы возможны лишь тогда, когда им предшествует "частная разработка"; именно поэтому Добровский не пришел к "общим результатам". Его труды – не более чем "прекрасная программа будущих занятий по славистике". С этим выводом нельзя не согласиться. Действительно, должно было пройти более полувека, чтобы русский профессор смог столь критично разобрать труды ученого, представлявшего когда-то непререкаемым авторитетом.

Остановился Котляревский в своих лекциях и на личности чешского ученого: Добровский от природы был подозрителен и представлял в науке гиперкритическое направление. При открытии каждого памятника он сомневался в его подлинности – сомнение было его стихией. Вот почему он охотно писал критические статьи и рецензии, предпочитая их исследованиям, полагал киевский профессор. Когда Калайдович в Москве обнаружил Святославов сборник, относящийся к 1073 г., Добровский счел, что это "вздор". Когда тот же русский ученый нашел сочинение Иоанна, экзарха Болгарского (XII в.), то Добровский заявил, что ничего подобного не существует. После "открытия" Краледворской рукописи Добровский посчитал возможным признать ее подлинность, но затем неоднократно отказывался от этого признания.

Здесь можно отметить уже гиперкритицизм самого Котляревского: ведь что касается РКЗ, то Добровский оказался прав, но киевский профессор об этом еще не догадывался.

Котляревский указывал на важность издания Добровским сборника статей "Славин" или "Послания ко всем славянским народам", к которому было приложено сочинение "О глагольских письменах", где Добровский приписывает глаголице более позднее происхождение (XIII в.), чем кириллице, что затем опровергалось учеными (см., например.: [24. 1852. № 3]), как констатирует и Котляревский.

Далее в лекциях Котляревского указано, что Добровский владел почти всеми славянскими языками и поместил много важных рецензий в "Jahrbuch der Literatur" в том числе и о русской литературе. Отмечено, что всего насчитывается более 50 отдельных изданий его больших работ. Последние труды ученого посвящены церковной истории славян; в их числе труд "Кирилл и Мефодий", сочинение о моравской легенде про Кирилла и Мефодия и три исследования о древней чешской истории, при этом он почти ничего не написал на чешском языке.

Заключает характеристику творчества Добровского киевский профессор словами, что Европа обязана ученому тем, что он открыл перед ней славянский мир, а его

влияние заметно “до сих пор”. Подчеркивается, что большую часть жизни Добровский занимался славянским языком [25].

Как показывают приведенные сведения, во второй половине XIX в. в университетских лекциях русских профессоров содержался уже значительный критический материал по поводу взглядов Добровского, особенно в области славянского языкознания. Однако этой критикой вовсе не умалялось значение чешского ученого как патриарха науки о славянах. В лекциях Котляревского мы находим всестороннюю характеристику и объективную в целом оценку роли Добровского в развитии славянской филологии.

Восьмидесятые годы XIX в. ознаменовались появлением в русской славяноведческой литературе значительного числа трудов, в которых содержится материал о Добровском. Это связано с общим интересом к истории славяноведения, к его источникам и деятелям. В 1888 г. вышел фундаментальный труд одесского профессора А.А. Кочубинского “Начальные годы русского славяноведения” [26], где Добровскому уделяется большое внимание именно в связи с началом развития славистических исследований в России. Автор упоминает об обстоятельствах встречи Добровского с Шишковым и об отрицательной характеристике последнего, данной чешским ученым в письме к Б. (Е.) Копитару [26. С. 177–178]. В книге содержится анализ лингвистических исследований Добровского [26. С. 179–182] и упоминается об отрицании им реальности Иоанна, экзарха Болгарского, и, следовательно, подлинности его книги, найденной К. Калайдовичем. Между тем “дальнейшая обработка” славянской литературной старины показала, сколь безосновательно было отрицание Добровским исследовательских приемов якобы чрезмерно доверчивого Калайдовича, сколь блестящим было открытие Калайдовичем начал славянской письменности у племен Среднего Дуная, тогда как Добровский постоянно искал их среди болгар [26. С. 292]. И далее: “Что можно о бок с Экзархом поставить в современном славяноведении у западных славян? Который из трудов Копитара, чтобы не сказать – который из историко-литературных трудов Добровского? Известно, как неудачен был патриарх славистики в историческом понимании ... церковнославянского языка” [26. С. 293].

При характеристике работ А.Х. Востокова Кочубинский также обращается к существу взглядов Добровского на старославянский язык. В 1820 г. Востоков выпустил свое знаменитое “Рассуждение о славянском языке” и стал сразу же “учителем учителя – Добровского”, – писал Кочубинский [26. С. 324]. Копитар же, – продолжает русский ученый, – вначале не понял “Рассуждения” Востокова; но иначе “рассудил себя” Добровский. Он признал свой долготелый труд “Institutiones” отсталым, а в Востокове стал видеть “серьезного судию” и знатока славянского языка. “Добровский как бы повторял в перифразе суждения Востокова о его труде, указавшие в нем многие недостаточные, сомнительные или ошибочные места” [26. С. 328].

Общая оценка главного лингвистического труда Добровского сформулирована Кочубинским таким образом: «Сильный критическим анализом, разносторонне подготовленный, но силою вещей предоставленный исключительно самому себе, своим источникам, да и собираемым с огромным трудом, Добровский, положив массу лет на свои “Институции”, дал грамматику несуществовавшего языка, – крепкую своею стройною системою, наблюдениями над организмом вообще славянского языка, но с недостаточными данными и с фальшивыми выводами» [26. С. 386–387].

Если отбросить гипертрофированный патетически-патриотический тон этого повествования Кочубинского, мало подходящий для изложения научных проблем, то по существу его суждения продолжили критическую линию в оценке творчества Добровского, что свидетельствует об отношении к нему русских ученых второй половины XIX в. как к факту историографии.

В 1878–1880 гг. серию статей на тему “Новейшие памятники древнечешского языка” опубликовал В.И. Ламанский [24. 1879. № 1–3, 6–7; 1880. № 6]. Свою работу он посвятил “памяти аббата Иосифа Добровского”. Как известно, в этих статьях Ламанский решительно критикует защитников подлинности РКЗ, обращаясь к авторитету Доб-

ровского, призывая современных защитников подлинности РКЗ “возвратиться к здоровым критическим понятиям Добровского и Копитара” [24. 1879. № 1. С. 154]. Говоря о творчестве Добровского в целом, Ламанский замечает, что он “еще при жизни своей был опережен как филолог, собственно по части древнеславянского языка. Но как критик источников и разных более или менее сложных и запутанных вопросов древностей и истории, Добровский стоит необыкновенно высоко и, можно сказать, что настоящего себе преемника в славистике не имел” [24. 1879. № 2. С. 363].

В 1884 г. вышла в свет книга молодого казанского ученого И.А. Снегирева “Иосиф Добровский, его жизнь, ученые труды и заслуги в области славяноведения” [27]. Автор добросовестно обработал источники и имевшуюся литературу и впервые в русской науке изложил содержание и главные мысли и выводы сочинений Добровского. Снегирев оценил Добровского как выдающегося филолога, отметив, что в формировании его научных интересов сыграли существенную роль занятия историей. По отзывам современников, “Труд Снегирева имеет для русской науки то значение, что в нем впервые сделана попытка свести все существенное, сделанное Добровским для славянской науки, и даже краткие сведения о многих его трудах, почти недоступных по своей редкости. Книга полезна для всякого слависта как пособие при ознакомлении с учено-литературным развитием славян времени Добровского” [24. 1884. № 8. С. 330]. Добавим к этому, что достоинством книги Снегирева является собранный в ней фактический материал и стремление показать деятельность Добровского в контексте культурного и общественного движения в Чехии в XVIII в. и в первой трети XIX в.

В 80-х годах XIX в. была опубликована переписка Добровского. Русские ученые приняли участие в подготовке этих изданий, и некоторые из них вышли в свет в России иждивением Академии наук. Так, председатель Отделения русского языка и словесности Я.К. Грот сообщил чешскому ученому А. Патере в письме от 25 мая/6 июня 1871 г., что посылает копии писем Добровского П.И. Кеппену. “Они из бумаг Кеппена и хранятся по его завещанию в СПб. Академии наук”, – писал Я.К. Грот и просил тексты вернуть. А в 1888 г. в письме от 9/21 января Я.К. Грот известил того же адресата, что 2-е отделение Академии наук согласно напечатать в очередном сборнике ОРЯС переписку Добровского и В.М.Ф. Дуриха, и предложил Патере переслать соответствующие рукописи [28]. Это издание, правда, не состоялось, но еще в 1885 г. была опубликована переписка Добровского и Копитара [29], осуществленная академиком И.В. Ягичем, находившимся в это время на русской службе. Отметим, что Ягичу принадлежат и другие работы на русском языке, в которых упоминается о творчестве Добровского (см., например, [30]).

На издание писем Добровского и Копитара откликнулся А.С. Будилович статьей “Добровский и Копитар” [24. 1886. № 6]. Помимо общих сведений о том, что представляет собой издание, которое, к стати сказать, названо автором образцовым, в статье анализируются основные проблемы развития славянской филологии, которые обсуждались в переписке двух ученых. Будилович заметил, что “в славянской филологии нет периода более важного, чем первое 30-летие XIX в. В этот период положены были Добровским и Копитаром на Западе, а Востоковым и митрополитом Евгением на Востоке, основы нашей науки, на которых она развивалась затем в школах этих народов” [24. 1886. № 6. С. 397]. Далее автор статьи констатировал, что “письма содержат много новых тогда мыслей, которые спустя 60–70 лет являются теперь устарелыми” [24. 1886. № 6. С. 399]. Будилович также выделил основные, по его мнению, проблемы, обсуждавшиеся в переписке Добровского и Копитара, и показал сходство или различия в суждениях этих ученых. Одно из таких различий – отношение к славянской графике: Копитар считал главной задачей распространение у славян латинской графики, Добровский же решительно высказывался в пользу кириллицы. Второй проблемой, по которой (если судить по письмам), у ученых были разногласия, являлось “диалектическое” (т.е. связанное с диалектами. – Л.Л.) определение церковнославянского языка. «Добровский называл его то сербо-болгарско-

македонским, то болгарским, то македонским, но “ни в коем случае не моравским”, или “паннонским и краинским”; Копитар же говорит о паннонском происхождении церковнославянского языка», – писал Будилович [24. 1886. № 6. С. 403]. Вызвал разногласия между чешским ученым и венским придворным библиотекарем вопрос о преобразованиях Вука Караджича в сербской графике, орфографии и языке. Добровский не увлекался литературным сепаратизмом Вука и Копитара, он считал, что народные сербские говоры имеют не более прав на литературное обособление в среде славянской, чем “жаргон австрийских немцев” в среде германской. Будилович отметил различное отношение ученых к России: Копитар, по его мнению, был настроен к России враждебно, а Добровский относился “с чувством славянина и образованного славяноведа”. По-разному ставили Копитар и Добровский также вопрос о возможности сближения славян и отношении к Австрии.

Из ученых трудов того времени в письмах Добровского и Копитара, как заметил Будилович, более всего обсуждались “*Institutiones linguae slavicae dialecti veteris*”. Автор статьи высказал и собственное суждение об этой работе Добровского. Он писал: “Критика отнеслась к этому сочинению с излишней придирчивостью. Даже теперь это сочинение мало чем ценится по достоинству в предположении, что оно отстало от науки. Но промахи, даже крупные, не могут упразднить бесчисленных достоинств этого сочинения, особенно в этимологическом его отделе... Пусть Добровский не понял некоторых открытий Востокова, но и последний не в полной мере воспользовался методом и системой первого. Лишь впоследствии соединили два метода: сравнительный Добровского и исторический Востокова, чтобы из этого соединения получить более могучий рычаг и двигатель в грамматической разработке славянского языка” [24. 1886. № 6. С. 413].

Свою оценку Будилович заключил словами: “Ни Я. Гримм в германской филологии, ни Диц (F. Diez. – *Л.Л.*) в романской, не могут похвалиться заслугами большими тех, какие принадлежат Добровскому, а в меньшей мере и Копитару, в деле основания славяноведения” [24. 1886. № 6. С. 414].

В целом же статья Будиловича интересна не столько изложением взглядов Добровского на проблемы славянской филологии, сколько анализом писем, т.е. источника, который предоставляет наиболее достоверные и объективные сведения о направлении и развитии исследований в области славянской филологии в первой трети XIX в. Такой анализ в русской литературе о Добровском является большой редкостью.

Небезынтересными представляются суждения о Добровском еще одного русского слависта славянофильской (как и Будилович) ориентации. Мы имеем в виду М.П. Петровского. В статье, посвященной раннему периоду творчества В.И. Григоровича [31], казанский профессор Петровский подчеркнул общеславянские интересы Добровского, в которых и видит основу всей деятельности чешского ученого. “Добровский, – писал он, – ясно понимал жизненный строй славянских народов, выражающийся в их литературе, и потому не мог ограничиться интересами одной своей народности, чувствуя общность и политических, и литературных судеб славянства. ... Не было славянского племени, которое казалось бы Добровскому незначительным, которое своим языком и письменностью не служило бы светом или тенью в общей картине славянства” [31. С. 231].

Далее Петровский предположил, что Добровский был увлечен тем временем славянского просвещения, “которое было завещано его родине Кириллом и Мефодием”. Поэтому, по мнению Петровского, гениальный чешский ученый и должен был уяснить себе “особенности того языка, на котором впервые всем славянам предлагалась просветительная проповедь”.

Нельзя не заметить, что такое романтическое толкование интереса Добровского к древнеславянскому языку было распространено в русской славистике еще в первой половине XIX в., когда многие ученые, исследовавшие кирилло-мефодиевскую проблематику, находились под влиянием возникшей в XIX в. теории славянской взаимности. Но, в отличие от славистов первой половины XIX в., Петровский не мог не

учитывать достижений науки и должен был указать на ошибки и промахи чешского ученого, которые, по его мнению, объяснялись недостаточным развитием самого славяноведения. Так, объясняя позицию Добровского по вопросу о том, какая из двух славянских азбук – “так называемая кирилловская, или так называемая глаголическая, была в употреблении у славян на рассвете их истории, – по данным, которые были в эпоху Добровского доступны науке, он принял сторону кириллицы”, не предполагая, конечно, что “некогда в Казани появится труд, имеющий пошатнуть прочное, по-видимому, решение вопроса” [31. С. 231].

Взгляды Добровского на церковнославянский язык Петровский оправдывает также недостатком сведений по этому сюжету. “Взявшись за разработку основ церковнославянского языка на основании не одних старопечатных церковных книг, но и рукописей, Добровский должен был решить вопрос о том, какому славянскому племени именно принадлежит тот славянский язык, на который было впервые переведено Священное Писание. Но и для решения этого вопроса в его время еще чувствовался недостаток предварительных работ, да и племя болгар, среди которых появился перевод Св. Писания, было известно в Европе только по имени, а деятельность Кирилла и Мефодия приурочивалась, не без основания, Моравии в широком смысле этого слова” [31. С. 232].

Такое рассуждение нельзя, на наш взгляд, считать научно оправданным. Ведь смог же Востоков, живший в ту же эпоху, что и Добровский, и, следовательно, располагавший такими же данными, придти к более правильным выводам относительно происхождения церковнославянского языка!

Заключая характеристику деятельности чешского корифея, Петровский констатировал, что Добровский своими многочисленными трудами затронул все вопросы славянского языкознания “и подал пример последующим ученым, как подходить к пересмотру всех данных науки, и на их основании делать серьезные выводы” [31. С. 232].

Во всем творчестве Добровского М.П. Петровский уделял основное внимание трудам чешского ученого, касавшимся перевода Библии на славянский язык. Очевидно, это обстоятельство объясняется славянофильскими воззрениями Петровского. Славянофилы, как известно, отстаивали для всех славян необходимость общей православной религии как условия их объединения, считая, что именно православное вероисповедание было якобы привнесено в их среду Кириллом и Мефодием. В угоду этой концепции профессор игнорировал тот факт, что католический священник и богослов Добровский никак не мог быть заинтересован в обнаружении общего православного корня древних славян, в том числе и чехов. В действительности интерес Добровского к переводу Библии на славянский язык определялся только научными мотивами – установить особенности древнеславянского языка.

Более пространную оценку значения творчества Добровского для науки дал известный русский славист К.Я. Грот (сын Я.К. Грота) в работе “Об изучении славянства” [32]. Он так же, как и другие исследователи, считал чешского ученого “патриархом славистики, одним из творцов славянской филологической науки”, который “... поставил на истинно научную почву (в пределах тогда возможного) обработку вопросов славянских древностей, истории, этнографии, литературы и языков”. По мнению Грота, труды Добровского вызвали интерес к “славянским изучениям” в западноевропейской (особенно немецкой) науке; он основал западную школу славистики, в противоположность восточной – русской. К. Грот перечислил проблемы, по его мнению, выдвинутые и критически рассмотренные Добровским. К ним относятся вопросы о происхождении славян, главнейших фактах первоначальной чешской истории, деятельности Кирилла и Мефодия, славянском богослужении у чехов, бытовых особенностях славянской жизни, старой славянской письменности, глаголице, старославянском языке, взаимных отношениях и группировке славянских наречий; Добровский же первым положил начало научной разработке чешского языка и проложил путь для дальнейших исследований по сравнительной славянской филологии. Самым замечательным трудом Добровского К. Грот считал “Institutiones”. По мне-

нию русского ученого, это сочинение – вместе с современными ему трудами “славного Востокова”, направило разработку древнеславянского языка на верную дорогу. Таким образом, К. Грот ограничился констатацией достоинств творческой деятельности “патриарха славистики”, ни словом не упомянув о том, какие теории и гипотезы Добровского оказались несостоятельными уже при жизни корифея, что именно “отошло в область истории” с развитием славяноведения в XIX в. и какие из достижений Добровского не утратили своего значения еще и в начале XX в.

В завершение своей характеристики К. Грот писал, что Добровский был не только “сухим ученым, но и горячим славянолюбом (хотя писал только по-латыни и по-немецки), живо интересовавшимся славянским вопросом. Издав руководство к изучению русского языка, он послужил и практически делу славянской взаимности” [32. С. 13].

На наш взгляд, этот тезис К.Я. Грота достаточно сомнителен. Славянофильствующий русский ученый принимает желаемое за действительное. Ведь Добровский был просвещенец, рационалист, скептик по характеру. Человек такого типа может быть скорее космополитического, чем националистического склада.

Итак, во второй половине XIX в. в литературе о Добровском наблюдается большое разнообразие оценок деятельности и значения его трудов для развития славяноведения – от оценок резко критических до романтических. Но в отличие от дореформенного периода, когда работы Добровского находили широкое применение не только в исследованиях русских ученых, но и в учебном процессе университетов и гимназий, с 60-х годов XIX в. значение деятельности Добровского – в связи с бурным ростом славянского языкознания в России – пересматривается. Теперь к оценке творчества чешского ученого применяется “исторический метод”, что особенно характерно для трудов ученых антиславянофильских убеждений. Это наиболее четко выражено в лекциях А.А. Котляревского, отдающего дань Добровскому как зачинателю изучения славянства, но и указывающего на несовершенство некоторых его теорий как на явление естественное для начального этапа развития науки.

Вместе с тем необходимо отметить, что оценка деятельности чешского ученого зависела от мировоззрения и профессиональной подготовленности русских славистов и их субъективных мнений. В целом же русские ученые разделяли убеждение, что Добровский явился зачинателем научного изучения славянства во всех проявлениях духовной жизни.

В первой трети XX в. изучение творчества Добровского в России не только продолжается, но и активизируется по мере приближения столетней годовщины со дня смерти ученого. Большой вклад в изучение этого сюжета в указанный период внес профессор Варшавского университета В.А. Францев, о трудах которого мы в данной статье не говорим – в том числе и потому, что на эту тему имеется специальная работа [33]. Предусмотренный объем настоящей статьи не позволил остановиться и на некоторых других сочинениях о Добровском, написанных авторами XIX в. Их перечень и краткое содержание имеются в работе И.В. Поповой “Й. Добровский в освещении русской историографии” [34].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Русско-чешские ученые связи конца XVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902.
2. Францев В.А. Из переписки гр. Н.П. Румянцова. Гр. Румянцов и Й. Добровский // Русский филологический вестник. Варшава, 1907. Т. 58.
3. Francev V.A. Cesta J. Dobrovského a Hr. J. Sternberka do Ruska v letech 1792–1793. Praha, 1923.
4. Моисеева Г.Н., Крбец М.М. Йозеф Добровский и Россия (Памятники русской культуры XI–XVIII веков в изучении чешского слависта). Л., 1990.
5. Никулина М.В. Й. Добровский и русские ученые (из истории русского славяноведения первой половины XIX в.) // Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984.



6. Материалы для истории просвещения в России, собираемые Петром Кеппенем // Библиографические Листы. 1825. СПб., 1826.
7. Библиографические Листы. № 1–43. СПб., 1825–1826.
8. Славянин и Слованка // Вестник Европы. 1816. № 1; О древних славянских названиях двенадцати месяцев // Вестник Европы. 1818. № 4; Письмо от сербского литератора Вука Стефановича к Дмитрию Фрушичу, доктору медицины // Вестник Европы. 1823. № 10; Какое из славянских наречий можно назвать самым чистым преимущественно перед всеми другими // Вестник Европы. 1829. № 12.
9. Библиографическое обозрение книг по языкознанию // Московский телеграф. 1826. № 1; О книге Добровского “Кирилл и Мефодий, славянские первоучители” // Московский телеграф. 1827. № 1; О “Грамматике” Добровского // Московский телеграф. 1828. № 4.
10. О разделении славянского языка на наречия (Отрывок из письма Добровского) // Московский вестник. 1827. № 14; Замечание о словенском языке // Московский вестник. 1828. № 12.
11. Российский государственный исторический архив. Ф. 733. Оп. 87. (1818–1840). Д. 270.
12. [Востоков А.Х.] Рассуждение о словенском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам // Труды Общества Любителей Российской Словесности. М., 1820. Ч. 17. Кн. 25.
13. *Лантева Л.П.* Славяноведение в Московском университете в XIX – начале XX века. М., 1997.
14. *Макарова Г.В.* Каченовский и становление славяноведения в России // *Историографические исследования по славяноведению и балканистике.* М., 1984.
15. Труды Общества Любителей Российской Словесности. СПб., 1817. Ч. IX. Кн. 13.
16. С.-Петербургский филиал архива РАН (ПФА РАН). Ф. 106. Оп. 1.
17. *Григорович В.И.* Программа преподавания теории словенских языков и литературы словен в ее главных эпохах. Казань, 1843.
18. Korespondence Pavla Josefa Šafaříka. Praha, 1927. Díl. I. Část I. Vzájemné dopisy P.J. Šafaříka s ruskými učenci (1825–1861).
19. *Палацкий Ф.* Биография Й. Добровского. М., 1838.
20. *Срезневский И.И.* Воспоминания о Ганке. СПб., 1861.
21. *Пытин А.Н.* В. Ганка // *Пытин А.Н.* Мои заметки. М., 1910.
22. *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* Обзор истории славянских литератур. СПб., 1865.
23. *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* История славянских литератур. СПб., 1879–1881. Т. 1–2.
24. Журнал Министерства народного просвещения.
25. Центральный национальный архив Украины. Ф. 2223. Оп. 1. Д. 69.
26. *Кочубинский А.А.* Начальные годы русского славяноведения: Шишков – Румянцов – Славянская кафедра // *Записки Императорского Новороссийского университета.* Одесса, 1888. Т. 46.
27. *Снегирев И.А.* Йозеф Добровский, его жизнь, ученые литературные труды и заслуги в области славяноведения. Казань, 1884.
28. Literární Arhiv Památníku Národního Pisemnictví (LAPNP) / Pozůst. A. Patery. 27g32.
29. Письма Добровского и Копитара в повременном порядке // Сборник ОРЯС. СПб., 1885. Т. 39.
30. *Ягич И.В.* Вопрос о Кирилле и Мефодии в славянской мифологии // *Записки Императорской Академии наук.* СПб., 1885. Т. 51. Кн. I.
31. *Петровский М.П.* Виктор Иванович Григорович в Казани // *Славянское обозрение.* 1892. Т. II (май – август).
32. *Грот К.Я.* Об изучении славянства. Судьбы славяноведения и желательная постановка его преподавания в университете и средней школе. СПб., 1901.
33. *Лантева Л.П.* В.А. Францев как исследователь творчества Йозефа Добровского // *Славянский Альманах* 1998. М., 1999.
34. *Попова И.В.* Й. Добровский в освещении русской историографии // *Проблемы новой и новейшей истории.* М., 1982.



© 2003 г. О. Б. СТРАХОВА

## ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА СОЗДАТЕЛЯ “СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ” И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЙОЗЕФА ДОБРОВСКОГО

### I

Усомниться сегодня в аутентичности “Слова” вовсе не значит вызвать научную сенсацию. Сомнения, касающиеся оригинальности “Слова”, возникли практически сразу после публикации памятника, в самом начале XIX столетия. С тех пор был предложен целый ряд имен возможных фальсификаторов: Мусин-Пушкин, Бантыш-Каменский, Иоиль Быковский, Елагин. Скептицизм по отношению к “Слову” подпитывается не только темной и даже загадочной историей его открытия, но, главным образом, уникальностью этого памятника в историко-литературном процессе Древней Руси и, в целом, славянского мира того времени, к которому этот памятник предположительно восходит. Говоря прямо, “Слово” просто не вписывается в наши представления и наше знание о культурных и исторических горизонтах восточнославянского XII в.

Это, тем не менее, только одна сторона медали. Другая сторона – лингвистический аспект изучения “Слова”. В то время как историки литературы, культуры или собственноистики, пораженные, смущенные и растерянные, время от времени сомневаются в аутентичности “Слова”, лингвисты – именно лингвисты – единодушно оценивают этот памятник как древний и аутентичный; так, по крайней мере, думал А.В. Исаченко в 1941 г.: «Обособленное положение “Слова” в русской литературе, его лексикально-синтаксические особенности порождали и порождают до сих пор среди языковедов много спорных вопросов. Но странно: именно со стороны языковедов никогда не высказывалось ни малейших сомнений в подлинности, т.е. в древности, этого памятника. Серьезные сомнения высказывались исключительно филологами, заинтересованными главным образом литературно-исторической стороной вопроса, начиная со скептиков пушкинских времен и кончая современными французскими “иконокластами”, по выражению А. Мазона» [1. S. 34–35].

В отличие от ученого-естествознателя, который подсчитывает и измеряет, историк культуры и литературы обычно имеет дело с человеческими эмоциями (своими собственными и объекта своего исследования), с эстетическими и этическими мотивациями, с идеями, движениями, веяниями времени и модами. Все это очень трудно измерить. Из всех инструментов, имеющихся в запасе у историка культуры и литературы, лингвистический анализ является ближайшим подобием научно-статистического ме-

---

Страхова Ольга Борисовна – д-р, библиотекарь Гарвардского университета (Кембридж, США).

тогда. Этим инструментом и следует воспользоваться, когда речь заходит о текстах, вызывающих сомнения в их подлинности.

Вопрос, который не дает лингвисту спать, таков: «Кто в конце XVIII в. мог обладать таким глубоким знанием церковнославянской грамматики и древнерусского лингвистического узуса, чтобы создать такой сложный текст, как “Слово”?»

Еще один ответ на этот сакраментальный вопрос был предложен недавно историком Эдвардом Кинаном. Он добавил новое имя в список возможных создателей “Слова” – Йозефа Добровского<sup>1</sup>. На первый взгляд, выдвижение этой кандидатуры не лишено известных резонансов. Добровский не только имел доступ к трем текстам, теснейшим образом связанным со “Словом”, т.е. к Ипатьевской летописи, Псковскому Апостолу 1307 г. и к Синодальной версии “Задонщины”<sup>2</sup>, но он также был лингвистом, причем лучшим лингвистом своего времени; следовательно, он обладал или, по крайней мере, мог обладать достаточными познаниями, чтобы создать “Слово”.

Э. Кинан заявил (см., напр. [ 4. С. 256. Прим. 2]), что он работает над монографией, озаглавленной “Joseph Dobrovský and the Origins of the “Igor Tale””, которая должна выйти в свет в ближайшем будущем. Я нахожу, что заглавие будущей монографии, весьма явственно указывающее на взгляды Кинана относительно происхождения “Слова”, является достаточным для того, чтобы стимулировать поиск в этом направлении до выхода в свет самой работы.

Знания Добровского в области церковнославянской, древнесербской и древнерусской грамматики действительно не имели себе равных в его время. Если Добровский на самом деле подделал “Слово”, мы были бы вправе ожидать, что лингвистические черты его подделки отразят его лингвистические взгляды как ученого и специалиста. Основная часть моей статьи будет посвящена разбору этого положения.

## II

Интерес к лингвистике возник у Добровского очень рано (ср. его письма 1785 г. к В.Ф. Дуриху и Й. Рибяю; см.: [8. С. 17–19, 32–33]). Главным вкладом Добровского, сделавшим его знаменитым в истории славистики, были и остаются его “Institutiones...”, вышедшие в свет в 1822 г. благодаря настойчивому давлению со стороны Бартоломея Копитара. Работа немедленно стала сенсацией среди лингвистов того времени. “Institutiones” представляли собой новый жанр в славистической лингвисти-

---

<sup>1</sup> Э. Кинан объявил о своей гипотезе в трех коротких публикациях [2, Р. 322; 3. С. 4–7; 4. С. 256–272].

<sup>2</sup> Г.Н. Моисеева была первым ученым, обнаружившим, что Добровский имел доступ к этим трем текстам. Добровский видел Синодальный список “Задонщины”, когда он работал в Москве (с 25 октября 1792 г. по 7 января 1793 г.) в Синодальной библиотеке [5. С. 96–99]. В связи с этим текстом Добровский сделал следующее замечательное наблюдение в своей рецензии на “Историю Государства Российского” Н.М. Карамзина в 1822 г.: “Поэтическое описание Куликовской битвы, сделанное рязанцем, священником Софронием, не лишено ценности. Оно напоминает Слово об Игоре. Похвала Дмитрия Донского замечательна по своей силе и нежности” [6. С. 243], (см. также [5. С. 97]). Добровский видел Апостол 1307 г. также в Московской Синодальной библиотеке и использовал его в своих “Institutiones” [7]. Он видел Ипатьевскую летопись в Петербурге (17 августа – 15 октября 1792 г.). Об этой рукописи он позже заметил: “Ипатьевский академический кодекс. Бомбицина, как я видел, etc.” (цит. по [5. С. 51]); Добровский ссылался на этот текст в своей работе “Altrussische Geschichte nach Nestor”, опубликованной в Берлине в 1812 г. (см.: [5. С. 52]). Открытие Моисеевой не вызвало у нее сомнений относительно происхождения “Слова”.

ческой литературе: первую сравнительную грамматику славянских языков с ярко выраженными элементами исторического подхода. Эта грамматика разительным образом отличалась от всех предшествующих работ, в том числе и от двух важнейших источников грамматики Добровского – грамматики Мелетия Смотрицкого [9] и грамматики Авраама Мразовича [10]<sup>3</sup>.

Для целей нашего исследования важно то, что “*Institutiones*” представляли широкомасштабную картину взглядов Добровского на сам церковнославянский язык с постоянным обращением к литературной традиции и лингвистическому употреблению различных славянских народов. Текст грамматики насыщен отсылками к *Russis, Carniolis, Serbis, Croatis, Polonis, Bohemis, Moravis, Slovacis* (например: [7. P. 148–149]), *Dalmatas et Bosnenses* (см., например: [7. P. 167]), и даже *Cracoviensibus* и *Mosquenses* (см., например: [7. P. 150–151]). В “*Institutiones*” Добровский исследовал, кратко или детально, следующие рукописи: Ассеманиево Евангелие [7. P. 688–689], Изборник 1073 г. [7. P. 673–675], Галицкое Евангелие 1144 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 404) [7. P. 675–676], Толковый Апостол 1220 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 7) [7. P. 676–677], Шестоднев 1263 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 345) [7. P. VIII], Псалтирь 1296 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 235) [7. P. 672–673], Псковский Апостол 1307 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 722) [7. P. 677–678]; Шишатовский Апостол 1324 г., обычно называемый Добровским Дамианов Апостол по имени писца рукописи (см., например: [7. P. 585]), Евангелие 1409 г. (ГИМ. Синодальное собр. № 71) [7. P. 678–679], *Psalterium Bononiense* (Болонскую Псалтирь) [7. P. 686–687], Геннадиевскую Библию 1499 г. и ее список 1558 г., сделанный монахом Иоакимом (ГИМ. Синодальное собр. № 915, № 21) [7. P. XX–XXI]. Добровский ссылался и на печатные тексты: на Венецианскую Псалтирь 1561 г. [7. P. 165], на Острожскую Библию 1581 г. (см., например: [7. P. 585]), на Московскую Библию 1663 г. (см., напр.: [7. P. 151]); на “Церковный словарь” П. Алексеева [7. P. 150], на “*Lexicon Academiae Russicae*” (“Словарь Академии Российской”) [7. P. 151], на славяно-греко-латинский Словарь Ф. Поликарпова [7. P. 152], на польский словарь С.Б. Линде [7. P. 153], на церковнославянскую грамматику Федора Максимова 1723 г. [7. P. 433] и на целый ряд других рукописей и печатных текстов. Наряду с этими текстами Добровский пять раз сослался на “Слово о полку Игореве” [7. P. 179, 186, 209, 305, 585]. Объем текстов, обсуждаемых в “*Institutiones*”, а также сравнительно-исторический подход, продемонстрированный Добровским, делают эту грамматику надежным инструментом для реконструкции его взглядов на историю славянских языков, включая историю языков древнерусского и церковнославянского.

### III

Теперь мы можем обратиться к нашей непосредственной задаче, а именно – к сопоставлению языковой практики создателя “Слова” с лингвистическими взглядами Добровского.

Мы начнем с анализа глагольной системы “Слова” и сравним ее с церковнославянской глагольной системой в концепции Добровского. “Слово” содержит формы настоящего времени, аориста, имперфекта, перфекта со связкой и без нее, случаи плюсквамперфекта и сослагательного наклонения, действительные причастия на-

---

<sup>3</sup> Добровский пользовался грамматикой Смотрицкого, изданной в Евье, хотя ему и было известно о ее перепечатке в Москве в 1648 г. Грамматика Авраама Мразовича (*Avram Mrazović*. 12.3.1756–8.2.1826) была опубликована в Будапеште в 1811 г.

стоящего времени в герундивной функции<sup>4</sup> и формы глагола в двойственном числе. Итак, “Слово” представляет более чем достаточный материал для его сопоставления с глагольной системой, описанной в “Institutiones” Добровского.

Церковнославянская глагольная система в понимании Добровского весьма отличалась от той, что была представлена в трудах его предшественников – Смотрицкого и Мразовича. Добровский разделил все глаголы на три спряжения, в соответствии с окончанием страдательных причастий настоящего времени: **-ѣм, -ом, -им**. Он разделил каждое из трех спряжений на две парадигмы. Парадигма А первого спряжения включала глаголы, которые оканчивались в 1-м л. ед. ч. наст. вр. на **-ю** после гласных (типа **бѣю, пѣю, пою**, etc.), в то время как парадигма В включала глаголы, которые оканчивались на **-ю** после мягких согласных (**пишю, глаголю, мажю**)<sup>5</sup>. Второе спряжение по Добровскому включало глаголы, оканчивающиеся на **-ѹ** в 1-м л. ед. ч. наст. вр. Это спряжение объединяло глаголы на **-ѹ** после твердых согласных (типа **вѣстн, вѣдѹ; нестн, несѹ**, etc.; парадигма С) и глаголы с суффиксом **-нѹ** (типа **прозвѣнѹти, ткнѹти, поманѹти**; парадигма D). Третье спряжение включало глаголы, оканчивающиеся на **-ѣти** (типа **летѣти**; парадигма Е) и глаголы на **-ити** (типа **молитн**; парадигма F). Добровский также выделил группу нерегулярных глаголов (**быти, дати**, etc.).

Эта классификация церковнославянских глаголов существенно отличалась от классификации, предложенной Смотрицким и Мразовичем, которые выделяли только два спряжения, подобно тому, что мы имеем сегодня в современном русском языке (т.е. они разделяли глаголы в соответствии с окончаниями 3-го лица мн. числа наст. времени: **-ѹтъ** и **-атъ**). Несмотря на эти различия, формы презенса не составили проблемы для Добровского, и его система настоящего времени практически не отличалась от того, что мы обнаруживаем в грамматиках Смотрицкого и Мразовича.

Ситуация меняется радикально, когда мы переходим к системе прошедших времен у Добровского. Добровский не согласился с системами Смотрицкого и Мразовича, которые объединили в одной парадигме черты церковнославянского аориста,

---

<sup>4</sup> Ср. такие формы, как *ищучи* (8, 10), *плещучи* (19), *мычучи* (20), *аркучи* (20, 38 [bis], 39), *звонячи* (27). Я не буду обсуждать их в настоящей статье. Достаточно будет заметить, что Добровский не обратил никакого внимания на подобные формы (я не нашла никаких упоминаний о них в его объемистом труде). Здесь и далее цифры после цитат из “Слова” обозначают соответствующие страницы издания 1800 г. (факсимиле издания см.: [11. С. 77–132]; буква М обозначает черновые бумаги А.Ф. Малиновского, одного из первых издателей “Слова”; буква Е – Екатерининскую копию; буква К – цитаты Карамзина из “Слова”, обнаруживаемые в его “Истории Государства Российского”. Подробнее об этих параллелях к первому изданию “Слова” см.: [11], описание Екатерининской копии и сам текст [11. С. 135–151]), описание бумаг Малиновского [11. С. 152–181], факсимиле бумаг Малиновского [11. С. 182–254], цитаты Карамзина из “Слова” [11. С. 225–256].

<sup>5</sup> Добровский, по сути дела, объединил в одну группу глаголы на **-j**. Он не знал (и не мог знать), что мягкие согласные (спиранты и l-epentheticum) на конце глагольных основ наст. времени, включенных им в парадигму В, явились результатом протославянских изменений групп “согласный + j”. Но он работал и думал в системе латинского алфавита, и это помогло ему осознать, что славянская буква **ю** (регулярное окончание 1-го л. ед. числа наст. времени глаголов с основой на мягкий согл.) обычно транскрибируется в латинице как “j + u”. Это обстоятельство позволило ему увидеть “скрытый j” у глаголов с основой на мягкий согласный и объединить эти глаголы в одну группу с теми, которые имели “открытый j” в своей основе (ср., например, глагол **мыти** и его императив **мой; пѣти, пой**, etc.).

перфекта и имперфекта<sup>6</sup>, и был прав. Но в то же время Добровский не понял, что церковнославянский глагол имеет четыре времени: аорист, имперфект, перфект и плюсквамперфект. Он осознал существование двух сложных времен, перфекта и плюсквамперфекта, и описал их, правда, весьма кратко и поверхностно<sup>7</sup>; но его латиноязычный субстрат (латинский язык имеет только три прошедших времени) оказал ему дурную услугу. Вместо того, чтобы выделить две независимо существующие системы славянских простых претеритов (аорист и имперфект), Добровский предпочел говорить об “индикативных” и “итеративных” глаголах (явно следуя здесь традиции Смотрицкого–Мразовича, также выделявших параллельное существование *дѣйстви́тельнаго* и *оу́чаща́тельнаго* видов глагола).

По Добровскому, “индикативные глаголы” (*Verba Indicativi*), и только они, спрягались согласно аористой парадигме. Его “итеративные глаголы” (*Verba Iterativi*), и только они, спрягались согласно имперфектной парадигме. Главная ошибка Добровского состояла в том, что он смешал суффикс *-a-*, характерный для большинства славянских итеративов, и суффикс *-а(хъ)-* (<*-ěach-*, *-aach-*) имперфектных форм. Отсюда, все глаголы, оканчивающиеся на *-ати* в инфинитиве<sup>8</sup>, были для Добровского итеративами по своей природе и, следовательно, должны были спрягаться согласно имперфектной парадигме и только ей.

Совершенно очевидно, что такая классификация не отражает реального положения вещей в церковнославянской глагольной системе и, что особенно важно для нас, не отражает глагольной системы “Слова”. Такие формы “Слова”, как *потопташа* (10), *въсплакашась* (20), *насыпаша* (22), *полизаша* (34), *подвизашася* (40), *вътроскоташа* (43), *троскоташа* (43), т.е. аористы от глаголов на *-ати*, попросту не имеют места в глагольной системе Добровского. По нему, все эти глаголы должны принимать окончания имперфекта (т.е. *потоптаху*, *въсплакахусь*, *насыпаху*, *полизаху*, *вътроскотаху*, *троскотаху*).

<sup>6</sup> Ср., например, спряжение глаголов прошедшего времени в системе Смотрицкого: *Преходѣше*: ѣдн: чтѣхъ, челъ/члѣ/члѣ, чтѣ *Мнѣ*: чтѣхомъ чтѣсте, чтоша; *Вѣда оучащѣтельна Пршедше*: ѣдн: чита, читѣлъ/читѣла/ло, читѣше *Мнѣ*: читѣхомъ, читѣсте, читѣхъ/нѣй читѣша; *Мимощѣдше*: ѣдн: читаа, читаѣлъ/ѣла/ѣло, читаѣше *Мнѣ*: читаѣхомъ, читаѣсте, читаѣхъ, нѣй читаѣша; *Нпредѣлно*: ѣдн: прочтѣхъ, прочѣлъ/лѣ/лѣ, прочтѣ *Мнѣ*: прочтѣхѣ, прочтѣсте, прочтѣша [9. Тетрадь О. Л. ѳ. г]. Спряжение глаголов прошедшего времени в системе Мразовича: *Врѣмѣ преходѣше*. Ч. ѳ. Пнтѣхъ, пнтѣлъ, а, о ѣси, пнтѣ, пнтѣше. Ч. М. Пнтѣхомъ, пнтѣсте, пнтѣша, пнтѣхѣ; *Врѣмѣ пршедше*. Ч. ѳ. Пнтѣлъ, а, о ѣсмь, пнтѣлъ, а, о ѣси, пнтѣлъ, а, о ѣсть. Ч. М. Пнтѣли есмь, пнтѣли ѣстѣ, пнтѣли сѣтъ; *Врѣмѣ нпредѣлно*. Ч. ѳ. Напнтѣхъ, напнтѣлъ, а, о, ѣси, напнтѣ. Ч. М. Напнтѣхомъ, напнтѣсте, напнтѣша. Нѣй растворяемо съ глаголомъ ѣсмь. Напнтѣлъ, а, о ѣсмь, напнтѣлъ, а, о ѣси, напнтѣлъ, а, о ѣсть. Напнтѣли есмь, напнтѣли ѣстѣ, напнтѣли сѣтъ [10. С. 103–104]. Заметим, что Мразович отказался от глаголов двойственного числа и от “мимощедшего” времени, ср. его замечания в разделе “Ѣвѣйства глаголавъ” [10. С. 98–100]

<sup>7</sup> Он обсуждал эти формы в контексте “нерегулярных глаголов”, т.е. в контексте спряжения глагола **БЫТИ**. Он описал *Praet<eritum> Indic<ativi>* (*был исъмь*, etc.), *Plusquamperf<ectum>* (*был въхъ*, etc.), и *Praet<eritum> Opt<ativi>* (*был въхъ*, etc.) [7. P. 536]. Каждая из его парадигм, тем не менее, была снабжена грамматической категорией, которую он назвал “*Praeteritum Participii activi*”, т.е. причастия на *-l*.

<sup>8</sup> Добровский включил сюда не только те глаголы, которые принадлежали парадигме В (т.е. глаголы на *-ати* с основой на мягкий согласный), но и глаголы на *-ати*, которые принадлежали парадигме А (основы на гласный); ср. его примечание к парадигме А 1-го спряжения: “К этой парадигме (т.е. к парадигме А 1-го спряжения. – *О.С.*) относятся ... 3) глаголы пятого разряда на *аю*: *павлаю*, *падаю*, *питаю*, *пытаю*, *читаю*; но в прошедшем времени они, скорее, должны следовать парадигме В, потому что страдательное причастие <этих глаголов> после *а* принимает не *ен*, но *и*: *знаю* от *знаю*” [7. P. 522].

Ситуация с третьим спряжением выглядит еще более проблематичной. Согласно Добровскому, все глаголы этого спряжения (т.е. и парадигма Е, *-ѣти*, типа *зрѣти*, и парадигма F, *-ити*, типа *молити*) принимали окончание *-стѣ* и во 2-м и в 3-м л. мн. ч. в формах Praeterita Indicativi (т.е. в формах простого прошедшего времени, спрягаемого согласно аористу), ср.: “Praeteritum Indicativi. ... Plur. 1. зрѣхом, волнхом 2. зрѣсте, волнсте 3. зрѣѣте, волнѣте” [7. P. 529]. Окончание *-стѣ* восходит к форме аориста 2-го л. мн. ч. Иначе говоря, Добровский, по причинам мнѣ не совсем понятным, не различал формы 2-го и 3-го л. мн. ч. прош. вр. “аористного типа”. Такой подход можно было бы объяснить влиянием парадигмы настоящего времени, где простые претериты не различаются в формах 2-го и 3-го л. Любопытно, что, если такое влияние и существовало, оно затронуло только 3-е спряжение у Добровского (глаголы 1-го и 2-го спряжений различались во 2-м и 3-м л. мн. ч. прош. вр. “индикативных”, или “аористных”, глаголов). Постулируемое Добровским окончание *-стѣ* для 3-го л. мн. ч. прош. вр. вместо стандартного *-ша* – едва ли типографская ошибка: оно повторено дважды [7. P. 529] (для глаголов *зрѣти* и *волнѣти*); представлено во 2-м издании грамматики, вышедшем в свет в Вене в 1852 г., наконец, оно сохранено в русском переводе грамматики М. Погодина, который вышел в Петербурге в 1833 г. Окончания, постулированные Добровским для глаголов на *-ѣти/-ити*, вступают в противоречие с формами аориста 3-го л. мн. ч. от глаголов на *-ити* в “Слове”, такими, как *прегородиша* (10), *отступиша* (13), *преградиша* (13), *скратишася* (17), *попоиша* (18), *ся обратиша* (27), *поклониша* (32), *подѣлиша* (32), *позвониша* (36). Согласно Добровскому, эти формы должны были выглядеть как *прегородисте*, *отступисте*, *попоисте*, etc.

Добровский настаивал в своей работе, что *Tempora circumscripta*, т.е. церковнославянские формы перфекта и плюсквамперфекта, не могут употребляться без глагола-связки: “Ибо *был*, *читал*, *творил* не могут употребляться ни в каком лице без вспомогательного <глагола> *есм*, *бѣдѣ*, *бых*, хотя иногда они могут <так> употребляться в третьем лице. Но здесь *естѣ* подразумевается, как, например, в 2 Кор 2:5 *ашчелн кто ускоренл мене, не мене ускоренл*. В более недавно переведенных книгах Ветхого Завета можно найти больше примеров <подобного рода>” [7. P. 551].

Итак, согласно Добровскому, хотя причастия на *-л-* в 3-м л. ед. ч. и употреблялись, это явление было достаточно редким и более характерным для “недавно переведенных” текстов Св. Писания. Любопытно, что “Слово”, которое Добровский едва бы мог назвать “недавно переведенным текстом”, использует формы причастий на *-л-* преимущественно без глагола-связки (всего “Слово” содержит 24 примера подобного рода; это число можно увеличить, если мы добавим к причастиям на *-л-* все случаи употребления страдательных причастий и прилагательных в функции предиката без глагола-связки). Все эти случаи находятся в существенном противоречии с правилом, установленным Добровским в его “Institutiones”.

Иногда, тем не менее, “Слово” употребляет причастия на *-л-* со связкой. Одним из таких случаев является плюсквамперфект *бѣше успилъ* (21); ср. также *бѣшетъ притрепелъ* (21). Такая форма плюсквамперфекта не отмечена в “Institutiones”, где Plusquamperfectum представлен формами сигматического аориста с имперфектной основой от глагола *быти* (т.е. *быль бѣхъ*, *быль бѣ*, etc.), а Praeteritum Optativi (инновация Добровского) представлен формами “регулярного” сигматического аориста (т.е. *быль быхъ*, *быль бы*, etc.)<sup>9</sup>. Форма *бѣше*, действительно, отмечена как возможная форма “итератива” от глагола *быти*, но не в контексте плюсквамперфектных форм<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> “Plusquamperfectum: *бѣхъ ходил*, *бѣ ходил*, *бѣхом ходилн*, *бѣсте ходилн*, *бѣхѣ ходилн*” [7. P. 545]; см. также: “Tempora circumscripta. ... Plusquamperf. 1. *был бѣхъ*, 2. *был бѣ*, 3. *был бѣ*; 1. *были бѣхом*, 2. *были бѣсте*, 3. *были бѣхѣ*; Praet. Opt. 1. *был быхъ*, 2. *был бы*, 3. *был бы*, 1. *были быхом*, 2. *были бысте*, 3. *были быша*” [7. P. 536].

<sup>10</sup> “Стяженная <форма> итератива 1-го <лица> прошедшего <времени>, т.е. имперфекта, есть *бѣхъ*; 2-е и 3-е <лицо> – *бѣше*...” [7. P. 536].

Добровский также настаивал, что глаголы второго спряжения, т.е. глаголы с основами на твердый согласный, не теряют свой финальный согласный в процессе образования форм Praeteritum Participii activi (т.е. причастий на -л-), но добавляют окончание -л(ъ) непосредственно к основе. Так, он пишет: “Действительные причастия прошедшего времени <от глаголов> второго спряжения принимают л вместо ох: **могл** от **могъ**, **могох**, **рекл** от **рекъ**, **рекох**. Глаголы на рѣ, если согласный непосредственно предшествует окончанию, вставляют благозвучный ѳ перед р: **оумерл**, **сътѣрл**, **простѣрл**, **пожерл** от **оумрѣ**, **сътрѣ**, **прострѣ**, **пожрѣ**. Так же **жегл** от **жгѣ** (**жегѣ**). Глаголы, спрягаемые по парадигме D, обычно отбрасывают нѣ, если благозвучие это позволяет, и образуют действительные причастия от <форм> простого прошедшего <времени>, следуя парадигме С: **извѣгла** от **извѣгох**, **извѣгниѣ**; **привѣгла** от **привѣгниѣ**. Но **минѣл** от **минѣх**; **изсѣхѣл** от **изсѣхѣх**; хотя **изсохл**, **изсохла**, **изсохло** может быть образовано от **изсохѣх**” [7. Р. 565].

Это положение Добровского противоречит лингвистической практике “Слова”, где мы находим такие “безэловые” формы причастий на -л-, как *подперъ* (3), *подпрѣся* (35) и *рекъ* (34, 44).

#### IV

Продолжая наш анализ глагольной системы “Слова”, мы можем теперь обратиться к аугментным формам имперфекта в 3-м л. ед. и мн. ч.

Аугментные формы имперфекта (типа *бѣшетъ*, *бѣхуть*, etc.) конституируют яркую характеристическую черту, указывающую на восточнославянское происхождение рукописи (ср., например, [12. С. 135–142; 13. С. 37–56]). Исследования показывают, что эта черта отсутствует в древнейших восточнославянских памятниках XI в., отражающих нормы древнеболгарского извода старославянского языка. Она не зафиксирована в Изборниках 1073 и 1076 гг., Туровских листках, Слуцкой Псалтыри, Минеи Дубровского, Синайском Патерике, XIII Словах Григория Богослова, etc.

Остромирово Евангелие содержит только один случай аугментного имперфекта: *моуждашеть*. То же самое можно сказать и о Путятиной Минеи: *оукрашашеть сѧ* [14. Л. 29].

Ситуация меняется радикально, когда мы обращаемся к рукописям, отражающим восточнославянский извод старославянского языка. Архангельское Евангелие 1092 г. – самый ранний текст, который имеет подобные формы: 16 случаев, из которых только один, *въпрашашети* (т.е. *въпрашашеть<ъ>и*; л. 73.11 [15. С. 187], является формой 3-го л. ед. ч., все остальные – формы 3-го л. мн. ч.). Мстиславово Евангелие–Апракос (до 1117 г.) содержит 23 случая (2 – формы 3-го л. ед. ч., 21 – мн. ч.). Галицкое Евангелие 1144 г. содержит 55 случаев аугментного имперфекта (все случаи 3-го л. мн. ч.; данные Янакиевой). Выголексинский сборник конца XII в. не содержит этих форм в Житии Нифонта (Л. 1–33а) [16. С. 69–133]; но в Житии Феодора Студита (Л. 33б–171) [16. С. 134–409] мы обнаруживаем 18 форм 3-го л. мн. ч. и 56 форм 3-го л. ед. ч. Успенский Сборник (кон. XII – нач. XIII вв.) содержит 49 форм 3-го л. мн. ч. и 21 форму 3-го л. ед. ч. В “Повести временных лет” по Лаврентьевскому списку, аугментный имперфект в 3-м л. мн. ч. зафиксирован 13 раз и в 3-м л. ед. ч. – 29 раз при приблизительно 200 случаях “регулярного” имперфекта. Текст “Повести временных лет” по Ипатьевскому списку в этом отношении мало чем отличается от текста Лаврентьевской летописи. Ипатьевский список ПВЛ содержит 20 случаев аугментного имперфекта в 3-м л. мн. ч., и 27 – в 3-м л. ед. ч.

Весьма существенно ситуация меняется, когда мы обращаемся к продолжению ПВЛ по Ипатьевскому списку, т.е. к Киевскому летописному своду. Листы 107–186 об. (1124–1162 гг.) [17. Стб. 286–522], т.е. около 80 листов, содержат 60 случаев 3-го л. мн. ч. и 58 случаев 3-го л. ед. ч. аугментного имперфекта, что более чем вдвое превышает число форм, обнаруженных на приблизительно 104 листах



ПВЛ<sup>11</sup>. Тем не менее, как кажется, ничто не подготавливает читателя к всплеску этих форм на пяти листах 222–227 об. [17. Стб. 635–651], написанных 5-м писцом, где рассказывается о событиях 1185 г., т.е. о походе Игоря Новгород-Северского. Эти пять листов содержат 36 форм аугментного имперфекта в 3-м л. ед. ч. и 30 форм в 3-м л. мн. ч., т.е. всего 66 форм. Обилие аугментных форм имперфекта на этих листах едва ли может быть объяснено лингвистическими предпочтениями 5-го писца. Так, например, 10 листов 213–222 об. [17. Стб. 603–635], покрывающих годы 1177–1184 и предшествующих рассказу о походе Игоря, также написаны 5-м писцом. Они содержат 13 случаев аугментного имперфекта в 3-м л. ед. ч. и 19 таких форм в 3-м л. мн. ч., т.е. меньше половины случаев, встретившихся в Ипатьевской летописи под 1185 г.

Аугментные формы имперфекта привлекли внимание ученых уже в конце XIX в. (см., например, возможно, самое раннее упоминание об этих формах [18. С. 191–194]), но их анализ не шел далее простого указания на наличие этих форм в различных памятниках. Попытка объяснить принципы дистрибуции этих форм была предложена совсем недавно.

В 1997 г. А. Тимберлейк проанализировал распределение аугментного имперфекта в пределах Лаврентьевской летописи и пришел к интересным результатам. Его анализ сегмента А Лаврентьевской летописи, т.е. ПВЛ, еще раз показал, что постпозиция энклитического местоимения *и* (вин. п.) была наиболее частотным контекстом для появления форм аугментного имперфекта на ранней стадии развития этой формы<sup>12</sup>. Тимберлейк далее проанализировал сегменты В–Е, т.е. продолжение Лаврентьевской летописи, и указал на существенные изменения в дистрибуции этой формы в данных сегментах текста.

Возникая на ранних этапах развития как строгий морфофонематический принцип распределения форм аугментного имперфекта в пределах текста, этот принцип со временем начинает терять свой фонематический компонент. С одной стороны, формы аугментного имперфекта могут и начинают употребляться с косвенными падежами местоимений *и(жє)*, *и(жє)*, *и(жє)*, например *и, ю, имоу*, etc., которые, имея в качестве анлаута фонему /j/, в целом продолжали отвечать морфофонематическому принципу распределения этих форм. С другой стороны, расширение сферы употребления аугментного имперфекта на этом этапе развития формы способствовало тому, что писцы начали употреблять аугментный имперфект со *всеми* энклитиками, включая и такие, которые противоречили фонематическому принципу распределения этих форм (например с местоимениями *ми, ти, сѧ*, а также с частицами *во* и *жє*). Разрушение фонематического принципа приводит к тому, что аугментные формы могут теперь употребляться с местоимениями и частицами как в постпозиции (дань энклитикам), так и в препозиции. Итак, на каком-то этапе развития, строгий морфофонематический принцип уступает место чисто морфологическому принципу: аугментный имперфект оказывается связан с личными местоимениями и частицами *во*

<sup>11</sup> Текст ПВЛ написан четырьмя писцами: Л. 107–186 об., упомянутые выше, написаны двумя писцами ПВЛ, 2-м и 4-м. Итак, количество форм аугментного имперфекта не зависит от лингвистических предпочтений определенного писца.

<sup>12</sup> Результаты этой части исследования Тимберлейка совпадают с более ранними наблюдениями, сделанными Ц. Янакиевой в 1989 г. Янакиева исследовала ранние церковнославянские тексты (Архангельское, Мстиславово и Галицкое Евангелия, Выголексинский и Успенский сборники) и обнаружила, что аугментный имперфект (она называет эти формы *имперфектом с вторичными личными окончаниями*) регулярно появляется на морфофонематическом шве перед местоимением *и*, возможно, с целью заполнить зияние. В текстах, написанных в XII в., аугментный имперфект может появляться уже и перед косвенными падежами личных местоимений, например перед *и, и, и*, включая, хотя и весьма редко, формы с предлогом *къ*: *прихожахоуць къ имоу* (Галицкое Евангелие; Лк 21: 38; подробнее см.: [13. С. 38–51]).

и же. А. Тимберлейк также заметил, что частицы **во** и **же** обладают определенной синтаксической функцией: они регулярно вводят предложения с причинно-следственной (**во**) и противительной (**же**) семантикой. Отсюда следует, что морфологический принцип распределения форм начинает эволюционировать в сторону синтаксического принципа: аугментные формы начинают употребляться в причинно-следственных и противительных придаточных даже тогда, когда частицы **же** и **во** в этих придаточных отсутствуют и их функцию выполняют другие вспомогательные элементы, например, союзы **зане**, **тогда**, etc. Тимберлейк также указал, что аугментные формы глагола **выти** часто выступают в функции глагола-связки (подробнее см. [19. С. 66–87]).

Я проверила дистрибутивные принципы, постулируемые А. Тимберлейком, на материале Успенского Сборника и Ипатьевской летописи под 1185 г. и нахожу, что его открытие имеет высокую степень надежности. Так, из 70 форм аугментного имперфекта, отмеченных в Успенском Сборнике, 32 употребляются с энклитикой **и**, 12 с местоимениями **ю**, **имъ**, **кмоу**, 6 с местоимением **сѧ**, 2 с частицей **во**, 10 с частицей **же** и 8 в других контекстах. Из 66 форм аугментного имперфекта в Ипатьевской летописи под 1185 г. 16 употребляются с частицей **во**, 12 с частицей **же**, 2 с местоимением **ми**, 3 с местоимением **сѧ**, 13 с различными формами местоимения **и** (в 4 случаях **и** пропущено, но явно предполагается), 7 в противительных придаточных (без частицы **же**), 6 в причинно-следственных придаточных (без частицы **во**), 1 раз в функции глагола-связки (вне противительного или причинно-следственного контекста), и 6 раз в других контекстах. Иначе говоря, принципы Тимберлейка работают в 89 процентах случаев, зафиксированных в Успенском Сборнике, и в 91 проценте случаев, зафиксированных в Ипатьевской летописи<sup>13</sup>.

Более того, принципы, постулируемые Тимберлейком, позволяют нам объяснить ту мощную экспансию аугментных форм, которые мы обнаруживаем в Ипатьевской летописи под 1185 г. Эта погодная запись не есть простая последовательность событий. Летописец старался объяснить мотивации князя Игоря и причины его поражения. Тимберлейк подчеркивал, что аугментные формы не характерны для чисто описательных контекстов: они обычно появляются в контекстах с причинно-следственной и альтернативной модальностью [19. С. 85]. Подавляющее число аугментных форм в записи 1185 г. приходится либо на противительные, либо на причинно-следственные контексты (41 случай из 66).

Вернемся к “Слову”. Оно содержит 17 случаев аугментного имперфекта при 22 (или 24) случаях “регулярной” формы: *блаеть* (1), *растекашеться* (3), *помняшеть* (3), *пуцашеть* (3), *сѧблаеться* (16), *растяшеть* (16), *погибашеть* (16), *кикахуть* (17), *гряяхуть* (17), *говоряхуть* (17), *блаеть* (21), *одѧвахъте (одѧвахуть?)* (23), *чрълахуть* (23), *сыпахуть* (23), *бяхуть* (36), *блаетъ* (38), *гряяхуть* (43).

“Задонщина” не могла снабдить нашего фальсификатора примерами аугментного имперфекта, ибо ни одна из версий “Задонщины” их не имеет. Правда, наличие форм аугментного имперфекта может объясняться влиянием Ипатьевской летописи. И тем не менее, из 17 форм, зафиксированных в “Слове”, только две – *блаеть* (*ter*) и *бяхуть* – имеют параллели в Ипатьевской летописи под 1185 г., где формы

---

<sup>13</sup> Анализ аугментных форм в Успенском Сборнике и Ипатьевской летописи под 1185 г. и их сравнение с данными Тимберлейка позволяют сделать осторожное предположение о различной динамике развития и дистрибуции этих форм в церковнославянском и древнерусском языках. Действительно, и число форм в Успенском Сборнике (70 при таком гигантском объеме), и принципы их распределения более соответствуют числу и дистрибуции форм в сегменте А (ПВЛ), чем в сегменте Б (1111–1185 гг.), и это при том, что Успенский Сборник написан в конце XII – начале XIII в. Можно предположить, что развитие этих форм в целом оказалось нехарактерным для церковнославянского языка и что синтаксическая стадия принципа дистрибуции аугментных форм церковнославянским языком не была достигнута.

бѣшеть и бѣхуть были использованы соответственно 15 и 9 раз. С другой стороны, три из 17 форм “Слова” встречаются в знаменитом пассаже, имеющем параллель в писцовой приписке к Псковскому Апостолу 1307 г.:

*Тогда при Олѣ Гориславичи сѣяшеть  
и растяшеть усобицами; погибашеть  
жизнь Даждь-Божа внука, въ Княжихъ  
крамолахъ вѣщи челоуѣкомъ скратишася*  
(16–17).

*при сиѣхъ князехъ. сѣяшеться и  
росташе оусобицами. гынаше жизнь  
наши въ князехъ которы и вѣщи  
скротнишася члѣкомъ* (цит. по: [20. С. 293]).

Итак, если “Слово” – подделка, наш фальсификатор должен был заимствовать этот пассаж из приписки к Апостолу. В этой приписке, тем не менее, только одна форма – сѣяшеться является аугментным имперфектом. Таким образом, фальсификатор не только использовал эту приписку для своих целей, не только добавил ссылку на неизвестного князя Олега Гориславича и на неизвестного внука Даждь-Бога, но он также переменял формы регулярного имперфекта *росташе* и *гынаше* Апостола на аугментные формы “Слова” *растяшеть* и *погибашеть*, синоним *гынаше*.

В 1999 г. Тимберлейк исследовал формы аугментного имперфекта в “Слове” и пришел к выводу, что их дистрибуция отвечает нормам, постулируемым им для сегмента В Лаврентьевской летописи, покрывающего годы 1111–1185 (см.: [21. С. 771–786]), и, как мы можем теперь добавить, дистрибутивным нормам Успенского Сборника и Ипатьевской летописи под 1185 г. Иначе говоря, наш фальсификатор был не только прекрасно знаком с правилами образования форм аугментного имперфекта, но и в совершенстве владел секретом их дистрибуции в пределах текстового сегмента.

Обратимся к Добровскому. Обладал ли он подобным знанием? Действительно, мы находим одно упоминание об аугментных формах в его “Institutiones”: “Прошедшее время в 3-м лице един. числа обычно принимает дополнительный т после гласного: *ят, поят, прѣят, швят, ѡят (ѡнат)* вместо *я, поа, etc.* Также *начат, почат, запат, клатся, шввит, повит, пит, пролит*. Реже <это происходит> в <формах> 2-го спряжения: *оумрет, прострет*. Крайне редко <это встречается> во множественном после *хѣ*: *впрашахѣтъ* в Апостоле Дамиана, *сѣвршахѣтъ*; Мих. 2, 1. в Острожской <Библии>; *искахѣтъ*; 2 Царств 17, 20 там же; в исправленных <текстах> – *искаша*” [7. Р. 555].

На самом деле, в основной части своего примечания Добровский говорит не об имперфекте, а о формах аориста, оканчивающихся на -тъ в 3-м л. ед. ч. Надставочный аорист характерен для однослоговых основ, и это явление хорошо описано в научной литературе (см., напр., [22. С. 171; 23 Р. 88–89]). Согласно подсчетам С.М. Кульбакина [24. С. 90], Мариинское Евангелие содержит 96 форм аориста на -тъ и только 6 без него; то же самое можно сказать о Зографском Евангелии (94 формы на -тъ vs. 6 без него); об Ассеманиевом Евангелии (68 vs. 1); Клоцовом Сборнике (только ть-формы, всего 36); и о Синайской Псалтыри (35 vs. 2). В Супрасльской рукописи эти формы встречаются значительно реже (31 форма на -тъ vs. 116 без нее). Эти подсчеты привели Кульбакина к справедливому заключению о том, что ть-формы аориста являлись архаизмом. Неудивительно, что эти формы в целом не характерны для восточнославянских текстов, и в “Слове” их нет.

Только в самом конце своего примечания Добровский обращается к формам аугментного имперфекта; он считает их крайне редкими (*rarissime in plurali post хѣ*) и приводит только три примера<sup>14</sup>. Если Добровский был фальсификатором, это при-

<sup>14</sup> Добровский мог обратить внимание на эти формы в процессе изучения Галицкого Евангелия, которое, согласно подсчетам Янакиевой, содержит 55 случаев аугментного имперфекта в 3-м л. мн. ч. Добровский кратко описал это Евангелие в своих “Institutiones” (см. пассаж из него: [7. Р. 675–676]); правда, цитируемый Добровским фрагмент не содержит интересующих нас форм).

мечание в “Institutiones” представляется весьма странным. Аугментный имперфект в 3-м л. мн. ч. в “Слове” встречается вовсе не *rarissime*, но 8 раз из 17 зафиксированных случаев. Более важно то обстоятельство, что фальсификатор должен был заметить обилие этих форм на пяти листах Ипатьевской летописи под 1185 г. (30 случаев из 66). Добровский-фальсификатор не только должен был прочитать эту погодную запись, но обязан был сделать подробные выписки из нее, ибо рукопись Ипатьевской летописи хранилась в Петербурге, в то время как “Задонщина” и Апостол находились в Москве. Добровский мог сочинить “Слово” только находясь в Москве (т.е. между 25 октября 1792 г. и 7 января 1793 г.), имея копию фрагмента Ипатьевской летописи под 1185 г. перед глазами. Еще более удивителен тот факт, что в цитируемом выше примечании Добровский ни словом не упомянул о формах аугментного имперфекта в 3-м лице *единственного* числа. Предполагаемый фальсификатор, напротив, употреблял их даже чаще, чем формы множественного числа (9 раз). Добровский также должен был заметить эти формы в записи 1185 г., где они употребляются столь же часто (36 раз). Эти формы, как единственного, так и множественного числа, употребляются в Ипатьевской летописи с частотностью приблизительно 13 форм на лист.

Замечание Добровского о том, что формы аугментного имперфекта в 3-м л. мн. ч. встречаются крайне редко (*rarissime*), и полное отсутствие какого бы то ни было упоминания относительно релевантных форм 3-го л. ед. ч. заставляют серьезно усомниться в его участии в подделке “Слова”<sup>15</sup>.

## V

Уже неоднократно указывалось, что создатель “Слова” употреблял формы двойственного числа в почти идеальном соответствии с существующими нормами церковнославянского языка, за исключением тех ошибок, которые были характерны для текстов, написанных в XII–XIII в. (см.: [1. Р. 37]; см. также [26. Р. 86–87])<sup>16</sup>.

Согласно подсчетам Исаченко, “Слово” содержит 47 правильных форм двойственного числа, не считая слов *два* и *оба*. Эти формы образованы от существительных, прилагательных, местоимений и глаголов. “Слово” содержит все формы косвенных падежей именного двойственного, за исключением форм местного падежа; формы презенса – 1-е л.: *есѣѣ* (7), *рострѣляевѣ* (43), *вѣ* ... *опутаевѣ* (43), *опутаевѣ* (44) и 2-е л.: *о моя сыновчя ... рано еста начала* (26), один случай императива – *вступи* (29) и формы 3-го л. аористов, образованных от различных глаголов – *разлучиста* (18), *слѣтѣста* (24), *погасоста* (25), *ся поволокоста* (25), *помѣркоста* (25), *(ся?)*, *погрузиста* (25), *претръгоста* (41). В “Слове” представлены всего 9 случаев употребления множественного вместо двойственного числа (анализ этих ошибок в числе см.: [1. С. 37–40]). Сравнение “Слова” с “Задонщиной”, проведенное Исаченко, показывает, что “Задонщина” использует формы множественного вместо двойственного числа в

---

<sup>15</sup> Преставляется сомнительным, что Добровский интересовался продолжением ПВЛ по Ипатьевскому списку, т.е. чем-то еще кроме своей реконструкции Несторовой хроники. Он полагал, что наиболее ранняя редакция Несторовой хроники представлена Радзивилловским списком ПВЛ, и проиллюстрировал свои взгляды анализом содержания и словаря некоторых пассажей, собранных им из разных списков ПВЛ: о Рюрике, о князе Олеге, о договорах с греками князей Олега и Игоря, о княгине Ольге, о князе Святославе (см. [25. С. 8–23]). Для своих сравнений он использовал следующие летописи: Никоновскую (= Nik. в его материалах), Новгородскую (= Ngrd.), Софийскую (= Sof.), Воскресенскую (= Voskr.), летопись из собрания Г.А. Полетики (= Pol.), Радзивилловскую (= Padz.) и Ипатьевскую (= Нур.). Работа над этими текстами отражена в его архивных материалах (ср. его “Excerpta z Nestora”; подробнее см.: [5. С. 49–53, особ. 52]).

<sup>16</sup> Недавно О.Ф. Жолобов и В.Б. Крысько повторили работу Исаченко и проанализировали еще раз формы двойственного числа в “Слове” и “Задонщине” [27. С. 186–192]. Их выводы полностью совпали с выводами Исаченко.

четырёх случаях из пяти возможных, а в пятом совершает ошибку: *сама есма два брата* (“Задонщина”) vs. *оба есѣѣ Святѣславличя!* (7, правильная форма; см.: [1. С. 45–47]). В свете того обстоятельства, что “Задонщина” не могла снабдить фальсификатора “Слова” правильными формами глагольного двойственного, анализ взглядов Добровского на формы именного, местоименного и глагольного двойственного числа ставятся тем более необходимым.

Небольшой экскурс в историю глагольного двойственного представляется весьма уместным.

Уже в ранних старославянских текстах мы sporadически встречаем формы на -стѣ (аорист, 3-е л. дв. ч.) вместо правильных форм на -ста<sup>17</sup>, когда писец описывает действие, совершенное двумя женщинами, или повествует о паре предметов среднего рода. Ср. следующие формы: *посѣластѣ (сестрѣ), текостѣ, идѣстѣ (мариа ... и другая маринѣ), ѡстѣ (онѣ), поклонистѣ сѡ (онѣ), видестѣ (очи)* (Саввина Книга); *ѡстѣ (тѣ)* (Супрасльская рукопись), *посѣластѣ, текостѣ, поклонистѣ сѡ* (Мария Магдалина и другая Мария; Остромирово Евангелие; подробнее см.: [24. С. 86–87]; см. также: [28. С. 70]; [29. С. 59]). Кульбакин справедливо предположил, что появление этих форм следует объяснять влиянием местоименных и именных форм двойственного числа (*тѣ, онѣ, женѣ, сѣлѣ*) [24. С. 87].

Дифференциация по роду субъекта действия становится нормой литературного языка к концу XVI в. (а возможно, и раньше)<sup>18</sup>. Справщики Острожской Библии весьма последовательны в своем употреблении форм на -стѣ/-ста. Так, например, они употребляют формы на -стѣ, когда описывают действия двух Марий (Мф 28: 8–9), сестер Лазаря (Ин 11: 3), или когда говорят о глазах Симеона Богоприимца (Лк 2: 3), и формы на -ста, когда описывают действия двух субъектов мужского пола (примеров множество). Это употребление форм двойственного укрепило тем сильнее, что было “легализовано” грамматиками Лаврентия Зизания 1596 г. и Мелетия Смолицкого 1619 г.<sup>19</sup>; эти грамматики утвердили для глагольных форм двойственного числа новую грамматическую категорию – категорию рода. Согласно новым нормам, “старые” формы на -ста используются теперь в новой функции – как формы аориста 2-го/3-го числа “мужского рода” двойственного числа, – а “новые” формы на -стѣ – как формы аориста 2-го/3-го числа “женского рода” двойственного числа.

<sup>17</sup> Формы на -ста (2-е л.) вытеснили старославянские формы 3-го л. на -стѣ на очень раннем этапе развития старославянского языка восточнославянского извода. Достаточно заметить, что из 40 форм аориста дв. ч. 3-го л., встречающихся в Архангельском Евангелии 1092 г., только 3 – *оѡготовистѣ* (Л. 90.16–17) [15. С. 221], *посѣластѣ* (Л. 84.16) [15. С. 209] и *текоствѣ* (Л. 122.1) [15. С. 285] сохраняют окончания -стѣ, характерные для ст.-слав. текстов болгарской редакции, остальные 37 представлены окончаниями -ста.

<sup>18</sup> Формы на -стѣ, как кажется, унаследованы Остромировым Евангелием из его южнославянского протографа; в целом, они не характерны для восточнославянских текстов. Эти формы не отмечены в Архангельском Евангелии 1092 г., в Мстиславовом Евангелии (до 1117 г.), в Оршанском и Лаврском Евангелиях, соответственно, XIII и XIV вв., в Евангелии Раевского XIV в. Итак, представляется более уместным говорить о возникновении этих форм на восточнославянской территории, чем о продолжении этой лингвистической традиции со времен Остромирова Евангелия. Вполне возможно, что появление этих форм следует связывать со вторым южнославянским влиянием (грамматический аспект этого влияния пока не привлекал внимания исследователей). Дифференциация форм двойственного числа 3-го л. ед. числа претеритов по роду субъекта действия – т.е. формы на -ста (по отношению к субъектам действия мужского рода) и -стѣ (по отношению к субъектам действия женского рода) – отмечена в Каменец-Стромиловском Евангелии 1411 г. (см. напр., Л. 47 об., 63 об.); описание Евангелия см.: [30. С. 128–129].

<sup>19</sup> “Донатус” Дмитрия Герасимова не описывает формы глагольного двойственного. В списках XVI–XVII вв. знаменитого лингвистического трактата “*Ů ѡсмнѣхъ частехъ слова*” формы глагольного двойственного упоминаются, но только в контексте настоящего времени и безразлично по отношению к роду субъекта действия (см.: [31. С. 51]).

Дифференциация глаголов двойственного числа по роду субъектов действия стала общепринятой ко времени Добровского. Она была зафиксирована в грамматике Мелетия Смотрицкого (и 1619, и 1648 г.), которыми Добровский пользовался как своими непосредственными источниками, и в текстах, которые он изучал, – в Острожской Библии 1589 г., Московской Библии 1663 г. и в Елизаветинской Библии 1751 г. Добровский принял эту точку зрения и ввел формы двойственного “мужского” и “женского” родов во все свои спряжения (см.: [7. Р. 521, 529, 534–535]).

Применение этих норм в церковнославянских текстах позднего (XV–XVII вв.) и позднейшего периодов (эта норма присутствует во всех современных изданиях Нового Завета) создало впечатление, что древнерусские писцы XV–XVII вв. в целом обладали достаточно хорошим знанием глагольного двойственного числа. Это впечатление ошибочно. “Новый” аорист двойственного числа “мужского рода” совпал со старыми (и правильными) формами аориста 2-го/3-го л. дв. ч. Так как большинство церковнославянских контекстов имеют дело с субъектами мужского рода, употребление “новых мужских” форм двойственного числа аориста в этих конкретных случаях не позволяет нам определить о какой собственно норме здесь идет речь. Только в том случае, когда мы обращаемся к контекстам, описывающим действия субъектов женского рода, мы можем определить, какой норме следует наш писец: старой, не различающей формы глагольного двойственного по роду, или новой, которая их различает.

Поэтому, если мы обратимся к таким формам аориста 3-го лица двойственного числа (описывающего действия субъектов мужского рода) в “Слове”, как *разлучиста, слѣтѣста, погасоста, ся поволокоста, помѣркоста, (ся?) погрузиста, претръгоста*, они не помогут нам определить время создания “Слова”. Эти формы могут быть поняты или как “старые” формы аориста двойственного числа (если “Слово” подлинно), или как “новые” формы аориста “мужского рода” (если “Слово” подделка).

Дифференциация глаголов двойственного числа по роду субъектов действия характерна также и для *первого лица* глагольного двойственного. Это касается форм настоящего и будущего времен, а также форм простых претеритов, т.е. форм аориста и имперфекта. Представляется, что дифференциация по роду субъектов действия в 1-м лице произошла позднее и менее регулярно, чем дифференциация в 3-м лице. Уже Востоков утверждал, что “придуманное позднейшими грамматиками различие между мужским и женским родом в двойственном числе, по коему в 1-м лице муж. *ва*, женск. *вѣ*, во 2-м и 3-м лице муж. *та*, женск. *тѣ*, не существует в древних р<уко>п<и>сях” [29. С. 56]. Соболевский, тем не менее, упоминал эти формы в своих “Образцах древнерусского спряжения XI века” (см., напр., [32. С. 297–298]), которые были опубликованы в качестве приложения к его знаменитым “Лекциям по истории русского языка”, но специально не обсуждал их в самом тексте лекций. Более того, исследование Иорданского [33. С. 185] показало, что новые формы 1-го лица двойственного числа “мужского рода” на *-ва* в презенсе появляются в восточнославянских текстах достаточно поздно, в XIV–XV вв. (он приводит только два примера из 1-й Новгородской Летописи по Синодальному списку XIV в. и Радзивиловского списка ПВЛ XV в.)<sup>20</sup>.

Употребление “новых” форм на *-ва* для 1-го лица глаголов “мужского” рода наряду с формами на *-вѣ* для 1-го лица глаголов “женского” рода стало нормой в конце XVI – начале XVII вв. и было зафиксировано в грамматиках Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого.

В Московской Руси ситуация была гораздо сложнее. Согласно грамматике Мелетия Смотрицкого, изданной в Москве в 1648 г., московские книжники употребляли формы на *-ма* (вместо форм на *-ва*) в 1-м лице глаголов двойственного числа “мужского рода” для всех простых времен и формы на *-мѣ* (вместо старых форм на *-вѣ*) в 1-м лице глаголов “женского рода”.

<sup>20</sup> Недавнее исследование Жолобова показало, что такие формы могут встречаться даже раньше, в середине XIII в.; они, тем не менее, были весьма редки [34. С. 90]; (см. также [27. С. 161]).

Эта норма, получившая легитимный статус благодаря грамматическим трудам XVI–XVII вв., не была характерна, тем не менее, для лингвистической практики, обнаруживаемой в текстах Священного Писания, изданных в это время. Евангельские стихи Острожской Библии, например, продолжают употреблять “старые” и правильные формы на **-вѣ** в 1-м лице двойственного числа аористов, даже тогда, когда речь идет о действиях двух субъектов мужского пола (ср. **хощевѣ, просьневѣ, сѣдевѣ, мѡжевѣ**, Мк 10: 35–39; **въспрїемлевѣ**; Лк 23: 41). Справщики Московской Библии 1663 г. и справщики Елизаветинской Библии 1751 г. предпочли использовать здесь “новые” формы глагольного двойственного на **-ва**. Московские справщики провели замену спорадически (Мк 10: 35 и Лк 23: 41), в то время как справщики Елизаветинской Библии произвели замену более последовательно (Мк 10: 35–39 и Лк 23: 41). Только в одном случае Московская Библия 1663 г. использует форму на **-ма** в 1-м лице двойственного числа настоящего времени от глагола **выти**: ср. **ѣсвѣ** Острожской Библии vs. **ѣсма** Московской и Елизаветинской Библии (Ин 10: 30); две последние явным образом отражают московскую норму церковнославянского языка этого времени (ср. эту же форму в “Задонщине”: *сама есма два брата*)<sup>21</sup>.

Итак, приблизительно в конце XIV–XV в., восточнославянские книжники начали дифференцировать формы глагольного двойственного по роду субъекта действия и в 1-м л. ед. ч. наст. времени (и во всех остальных простых временах). Они употребляли эти формы спорадически и непоследовательно. Эта норма была формализована грамматическими пособиями XVI–XVII вв. В то время как норма церковнославянского языка украинско-белорусского ареала предписывала употребление форм на **-ва** (мужской род)/**-вѣ** (женский род), московская норма предписывала формы на **-ма** (мужской род)/**-мѣ** (женский род)<sup>22</sup>.

Добровский принял украинскую норму, зафиксированную в грамматиках Зизания и Смотрицкого (1619 г.), и был против норм, зафиксированных в московском издании этой грамматики (1648 г.) и отражающих московскую норму употребления форм глагольного двойственного. Он даже посвятил специальный пассаж этой проблеме, в котором настаивал на правильности форм на **-ва/-вѣ** в 1-м л. дв. ч. наст. времени<sup>23</sup>, форм, которые он включил во все свои спряжения (ср. [7. Р. 521, 524, 525, 529]).

<sup>21</sup> Ср. в связи с этим форму *мужамъся* = *му жа имъся* первого издания “Слова” (27). Согласно Жолобову и Крысько, эта форма есть результат наложения двух форм: исконной ранней, т.е. формы 1-го л. дв. ч. *мужавѣся*, и более поздней, т.е. формы 1-го л. мн. ч. *мужамъся* (или, добавим, формы двойственного числа 1-го л. “мужского рода” на **-ма**); это наложение форм могло произойти в результате писцовой ошибки, имевшей место в XIV–XV вв. [27. С. 190–191]. С другой стороны, вполне возможно, что здесь мы просто имеем дело с особым начертанием буквы **ъ**, напоминающим букву **ѣ** поздних церковнославянских рукописей, что могло ввести издателей “Слова” в заблуждение. О таких особенностях полууставных почерков XV в. писал, например, В. Изергин [35. С. 45]; о смещении букв **ѣ** и **ъ** в “Слове” см.: [36. Р. 232].

<sup>22</sup> Подробнее о новых формах глагольного двойственного (различающихся по роду субъекта действия) в текстах Острожской, Московской и Елизаветинской Библии, см.: [37. С. 315–319].

<sup>23</sup> Ср. его “Institutiones”: «Я бы хотел, чтобы <читатель> взглянул на 2-е изд. Польской Граматики Г.С. Брандтке, изданной в Вроцлаве в 1818 г., который рассматривает вышедшие из употребления “суффиксы” (как он их называет) на стр. 249 и 312. Он называет силезское двойственное на **ма** солецизмом. Также некоторые богемцы предпочитают заменять формами на **ма** вышедшие из употребления формы на **ва**, ибо они полагают, что двойственное на **ма** может или даже должно образовываться от множественного 1-го лица **мы**. Это понравилось и русским грамматикам. Но, чтобы издавать церковнославянские книги, никаких инноваций не нужно; следует сохранить древнее двойственное, а не вводить новое. Поэтому, издатели совершили серьезную ошибку, когда заменили **ѣсвѣ** (на месте **ѣсва**), как это было в древних изданиях, на **ѣсма** в Ин 10: 50; в Ин 14: 23 они положили **прїидема**, **створима** вместо **прїидевѣ**, **створивѣ**, а в самом недавнем издании они пренебрегли <совершенно> двойственным: они <положили> **прїидем**, **створим** <вместо этого>» [7. Р. 548].

Итак, согласно Добровскому и его “Institutiones”, такие формы “Слова”, как *есѣѣ* (7), *рострѣляевѣ* (43), *вѣ* ... *опутаевѣ* (43), *опутаевѣ* (44), являются формами “женского рода” двойственного числа и, следовательно, не могут употребляться для описания действий двух русских князей (*есѣѣ*) и двух половецких ханов (*рострѣляевѣ*, *опутаевѣ*).

Более того, форма личного местоимения *вѣ* (‘мы оба’) “Слова” (43), где она появляется в соответствии со старой (и правильной) нормой как форма 1-го л. дв. ч. имен. падежа местоимения (независимо от рода), является, по Добровскому, формой 1-го л. дв. ч. имен.-вин. п. женского рода, ‘мы две женщины’. Ясно, что это едва ли подходящая форма, чтобы говорить о двух мужчинах “Слова”, Гзаке и Кончаке. Форма *ва*, которая восходит к старославянскому личному местоимению 2-го л. дв. ч. имен.-вин. п. местоимения ‘вы оба’, становится, согласно местоименной системе Добровского, формой 1-го л. дв. числа имен.-вин. п. мужского рода, ‘мы два мужчины’ (о местоименной системе см.: [7. Р. 490–491]). Короче говоря, согласно Добровскому, два половецких хана Гзак и Кончак должны были бы сказать о себе: *ва* ... *рострѣляева*, *опутаева*.

Нам следует отдать Добровскому должное: он, бесспорно, был внимательным ученым. Добровский заметил, что формы 1-го л. дв. ч. наст. времени на *-вѣ* действительно существуют в старых рукописях и что они употребляются там независимо от рода субъекта действия. Так, он пишет: “Сравни с тем, что мы сказали на стр. 548<sup>24</sup> о мужском окончании *ва*. В рукописях, которые я мог посмотреть, однако, мы везде находим *вѣ* вместо мужского *ва*. Вместо *хощева*, *просива*, *садева*, *можева* (Марк 10: 35, 37, 39), в кодексах Оссолинского, Копитара и в Острожском издании мы читаем *хоцевѣ*, *просивѣ*, *садевѣ*, *можевѣ*. В Дамиановом Апостоле *вѣ* везде употребляется в обоих родах: *имавѣ*, *давѣ*, *помнивѣ*, *можевѣ*, *взращасе ова да посѣтивѣ*; в претеритах *ходиховѣ*, *видѣховѣ*, *слышаховѣ*, *проповѣдаховѣ*, etc. Так же и в Поэме об Игоре: *ова есѣѣ*, *вѣ* – *опѣтаевѣ*” [7. Р. 585].

Добровский, тем не менее, понимал эти формы как результат смешения “в роде” глагольных форм. Это ясно из его эксплицитного высказывания: “Уже в рукописях роды двойственного числа смешаны, так что женское *вѣ* часто читается вместо *ва*” [7. Р. 491]. Добровский не был одинок в своих взглядах на глагольное двойственное число; ошибочное мнение, согласно которому старославянская глагольная система оперировала категорией рода в двойственном числе, долгое время и после Добровского держалось в славянской лингвистике. Это становится очевидным, если мы обратимся к соответствующим лингвистическим работам.

Мы обнаруживаем отсылки к роду в глагольных парадигмах двойственного числа в грамматике И. Пенинского [38. С. 141–144], П. Перевлесского [39. С. 25–29, 33, 40, 42–43], и, что не удивительно, В. Ганки [40. С. 24–29]. В своей “Грамматике старославянского языка”, изданной в 1850 г., Ф. Миклошич не упомянул формы на *-ва/-вѣ*, но описал формы на *-та/-тѣ* 2го/3-го л. дв. ч. презенса, аориста и имперфекта в разделе “Личные суффиксы <т.е. окончания>” [41. С. 41]. Упоминание этих форм исчезает из его описания старославянского языка в сравнительной грамматике славянских языков (ср.: [42. С. 98, 100–105, 110–116, 118, 120, 122–126]). Грамматики старославянского языка А. Ходзько [43. Р. 106–112] и А. Лескина [44. С. 48, 52–53, 56–57, 59–60, 62–65, 67–70] свидетельствуют, что к 70-м годам XIX в. европейские слависты осознали эту ошибку.

Русские слависты, тем не менее, все еще оставались под влиянием средневековой восточнославянской лингвистической традиции. И великий Востоков (в своей грамматике, опубликованной в 1863 г.), и столь же великий Соболевский (в 4-м издании своих “Лекций”) все еще верили, что глагольная система старославянского языка

<sup>24</sup> На этой странице Добровский обсуждает формы двойственного числа настоящего времени “мужского рода” на *-ма* (типа *ѣсма*) вместо форм на *-ва* (*ѣсва*), более правильных с его точки зрения (подробнее см. предыдущее примечание).



имела грамматическую категорию рода в двойственном числе (Востоков допускал это только для форм 2-го/3-го лица простых времен, Соболевский – для всех лиц), и высказались по этому вопросу с разной степенью эксплицитности (ср.: [28. С. 68, 70; 32. С. 297–299]. Этот взгляд наиболее явно был выражен Е.В. Барсовым в его словаре к “Слову о полку Игореве”. Так, он писал по поводу формы **ѣсвѣ** следующее: “**ѣсвѣ** (femin. pro masc. **ѣсва**). Впрочем, давно уже замечено, что роды двойственного числа смешивались с самых древних времен. Так, во всех древнейших Евангелиях читаем: **азъ и оцъ кдино ксвѣ** – *ĕv ĕsrĕv* (Ioan. X, 30). Поправка здесь **ѣсвѣ** на **ѣсва** появилась лишь в XVII в. и едва ли впервые не в Нов. Зав. Кут. 1652 г.; в XVIII в. **ѣсвѣ** поправили на **ѣсма** (Киев. изд. 1788 г.)” [45. Т. 3 С. 215–216].

Итак, Добровский пребывал в почтенной компании. Ни он, ни его русские последователи в конце XIX в. толком не уяснили механизма старославянского глагольного двойственного. Их ошибки были исправлены в лингвистических работах только в начале XX в. В старославянских грамматиках Н.К. Грунского [46. С. 87–90, 93–95] и Кульбакина [24. С. 86–89]) идея о дифференциации глагола в двойственном числе по роду субъекта действия была полностью отброшена.

Изучение взглядов Добровского на образование именного и местоименного двойственного показывает, что он не понял механизма образования и этих форм. Рассмотрим следующую фразу “Слова”: *Ваю храбрая сердца въ жестоцѣмъ харалузѣ скована, а въ буети закалена* (26). Согласно Добровскому, существительные среднего рода принимают в двойственном числе окончание **-ѣ** в 1-м склонении существительных среднего рода (пример Добровского: **крило**) и **-и** во 2-м склонении существительных среднего рода (пример Добровского: **сердце**): “Двойственное <число существительных> среднего рода в родительном и дательном <падежах> не отличается от двойственного <числа существительных> мужского рода, но в именительном <падеже существительные> среднего рода 1-го склонения оканчиваются на **ѣ**, а <существительные> 2-го склонения – на **и**: 1. **крило... крилѣ, крилѣ, крилома ... 2. сердце... сердци, сердцѣ, сердцемъ**” [7. Р. 513]<sup>25</sup>. Итак, следуя Добровскому, “Слово” должно было иметь форму **сердци** вместо формы *сердца* печатного издания<sup>26</sup>.

Далее, согласно Добровскому, страдательные причастия среднего рода прошедшего времени, так как они имели суффикс **-ен/-ан-** и оканчивались на твердый согласный, должны были изменяться по 1-му склонению существительных среднего рода (как сущ. **крило**) и принимать окончания **-ѣ** в имен.-вин. дв. числа (см.: [7. Р. 522]). Отсюда следует, что, по его системе, “Слово” должно было бы иметь формы **скованѣ ... закаленѣ** вместо форм *скована, закалена* печатного текста. Наконец, форма *храбрая* должна, по Добровскому, выглядеть как *храбриѣ* в двойственном числе<sup>27</sup>.

<sup>25</sup> Парадигмы именного склонения существительных среднего рода (примеры Добровского: **слово, лице, оученіе**) в ед. и мн. ч. см.: [7. Р. 474–475].

<sup>26</sup> Форма Добровского по сути дела более “правильна”. Действительно, существительные среднего рода с основой на \*jǫ- требовали окончания **-и** в имен.-вин. двойственного числа согласно старославянским нормам. В восточнославянских текстах, тем не менее, “формы дв. ч. средн. р. в имен.-вин. п. отождествились с формами муж. р., т.е. получили окончание **а**” [32. С. 207]. Соболевский привел примеры из памятников XIII–XIV вв. [32. С. 208]; ср. здесь также аналогичные примеры из берестяных грамот 2-й половины XII в., которые приводят Жолобов и Крысько [27. С. 73].

<sup>27</sup> Двойственное число полных форм прилагательных (= Adjectivum definitum, по Добровскому) специально не обсуждалось в его “Institutiones”. Я реконструирую эту форму на основе следующего его замечания: “Мелетий неправильно образует <окончание> двойственного женского на **ѣ**: **сѣѣ, моѣ, нашѣ**, потому что 2-е склонение (т.е. 2-е склонение сущ. среднего рода с основой на мягкий согласный. – О.С.) требует **и**: **нозѣ мон, рѣце [sic] твон, на обѣ рамѣ свон, оуши наши**. Так же, как вместо **тѣма, онѣма** во 2-м <склонении> говорят **сима, монма, нашима**, так же вместо **тѣѣ, онѣѣ** следует говорить: **сѣи, мон, наши**” [7. Р. 499].

Другими словами, если мы попытаемся реконструировать обсуждаемый пассаж “Слова”, пользуясь рекомендациям Добровского, мы приходим к фразе, которая должна была бы выглядеть следующим образом: *ваю храбрии сердци скованѣ ... закаленѣ*. Сам Добровский не оставил своему читателю лазейки, которая позволила бы ему разрешить это “странное” противоречие между “Institutiones” и “Словом”.

## VI

Обратимся теперь к графико-орфографическим чертам печатного текста “Слова” и тех его вариантов, которые мы знаем. Уже неоднократно замечалось, что, несмотря на то, что “Слово” известно нам главным образом в его печатной версии, и что издатели текста предпочли использовать гражданский шрифт и, уже вследствие этого, могли изменить оригинальные палеографические и орфографические черты предполагаемой рукописи, печатный текст “Слова” все еще содержит черты, характерные для второго южнославянского влияния (см., например, статью Г.О. Винокура, являющуюся печатной версией его выступления 1938 г. [47. С. 90–102]; см. также: [48. С. 138–141; 26. Р. 87; 49. С. 74–75; 50. С. 92; 51. С. 152–155]).

Второе южнославянское влияние (далее: 2-е ЮСл) на восточнославянскую письменную культуру началось в 3-й четверти XIV в. и продолжалось на великорусской территории до 1-й половины XVI в., а на украинской и белорусской территориях даже дольше. А.И. Соболевский был первым, кто подробно описал это явление и осознал его важность для истории русского литературного языка. Его открытие единодушно признано всеми славистами<sup>28</sup>. Среди палеографических черт, характерных для восточнославянских текстов, написанных между концом XIV и серединой XVI в., Соболевский и его последователи выделяют, например, следующие:

(а) написания с не-йотированным *a* на месте [ja] после гласного в окончаниях существительных и прилагательных. “Слово” содержит 8 таких случаев: *вѣщїа* (4); *вѣщїа М*), *сїа* (6), *трупїа* (17), *сѣ заранїа* (17), *конїа* (17), *Божїа* (37), *конїа* (37), *веселїа* (41);

(б) нестяженные формы имперфекта (1 случай): (врани не) *граахуть* (43);

(с) употребление буквы *ѣ* (*ѣлао*) в функции согласного [z]. До 2-го ЮСл эта буква употреблялась в древнерусских текстах преимущественно в функции числа “6”. В бумагах А.Ф. Малиновского с цитатами из “Слова” (34 М)<sup>29</sup>, мы находим *погроузи* (34 М) на месте *погроузи* (22) печатного текста.

(д) употребление диграфа *оу*/лигатуры *ѣ* (вместо монографа *ѣ*) как в середине, так и на конце слов после согласных. До 2-го ЮСл восточнославянские книжники обычно

<sup>28</sup> Это открытие стало известно научным кругам сначала в форме лекции, озаглавленной “Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV вв.”, с которой Соболевский выступил на ежегодном совещании Санкт-Петербургского Археологического института в 1894 г.; лекция вышла отдельным оттиском в том же году. Она была переиздана как приложение в знаменитой работе Соболевского “Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков” (1903) и также вошла в его “Историю русского литературного языка”, изданную в Ленинграде в 1980 г. О важной роли южнославянского влияния на восточнославянскую письменность см. также: [52. С. 95–171; 53].

<sup>29</sup> Среди бумаг Малиновского ученые единодушно выделяют листы 13–15 и 34 как наиболее важные. Листы 13–15 содержат отрывки из “Слова”, их орфография слегка отличается от печатного текста. По филлиграммам эти листы датируются 1790-ми годами. Л. 34 озаглавлен *Темныя мѣста въ поемѣ Игоря* и содержит 18 цитат из “Слова”. По филлиграммам этот лист датируется 1809 г. (см. [11. С. 162, 176]; см. также [54. С. 7, 9]). Таким образом, эти листы, по крайней мере теоретически, могли быть написаны до 1812 г. и, следовательно, могли отражать оригинальную орфографию предполагаемого списка “Слова”. Все ссылки даны именно на эти листы из бумаг Малиновского.

писали диграф оу в абсолютном начале слова и монограф у в середине или конце слова после твердых согласных. Лигатура Ѹ употреблялась спорадически, обычно на конце строки в целях экономии места. После 2-го ЮСл писцы начинают следовать новому орфографическому “правилу” в подражание греческой орфографии: они продолжают писать диграф оу в абсолютном начале слова, как и прежде, диграф оу или лигатуру Ѹ в “середине” слова, в то время как монограф у употребляется спорадически. Как и в предыдущем случае, мы можем реконструировать эту орфографическую черту постулируемого списка “Слова” на основании записей Малиновского, где мы находим, с одной стороны, такие написания, как *рассоушиѣ, строужіе, тоутнетѣ, харалоужными, на Казанину зелену по-поломоу* [sic], *кикахоуть, оуѣдіе, вѣстоупилѣ, оудоноу* (= оу Доноу), *плецоучи, погроузи*, и, с другой стороны, *излоукѣ* (34 М);

(е) употребление ь на месте ѣ в конце слов после этимологических твердых согласных *з, к, х, в, м*: *былинамѣ* (2; былинамѣ Е), *соколовѣ* (3; соколовѣ ЕМ), *соколовѣ* (4; соколовѣ ЕМ), *умѣ* (5; умѣ Е), *умѣ* (6; умѣ Е), *Велесовѣ* (7; Велесовѣ ЕМ), *забивѣ* (13; но *забивѣ* Е), *Ярославѣ* (15), *Святоплѣкъ* (16; Святополкъ Е; Святоплкъ К), *Святѣславѣ* (21), *Святѣславѣ* (23; Святѣславѣ Е), *женчюгѣ* (23), *умѣ* (24), *дивѣ* (25), *Дивѣ* Е), *щитовѣ* (27; щитовѣ Е), *умѣ* (31; но *умѣ* Е), *сыновѣ* (36; но *сыновѣ* Е);

(ѣ) употребление так называемого *і-десятеричного* (вместо -и/-ь-) перед гласными. Несмотря на очевидную тенденцию издателей “Слова” следовать современным им правилам орфографии при написани *і-десятеричного* перед гласными (т.е. использовать букву *і*), опубликованный ими текст сохранил два различных типа этой буквы: *і-десятеричное* с двумя точками (т.е. букву, характерную для русских шрифтов XVIII в.) и *і-десятеричное* с одной точкой<sup>30</sup>. Эту странную разницу в графическом облике букв можно объяснить попыткой издателей сохранить палеографический облик их оригинала (избранный ими гражданский шрифт позволял это сделать). Ср. следующие написания с *-і-* (14 случаев, я пропускаю здесь случай *усобицѣ*): *мыслию* (3), *млѣнїи* (12), *къ Києву* (16), *хрѣбрии* (18), *погании* (19), *Кіевскїи* (21), *въ Кіевѣ* (22), *жребїи* (33), *Ляцкїи* (33) *Литовскїи* (33), *веселїе* (34), *Кіевскаго* (35), *божіа* (37), *нелюбіа* (41); ср. также случаи сохранения “древнерусской” орфографической нормы, а именно написания с *-ь-* перед гласными и, возможно, с надстрочными написаниями согласных, внесенными издателями в строку<sup>31</sup>: *узорочьи* (11), *польяна* (18), *третьяго* (18), *бья* (20), *выльяти* (28), *ручьи* (42), *вьются* (45), *христьяны* (46), *Стрибожи* (< Стрибо<sup>ж</sup>и?; 12), *Дажь-Божа* (< Дажь-Бо<sup>ж</sup>а?; 17), *Княжихѣ* (< Кня<sup>ж</sup>ихѣ?; 17), *Дажь-Божа* (< Дажь-Бо<sup>ж</sup>а?; 19), *пардуже* (гнѣздо) (< парду<sup>ж</sup>е?; 25);

(г) появление написаний *жд, ж<sup>а</sup>* (на месте *ж*) как рефлекс *\*dj*: *порождено* (11), *между* (16), *Дажь-Божа* (17), но *Дажь-Божа* (19), *прихождаху* (19), *нужда* (25), *вижду* (26), *побѣждають* (27), *жаждею* (39), но *Всеволожь* (15), *верезени* (34);

<sup>30</sup> Щепкина была первой, кто обратил внимание на дифференциацию букв *ї* и *і* в печатном тексте “Слова” [50. С. 90–101]. Она сравнила между собой 8 первых изданий памятника [50. С. 94] и выделила следующие слова с *-і-*: *мыслию*, *усобицѣ*, *млѣнїи*, *къ Києву*, *погании*, *кіевскїи*, *ляцкїи* (должно быть: *Ляцкїи*), *веселїе*, *кіевскаго*, *божіа*, *кіевскїи* (должно быть: *-вскїи*), *нелюбіа*. К списку Щепкиной, как кажется, следует добавить слова *хрѣбрии* (18), *въ Кіевѣ* (22), *жребїи* (33), и *Литовскїи* (33), но исключить оттуда слово *кіевскїи*, во-первых потому, что оно написано у Щепкиной неправильно (см. выше), а во-вторых, потому, что в так называемом экземпляре Я (Государственный литературный музей, экземпляр Н.А. Дылевской) *ї* в этом слове весьма заметно (см.: факсимиле [11. С. 77–132]; описание этой копии см. там же: [11. С. 39. № 29]). *і-десятеричное* с одной точкой (*і*) – графема, весьма характерная для текстов, отражающих 2-е ЮСл; см., например, такие написания, как *замышленїемѣ*, *вратїа*, *цртїа* (Диоптра 1418 г. [56. № 190. Л. 207об.]), *вжїимѣ* *чкклюбіемѣ*. *прїїтї велїе вѣставленїе* [56. № 190. Л. 3], *крцїенїемѣ ю* [56. № 190. Л. 103], etc.

<sup>31</sup> То, что надстрочные написания согласных букв часто указывают на сочетание “согласный + напряженный ь”, ясно из следующих написаний: “по чѣлобї<sup>т</sup>ю, бра<sup>т</sup>ями, к строе<sup>н</sup>ю, в ... кѣ<sup>н</sup>и” (см., например, [57.]). Примеры подобного рода можно легко умножить.

(h) группы \*тъгѣ, \*тъгѣ, \*тълт. В результате 2-го ЮСл древнерусские писцы начали писать эти протославянские группы в соответствии с орфографическими нормами, характерными для южнославянских, точнее среднеболгарских, рукописей (преимущественно с ѣ на месте этимологических ѣ и ѥ) после плавных [г] и [л]. Издание 1800 г. содержит 94 подобных случая. “Екатерининская копия”, напротив, обнаруживает явную тенденцию к написанию таких групп с прояснением редуцированных гласных. Тем не менее, мы обнаруживаем 23 случая, в которых и печатная версия “Слова” и “Екатерининская копия” с ее явной тенденцией к модернизированной русской орфографии XVIII в. сохраняют южнославянские написания этих групп:

Издание 1800 г.	Екатерининская копия
прѣсты (4)	прѣсты (27)
вѣскрѣмлени (8)	вскрѣмлени (28)
врѣху (9)	врѣху (28)
влѣзѣ (9)	Влѣзѣ (28)
блѣванѣ (9)	блѣванѣ (28 об.)
чрѣлеными (10)	чрѣлеными (28 об.)
чрѣленѣ (11)	Чрѣленѣ (28 об.)
чрѣлена (11)	чрѣвлена (28 об.)
чрѣлеными (13)	чрѣвлеными (29)
хлѣми (21)	хлѣми (30 об.)
чрѣпахуть (23)	чрѣпахуть (31)
златовѣрѣмѣ (23)	златовѣрѣсемѣ (31; sic)
стлѣпа (25)	стлѣпа (31 об.)
врѣжеса (25; sic)	врѣжеса (31 об.)
поврѣгоща (32; sic)	поврѣгоща (32)
чрѣлеными (33)	чрѣлеными (33)
врѣже (35)	врѣже (33)
подпрѣся (35)	подпрѣся (33)
утрѣ же (35; sic)	утрѣже (33)
хрѣсови (36)	хрѣсови (33 об.)
претрѣгоста (41)	претрѣгоста (34)
Чрѣнядѣми (42)	чрѣнядѣми (34 об.)
пожрѣши (42)	пожрѣши (34 об.)

К этому списку мы можем добавить еще два случая, в которых чтения “Екатерининской копии” сохраняют южнославянские написания этих групп в отличие от печатной версии “Слова”: ср. *утрѣ* (32) печатной версии vs. Е *утрѣнѣ* (32), *мркнетѣ* (10) печатной версии vs. Е *мръкнетѣ* (28 об.)<sup>32</sup>;

ј) наконец, вполне возможно, что странное двойное “о” Екатеринбургской копии – ср. *ни о очима съглядати* (30 об.) vs. *ни очима съглядати* (20) печатной версии – восходит к одному из типов так называемого “о-очного”, встречающемуся в южнославянских рукописях, которое иногда писалось в форме соединенных *о* с точкой (или без нее) внутри буквы (= *oo*; *oo*). Ср., например, такие написания в Сербской Псалтыри конца XIV в. [59], как *ooчи*, *ooчимѣ* [59. В. 46], *ooчию* [59. В. 50] и аналогичные написа-

<sup>32</sup> К этому ср. гиперкорректное написание *плѣ* вместо *полѣ*, ‘половина’, характерное для текстов 2-го ЮСл. Писцы XIV–XV вв. ошибочно возводили эту форму к группе \*тълт. В результате они начали писать это слово как *плѣ*, т.е. с редуцированным после плавного. Так как ѣ приходился на конец слова, вступало в действие другое орфографическое “правило”, согласно которому ѣ заменялся на ѥ после твердых согласных, отсюда *плѣ*. Примеры подобного рода см. у Щепкина [55. С. 130] и Успенского [58. С. 207]. В *плѣночи* “Слова” (35; полночи Е) ѣ сохранен, так как он приходился на середину, а не на конец слова.

ния в восточнославянских рукописях: **оѣчѣма** (Сборник 1425 г.; [56. № 185. Л. 238], **оѣчѣма** (Слова Афанасия Александрийского 1489 г.; [60. Л. 237. Писцовая запись]); ср. также **оѣчѣ|ма** (Лествица 1411 г.; [56. № 156. Л. 91]), **оѣчѣю** (56. № 156. Л. 251); ср. также написания **ѡчѣма** (“Сборник” 1425 г., [56. № 185. Л. 40 об.]), **ѡчѣны|ѣ слезы** [56. № 185. Л. 30], **ѡчи** [56. № 185. Л. 347]; **въ ѡчѣю** (Лествица 1459 г., [61. № 36/61. Л. 348]); **ѡчи** (Сборник 1414; [56. № 165. Л. 63]), **ѡчѣсь** (Род. п.; [56. № 165. Л. 191]).

Наши представления о палеографических и орфографических особенностях восточнославянских рукописей, появившихся в результате 2-го ЮСл, существенно обогатились в последнее время. Это произошло, главным образом, благодаря трудам М.Г. Гальченко. Гальченко исследовала около 200 датированных рукописей, написанных в период между серединой XIV и началом XVI в., уделив особое внимание их графико-орфографическому облику, и установила для них 13 характеристических черт:

- (1) использование запятой (в некоторых рукописях точки с запятой);
- (2) использование знаков акцентуации (по крайней мере, использование *кендемы* [˘]);
- (3) использование *паерка* (˘);
- (4) написания с **а** на месте [ja];
- (5) написания с **ї/і** перед гласными;
- (6) написания с **жа**, **ж<sup>а</sup>** как рефлекс \*dj;
- (7) использование **з** (z) или **з** для передачи звука [z];
- (8) южнославянские написания группы \*tъgt, etc.;
- (9) написания с **ь** на месте **ъ** после этимологических твердых согласных;
- (10) написания с **ж** (этимологические или неэтимологические);
- (11) написания с **ѣ** на месте этимологического [a] (т.е. **оѣстѣвлѣти**, **зѣтворѣюцѣмѣ**, **всѣко**; см., напр., Лествицу 1402 г., [62. Л. 97, 106, 159]);
- (12) написания с **ж** на месте этимологического **ъ** (**нж** = **нъ**, **но**);
- (13) написания с **а** на месте **ж** и vice versa.

Согласно классификации Гальченко, черты 1–6 конституируют *минимальный набор признаков 2-го ЮСл*; черты 1–9 конституируют *расширенный минимальный набор признаков*; наконец, черты 1–13 конституируют *максимальный набор признаков*. Далеко не все писцы, работавшие в этот период, использовали южнославянские графико-орфографические черты в своих рукописях. Далеко не все из тех, кто вносил эти черты в рукописи, использовали их полный набор. Согласно Гальченко, писцы могли вносить только некоторые черты, но достаточные для того, чтобы конституировать релевантный набор признаков<sup>33</sup>. Наш анализ графико-орфографических особенностей “Слова” показывает, что они соответствуют описанию *расширенного минимального набора признаков 2-го ЮСл*, согласно классификации Гальченко.

“Сводная таблица...”, опубликованная в посмертной книге М. Гальченко<sup>34</sup>, называется весьма полезной для нашего понимания дистрибуции различных наборов признаков в XIV–XV вв. Чудовский Новый Завет 1354 г. – самая ранняя рукопись, включенная в *Таблицу*; Лествица конца XV – начала XVI в. [61. № 35/160] – самая поздняя. Так как большинство рукописей, включенных в *Таблицу*, написано больше, чем одним писцом, Гальченко особо проанализировала графико-орфографическую систему каждого писца. Итак, *Таблица* представляет данные, касающиеся не только 165 рукописей, но также и систем 246 писцов, которые работали над этими рукописями. *Таблица* показывает, что расширенный минимальный набор был характерен для 112 писцовых систем, а это составляет приблизительно 33% от всех проанализированных систем. *Таблица* также показывает, что число систем, характеризующихся расширенным минимальным набором, существенно увеличивается к концу XV в.

<sup>33</sup> См. ее статью “Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности”, изданную посмертно [63. С. 376–382], и ее “Доклад” [63. С. 438–439].

<sup>34</sup> См. “Сводная таблица графико-орфографических данных из 165 датированных древнерусских рукописей конца XIV–XV вв.” [63. С. 383–425].

Итак, анализ графико-орфографической системы “Слова” и ее сравнение с аналогичными системами рукописей XIV–XV в. указывают на очевидную схожесть между ними. Более того, релевантные черты “Слова” обнаруживаются в приблизительно одной трети датированных рукописей XIV–XV вв., исследованных Гальченко. Это наблюдение позволяет нам с большой долей вероятности поместить список, послуживший основой печатного текста “Слова”, в определенные хронологические рамки между 2-й половиной XIV и концом XV – началом XVI вв.

Результаты настоящего анализа совпадают с утверждениями издателей “Слова” и с мнениями других людей, предположительно видевших оригинальную рукопись текста. Все они полагали, или, по крайней мере, говорилось, что они полагали, что рукопись печатного текста “Слова” была написана между XIV и XVI веками (Мусин-Пушкин, Малиновский, Ермолаев, печатник Селивановский, и, наконец, Карамзин)<sup>35</sup>. Заметим, что Добровский также полагал, что рукопись “Слова” является древней, и возводил тексты, предположительно содержащиеся в рукописи “Слова”, среди них “Повесть об Акире Премудром” и “Девгениево Деяние”, по крайней мере, к XV в. Вот что он писал в письме к Якобу Гримму от 24 апреля 1811 г. (т.е. до пропажи рукописи): “У русских тоже есть свои народные сказания. Например, древняя рукопись, с которой была печатана древняя песнь об Игоре в походе, содержит еще: Синагрип, царь Адоров, сказание о Филипате и Максиме и об их храбрости, о свадьбе Девгея<sup>36</sup> и Стратиговны; они восходят, по крайней мере, к XV столетию” [68. S. 625].

Такова ситуация. Если, тем не менее, “Слово” является подделкой, наличие в нем черт 2-го ЮСл представляется не менее таинственным, чем само открытие рукописи. Мы можем фантазировать, что фальсификатор (или фальсификаторы) созна-

<sup>35</sup> А.И. Мусин-Пушкин: “Писана на лощеной бумаге, в конце летописи, довольно чистым письмом. По почерку письма и по бумаге должно отнести оную переписку к концу XIV или к началу XV века” [64. С. 35]. А.Ф. Малиновский (из письма к графу Н.С. Румянцеву): “Сие произведение российской словесности XII столетия издано было в 1800 году под заглавием Иронической песни о походе на Половцев удельного князя Новагорода и Северскаго [sic] Игоря Святославича с рукописи XVI века, принадлежавшей действительно тайному советнику графу Алексею Ивановичу Пушкину” [11. С. 155–156]; см. также: [45. Т. 1. С. 65]. Согласно Д. Дубенскому (менее надежный источник информации), Малиновский также рассматривал XIV в. как возможную дату рукописи: “От издателей А.Ф. Малиновский утвердил мнение, Мусин-Пушкиным свету сообщенное, – именно, что подлинная рукопись, с которой печатали первое издание буква в букву, принадлежала к концу XIV в.” Дубенский снабдил свой пассаж следующим примечанием: “Редактор (сам Дубенский. – О.С.) незадолго до кончины незабвенного любителя наших древностей ... имел счастье быть у первого редактора Слова о П. Иг. А.Ф. Малиновского; с чувством истинного уважения говорил он об этом творении, горько жаловался на критиков, и завещал (так случилось!) выставить этот самый век подлинной рукописи” [65. С. VIII]. А.И. Ермолаев: “Что касается до почерка Песни о полку Игоре в и правописания оной, то первый, по мнению некоторых очевидцев, есть белорусский, имеющий свой особенный характер, а по свидетельству покойного А.И. Ермолаева, видевшего рукопись до истребления ее в 1812 году, – есть полуустав XV века (О сем удостоверяет А.Х. Востоков, слышавший от покойного А.И. Ермолаева. – примечание А. Глаголева)” [66. С. 24–25]. Печатник С.А. Селивановский (по сообщению Калайдовича): “Типографщик Семен Аникеевич Селивановский говорил мне, что он видел в рукописи Песнь Игоре в. Она написана точно в книге, как сказано в предисловии, и белорусским письмом, не так древним, похожим на почерк Димитрия Ростовского [sic]” [67. С. 20]. Н.М. Карамзин (по сообщению Калайдовича): “Н.М. Карамзин полагает, что Песнь Игоре в писана не в конце XVI (sic; читай XIV? – О.С.) и не в начале XV, но в исходе сего (т.е. XV в. – О.С.) столетия”; эта запись, выполненная рукой Калайдовича, была опубликована Н. Полевым [67. С. 17]. Действительно, отдельные элементы информации дошли до нас в пересказе Калайдовича, в котором Кинан видит лицо заинтересованное (см., напр.: [4. С. 257]); но Малиновский и Ермолаев (через Востокова) предлагают свидетельства, независимые от Калайдовича (если, конечно, не считать и их заинтересованными лицами).

<sup>36</sup> *Dewgiej* = *Девгѣй*: сочетание *-ie-* в транскрипциях Добровского обычно передает *-ѣ-*.

тельно использовали эти черты и, таким образом, поместили этот текст, предположительно XII в., в хронологические рамки более поздней эпохи. Но эта умозрительная конструкция встречается на своем пути существенные затруднения: в конце XVIII в. никто в России (и в Европе) не имел ни малейшего представления о 2-м ЮСл как о целокупной системе признаков, характерных именно для определенного периода в истории восточнославянской письменной культуры. Нет никаких свидетельств, позволяющих предположить, что русские или другие славянские ученые, включая Добровского, имели какое бы то ни было представление о том глубоком влиянии, которое южнославянская графико-орфографическая традиция оказала на практику писцов XIV–XV вв., до времени Соболевского. Основным массив документальных свидетельств, позволяющих понять, как эта система работала, был собран Гальченко в последние годы XX в.

Рассмотрим, например, издательскую практику Мусина-Пушкина, одного из традиционных кандидатов на роль фальсификатора “Слова”, который, согласно гипотезе Кинана, сыграл главную роль в подделке (Добровский, по Кинану, только написал “оригинал-макет”). Мы знаем, что приблизительно в то же самое время, когда “Слово” было обнаружено, он опубликовал два текста, которые с его точки зрения были даже древнее, чем само “Слово”. Это – “Русская Правда”, создание которой он приписывал князю Ярославу Мудрому (т.е. до 1054 г.) и “Поучение Владимира Мономаха”, памятник, который, ясное дело, должен был быть написан до 1125 г. Оба текста были напечатаны с использованием церковнославянского шрифта и следовали нормам церковнославянской орфографии этого времени. Так как некоторые лингвистические черты были внесены в церковнославянский язык в результате 2-го ЮСл и стали его нормой<sup>37</sup>, я остановлюсь только на тех из них, которые были отброшены поздним церковнославянским и, следовательно, остались чертами, указывающими именно на 2-е ЮСл; т.е. на употреблении ь после этимологических твердых согласных на конце слова и южнославянских написаниях групп \*tъrt, etc. Ни один из двух текстов Мусина-Пушкина не содержит этих черт. Во всех случаях мы обнаруживаем, что группы \*tъrt, etc. написаны с прояснением редуцированных и что этимологические твердые согласные написаны с ъ на конце в соответствии с правилами церковнославянской орфографии<sup>38</sup>. Иначе говоря, судя по этой редакторской рабо-

<sup>37</sup> Я имею в виду буквы ѡ, ѡ, Ѣ, Ъ, а также употребление знаков акцентуации и пунктуации.

<sup>38</sup> О сравнении текста “Поучения” по Лаврентьевской летописи с изданием Мусина-Пушкина см.: [49. С. 68–70]. Несколько слов по поводу правописания подделки Бардина, которую он продал ничего не подозревавшему Малиновскому в мае 1815 г., будут здесь уместны. Изучение подделок А.И. Бардина (из них известны, по крайней мере, 24, которые рассеяны по разным рукописным отделам), проведенное М.Н. Сперанским [69. 44–101], показывает, что Бардин был достаточно способным имитатором церковнославянского полуустава. Отсюда следует, что он должен был обладать солидным знанием древнерусских рукописей, по крайней мере, de visu. Знакомство Бардина с рукописной традицией также подтверждается его достаточно умелым применением глаголицы в своих подделках. Бардин старался имитировать южнославянское написание групп \*tъrt, etc. в своей подделке “Слова”. Но единственное, что он знал об этом явлении, было только то, что ѡ должен был писаться вне своего “нормального” места перед -р/-л-, т.е. где-то после них. В процессе подготовки подделки Бардина к публикации, Малиновский, абсолютно не подозревая, что он был обманут, сравнивал орфографию подделки с печатным текстом “Слова”: *влькаго – великаго, помлкъша – помлькоша, претрогоста – претръгоста, влькомъ князѣ* (т.е. великомъ князѣ; подделка писцовой записи); ср. также такие дикие написания, как *теплѣми – теплыми, прѣневку – припѣвку, крѣлицю – крилицю*, где -ѣ- написан после -р/-л- (4–7 М) (см.: [11. С. 157–160]). Р.Ф. Тимковский, профессор Московского университета, который по просьбе Московского Общества Истории и Древностей Российских работал над изданием Лаврентьевской летописи (пожар 1812 г. уничтожил это издание), спрашивал Калайдовича о слове *тлековица = тльковинъ* (23) “Слова”, которое было

те Мусина-Пушкина, следует исключить его участие во внесении южнославянских черт в текст “Слова”.

Обратимся к Добровскому. Каково было его отношение к редуцированным гласным и что он думал по поводу группы \*tъrt?

В целом можно сказать, что Добровский совершенно не оценил той важной роли, которую редуцированные гласные сыграли в истории старославянского языка. В своей статье “Über die Altslawonische Sprache nach Schlözer, mit Anmerkungen von J. D.”, опубликованной в его журнале “Slavin” в 1806 г. в Праге, Добровский писал, что ъ важен для правильного понимания значения слов и указывал на разницу между словом *сѣѣт* и *сѣѣт*, между сочетанием *с(ѣ) вои* и местоимением *свои* (цит. по: [5. С. 48–49])<sup>39</sup>. В письме к Дуриху от 21 марта 1793 г. Добровский писал: “Я нашел, что в рукописях ъ выполняет роль гласного или служит поддержкой ненаписанного гласного; но я едва ли верю, что его происхождение восходит к системе Кирилла; скорее это произошло по небрежению русских писцов, которые часто находили ъ в тех местах, где они сами произносили *о* или *ѳ*; так что иногда они писали ъ там, где должен был произноситься гласный; например в окончаниях *ом* или *ем* в местном <падеже> (ѣмѣ).” [72. S. 266].

Итак, в свете этого пассажа следует признать, что Добровский не считал редуцированные гласные исконными в старославянской лингвистической системе; он рассматривал их как инновации русских писцов, причем позже времени Кирилла и Мефодия. Несмотря на то обстоятельство, что в письме к Дуриху Добровский называет ъ гласным, в своих “Institutiones” он не поместил ъ или ѣ среди гласных звуков и, строго говоря, считал их не звуками, а скорее знаками или признаками, указывающими на характер предшествующего согласного. Ср. соответствующее примечание в его “Institutiones”: “Знаки ъ и ѣ, называемые некоторыми беззвучными, Смотрицкий более правильно называл присоединительными сонантами, потому что они определяют согласный, на который кончается слог или слово” [7. P. 17].

В “Institutiones” Добровский часто писал слова, оканчивающиеся на твердый согласный, без ъ, но иногда сохранял его в середине слова, особенно в тех случаях если слово имело приставку, оканчивающуюся на твердый согласный; он предпочитал сохранять ѣ в конце слов после мягкого согласного, особенно если это было существенно для правильного понимания значения слова, ср., например, *цѣп* ‘flagellum’ и *цѣпъ*; ‘catena’ [7. P. 98]; *кровъ* и *кровь* [7. P. 17]. Цитируя церковнославянские рукописи и используя при этом латинский алфавит (в ряде случаев он копировал тексты, используя кириллический алфавит, и делал это очень добросовестно), Добровский обычно опускал ъ на конце слова, но сохранял его в середине; он был немного более последователен в передаче ѣ, но, тем не менее, часто опускал и его. Ср., напри-

---

ему непонятно [70. С. 110]. Заметим, что Тимковский не смог правильно реконструировать это слово (он механически заменил ѣ на *e*, но не понял, что слово имеет корень *тълк-*, т.е. группу \*tъlt; издатели “Слова” также не поняли этой лексемы и оставили ее без перевода). Форма *тлъковинъ*, зафиксированная в Екатерининской копии (31 Е) и в бумагах Малиновского (34 М), как кажется, более точно передает форму оригинала, чем печатный текст 1800 г. В Екатерининской копии подавляющее большинство слов, сохранивших южнославянское написание групп \*tъrt, etc., – именно те, где этимологический ѣ был заменен нетимологическим ъ (в соответствии с требованиями орфографической практики 2-го ЮСл), напр., *пръсты* (16 случаев из 24). Механическая замена ъ на *o* не позволяла писцу Екатерининской копии распознать исконную форму слов.

<sup>39</sup> Ср. с этим следующее замечание П.А. Лаврова: “Добровский не уяснил себе истинного значения ъ и ѣ; ъ в конце слов опущено, в середине также, и только при предлоге *въ* стоит *v*”; ѣ отмечается ‘, а иногда на его месте *e*, например *отес*, иногда пропущено: *ппїј*. Вм. *сѣдрава* напечатано *zdrava*” [71. С. 595].



мер, его транслитерацию отрывка из “De fide orthodoxa” Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна Экзарха:

S simi že sy i ostavlъ jeho v žitii sem veliky bžii archiepiskup Meфодii brat jeho prielozi vsia ustavnuya kъnigy ξ ot elinъskaja [sic; пример диттографии?] jazyka ježe jestъ grъчьsk v slovienskъ (цит. по: [5. С. 85–86]).

съ смнн же сы • ѿ оставль ꙗго въ житїи семь • великыи бжїи • архїепискоупъ • мефодїи братъ ꙗго • прѣложи вса оуставитѣля кънигы • ѱ • отъ ѣллинска азъзыка • ꙗже ꙗстъ гръчьскъ • въ словѣньскъ [73. Л. 10б.]

Этот короткий пример показывает, что копируя отрывки из церковнославянских рукописей, Добровский следовал своим собственным представлениям относительно того, что есть лингвистически правильно, а что – нет. В данном примере Добровский употребил форму **сѣмь** (указательное местоимение, Masc. Loc. Sg) без **ь** в точном соответствии со своими собственными представлениями относительно склонения этой определенной формы (по Добровскому, это местоимение требовало окончания **ъ**)<sup>40</sup>. С другой стороны, слово **гръчьскъ**, которое здесь было написано с неэтимологическим **ъ**, было исправлено Добровским на то, что казалось ему более правильным: *grъчьsk* (с этимологически правильным корневым гласным **ь**). Не удивительно, что мы не находим в тексте его “Institutiones” какого бы то ни было обсуждения вопроса замены **ъ** на **ь** после твердых согласных. Эта проблема просто не существовала для Добровского, и его замечание относительно **ъ/ь**, цитируемое выше, по сути единственное в тексте “Institutiones”, в котором он обсуждает природу редуцированных гласных.

Что касается групп \*tъrt, etc. Добровский не понял (и не мог понять) механизма их образования; эти группы и их развитие восходят к протославянскому состоянию старославянского языка. Тем не менее, Добровский обратил внимание на слова с этими группами и посвятил им несколько пассажей в своих “Institutiones”:

а) “В том же кодексе, находим не только написания **смерть**, **плоть**, но также **сѣмьръть**, **пльть**. Потому что твердый **ъ** часто заменял гласный **о**, и мягкий **ь** – гласный **ѣ**. Так, **испѣльнь**, **крѣвь**, **дълго** следует читать в соответствии с русским обычаем **исполнь**, **кровь**, **долго**, а **оцѣтъ** и **мьртвьць** – **оцет**, **мертвец**. Сербские кодексы менее аккуратны в таких случаях, потому что долгие века не различали между **ъ** и **ь** и везде употребляли мягкий **ь**: **сѣмьръть**, каковое <слово> они произносят **смрт**, проглатывая русский звук, вставленный для благозвучия. В глаголических книгах, однако, можно найти написание **сѣмерт**” [7. Р. 20];

б) “В русских изданиях благозвучный гласный **о** и **ѣ** сейчас вставляются в те слоги, которые раньше писались без гласных. Это такие, в которых **р** или **л** <являются> корневыми буквами в середине <слова>. **о** вставляется обычно перед **л**: **волна**, **волк**, **полн**, **ползок**, **полк**, **ѹмолкнѹ**, **долг**, **солнце**, **столп**, **холм**, вместо **вана**, **влк**, **пазок**, **плк**, **ѹмлкнѹ**, **длг**, **санце**, **стап**, **хлм**. Иногда <о вставляется> после **л**: **плоть** вместо **пльть**, **поглотити** вместо **поглатити**. Добавим <сюда> **желчь**, **fel**, вместо **жльч**, **слеза** вместо **слза**, **кленѹсѣ** вместо **кльсѣ**. Перед **р**, тем не менее, **ѣ** вставляется чаще, чем **о**: **вергѣ**, **верх**, **перси**, **перст**, **дерзти**, **держати**, **терпѣти**, **тверд**, **жертва**, **сердце**, **смерть**, **скверна**, **червь**, **черн**, **чертог** и многие другие, которые вставляют **ѣ** между первым и вторым корневыми гласными. Некоторые принимают **о** даже перед **р**: **торг**, **скорвь**, **горд**, **гортань**, **корма** вместо **трг**, **скрвь**, **грд**, **гртань**, **крма**; <другие делают это> после **р**: **вронѣ**, **thorax**, **врозда**, **самus**, **трость**, **agundo**, **кровь**, **sanguis**, **крот**, **talpa**, вместо **врнѣ**, **брзда**, **крвь**, **крт**. **Расторгнѹ** любит **о**, но **растерзати**, **disrumpere**, вставляет **ѣ**” [7. Р. 44].

Приведенные выше пассажи свидетельствуют, что Добровский смешал две разные протославянские группы: группу \*tъrt, etc. и группу \*tъьt, etc. (ср. его примеры:

<sup>40</sup> Ср. склонение местоимения **съ**, **сїй**: Sg.: Nom. **съ**, **сїй**, Acc. **съ**, **сїй**, Gen. **сего**, Dat. **сѣмѣ**, Loc. **сѣм**, Soc. (= Sociativus), **снм** (см.: [7. S. 493]).

сьмърть и плѣть; желчь и слеза; торг, скорвь, горд, гортань, корма и, в то же время, броня, бродза, трость, кровь, крот). Это не удивительно. В то время как в восточно-славянских языках эти группы дали два разных рефлекса: \*tǫgt (через цепочку изменений) → tort (т.е. tǫgъ → toгъ) и \*tǫgt → trot (т.е. kǫgvъ → krovъ, где ъ был в сильной позиции), в сербохорватском, чешском и словацком языках (которые были лучше известны Добровскому) эти две группы дали один и тот же рефлекс и способствовали появлению слоговых *r* и *l* в обоих случаях: ср. с.-х. zřno, чешск., словц. zřno и, с другой стороны, с.-х. křv, чешск. krev, Gen. krvi, словц. krv, etc.

Следует учитывать, что 2-е ЮСл повлияло главным образом на написания групп \*tǫgt, etc., в то время как группы \*tǫgt, etc. продолжали писаться за редким исключением с прояснением редуцированных гласных. Это именно то, что мы наблюдаем в “Слове”: *стремь* (8), *крававья* (12), *стремь* (15), *кровію* (18), *слезами* (26), *кровь* (26), *крови* (29), *стремь* (29), *крававѣ* (33–34), *кровь* (34), *кравави* (36), *крававья* (38), *слезъ* (39), *тростію* (40). Создатель “Слова”, в отличие от чеха Добровского, четко различал эти две группы.

## VII

Добровский был великим филологом, и его “Institutiones” представляют собой огромный шаг вперед по направлению к лучшему пониманию истории и развития старославянского языка. Но Добровский был человеком своего времени. Статус “патриарха славистики” был недостаточен для того, чтобы поставить его вне временных рамок естественного развития славянской лингвистики как науки и не мог предохранить его от ошибок и промахов, неизбежных для того времени. Здесь будет полезно сослаться на мнение Ватрослава Ягича о достижениях и ошибках Добровского как лингвиста: «Грамматика Добровского – труд монументальный, несмотря на многие недостатки и промахи в частности. Обширные сведения автора в области различных языков индоевропейской и семитской семьи, его глубокое понимание организма языка, поддерживаемое философско-критическим направлением блестящего таланта – так и отпечатались [sic] на каждой странице его труда. В особенности первая часть “de vocum formatione” богата новым, до тех пор мало разобранным материалом. У Добровского было много чутья для сравнения и анализа, гораздо менее для исторического развития языка, а так как церковно-славянский язык, разбросанный по памятникам разных столетий и разных стран, представлял собою пеструю массу разнообразных явлений, то только тонкое историческое чутье, уважение к преданиям старины, строгое различие между наслоениями различных эпох могли бы снабдить исследователя ариадниной нитью, чтобы добраться до древнейшего типа разбираемого языка. Всего этого у Добровского недоставало в достаточной степени, поэтому он в своих соображениях и заключениях очень часто делал промахи ... Его общий взгляд на права критики по отношению к языку, отсутствие достаточного уважения к памятникам заставляли его по большей части очень произвольно обходиться с преданием и давать предпочтение тому, что критическому таланту его более нравилось. Таким образом, в его труд внесено очень много субъективного, неверного. ... Его морфология (pars II) представляет самую слабую сторону грамматики» [74. С. 125–126].

Каким бы великим ученым Добровский ни был, его видение старославянского языка, обусловленное временными рамками развития лингвистики в целом, было слишком ограничено, чтобы понять и оценить лингвистические характеристики “Слова”<sup>41</sup>, не

<sup>41</sup> Например, такое фонетическое явление, как цоканье/чоканье, хорошо представленное в “Слове”: ср. *вѣчи* (имен. множ. от *вѣкъ*; 14), *лучи* (вин. множ. от *лукъ*; 39), *сыновья* (зват. дв. от *сыновьѣ*; 26), *галички* (имен. муж. ед. от *галицькѣ*; 30), *луце* (нареч.; 5), *русици* (зват. множ. от *русичь*; 6, 13); сущ. *птиць* <– *птичь* в собирательном значении (9, 20, 27, 34, 37), и *словутицю* (зват. ед. от *словутичь*; 39). Добровский, как кажется, был абсолютно незнаком с этим явлением.

говоря уже о том, чтобы его создать. На предыдущих страницах я пыталась показать, что в области старославянской фонетики Добровский не осознал важную роль редуцированных гласных (отсюда его проблемы с группами \*tъrt и \*tъrt); что в области старославянской морфологии Добровский продемонстрировал недостаточное понимание механизма образования и развития старославянской и древнерусской глагольных систем и церковнославянского и древнерусского двойственного числа. Все эти промахи, характерные для Добровского, отсутствуют в тексте "Слова".

Я предлагаю, по этим и иным причинам (обсуждению которых будет посвящена другая статья), вычеркнуть имя Добровского из списка "подозреваемых лиц", когда дело касается поисков автора "Слова".

\* \* \*

Отложим в сторону список "подозреваемых лиц". Кто же мог быть идеальным фальсификатором "Слова"? Хотя мы не знаем его имени, мы можем попытаться воссоздать его "лингвистический" – правда, *только* "лингвистический" – облик и определить то вероятное время, в пределах которого он должен был бы работать. Для идеальной подделки время Добровского едва ли подходит.

Если наше исследование справедливо, наш идеальный фальсификатор создал двойную подделку. Его первая подделка выглядела как текст XII в., что, собственно, и было его главной целью. Из всех возможных лингвистических черт он смог выбрать две, которые ясно указывали на XII столетие: старые формы глагольного двойственного и формы аугментного имперфекта. Он употребил формы двойственного числа в полном соответствии с нормами XII в., несмотря на то, что тексты, находившиеся в его распоряжении, не могли дать ему образцы для их правильного употребления (глагольное двойственное в "Задонщине" представлено в испорченном виде: или формы множественного числа или "новые" формы; Ипатьевская летопись под 1185 г. не имеет форм 1-го л. дв. ч. наст. времени: она содержит одну форму дат.-твор. именного двойственного и 5 форм аориста в 3-м лице). Избрав правильные формы глагольного двойственного, фальсификатор пошел против норм, которые были приняты как единственно правильные в начале XIX в. Он опередил взгляды западных славистов по крайней мере на 70 лет, а взгляды русских славистов – более чем на 100. Наш фальсификатор знал о той важной роли, которую формы аугментного имперфекта играли в восточнославянских текстах XII–XIII вв. (как и в предыдущем случае, "Задонщина" никак не могла помочь ему в этом вопросе; ни одна из версий не имеет этих форм). Более того, он сумел распределить эти формы внутри текста в соответствии с дистрибутивными принципами XII–XIII вв. Сделав это, он опередил открытия славистов почти на два столетия.

Наш фальсификатор не остановился на этом и перешел к следующему акту подделки, добавив новый слой лингвистических элементов – характеристические черты 2-го ЮСл. Теперь его подделка начала выглядеть как текст XII в., переписанный в конце XIV или, скорее, в конце XV в. И опять, ни один из текстов, который был в его распоряжении, ни Синодальная копия "Задонщины", ни Ипатьевская летопись, ни Апостол 1307 г., не могли помочь ему в реконструкции этих черт, ибо ни один из этих текстов их не содержит. Введя эти черты в текст своей подделки, фальсификатор опередил результаты славистических исследований на 100 лет, если не больше.

Похоже, что фальсификатор "Слова" должен был жить где-то между 1894 г. и 1930-ми или даже 1990-ми годами, т.е. столетием или двумя после своего почти идеального преступления. Альтернатива для этого парадокса (сколь бы затруднительной она ни была) существует, но я оставляю читателям возможность самим ее отыскать.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Isačenko A.V.* Двойственное число в “Слове о Пълку Игореве” // *Opera Selecta*. München, 1976. (= *Forum Slavicum*. Bd. 45).
2. *Keenan E.L.* Was Iaroslav of Halych Really Shooting Sultans in 1185? // *Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szporluk* / Eds. Z. Gitterman, L. Hajda, J.-P. Himka, R. Solchanyk. Cambridge (Mass.), 2000.
3. *Кинан Е.* Слово про те, як Ярослав, князь Галицький, у султанів стріляв // *Критика*. 2000. Р. IV. № 12 (38).
4. *Кинан Е.* Чи міг Ярослав Галицький 1185 року стріляти в султанів? // *Російські історичні міфи*. Київ, 2001.
5. *Мусеева Г.Н., Крбец М.М.* Йозеф Добровский и Россия. Памятники русской культуры XI–XVIII веков в изучении чешского слависта. Л., 1990.
6. [*Dobrowský J.*] *Istoriija gosudarstva rossijskago, d.i. Geshichte des russischen Staates*. Zweyte [sic] verbesserte Ausgabe. Petersburg, 1818, 1819. VIII Bande in gr. 8. // *Jahrbucher der Literatur*. Wien, 1822. Bd. 20.
7. *Dobrowsky J.* *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, quae quum apud russos, serbos aliosque ritus graeci, tum apud dalmatas glagolitas ritus latini slavos in libris sacris obtinet; cum tabulis aeri incisis quatuor*. Vindobonae. 1822.
8. *Петровский Н. М.* Копитар и “*Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris*” Добровского. СПб., 1911.
9. *Смотрицкий Мелетий*. Грамматика славенская. Евъе, 1619.
10. *Мразович Аврам*. Руководство к славенстей грамматиче. Будим, 1811.
11. *Дмитриев Л. А.* История первого издания “Слова о полку Игореве”. М.; Л., 1960.
12. *Лопушанская С. П.* Элемент -ть (-ть) в формах прошедшего времени древнерусского глагола // *Восточные славяне. Языки. История. Культура*. К 85-летию академика В.И. Боровковского. М., 1985.
13. *Янакиева Ц.* Отражение форм имперфекта с вторичными личными окончаниями в памятниках письменности Древней Руси // *Die slawischen Sprachen*. 1989. Bd. 17.
14. РНБ. Софийское собр. № 202.
15. *Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования, древнерусский текст, словоуказатели* / Отв. ред. Т.Л. Миронова. М., 1997.
16. *Выголексинский сборник* / Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. В. Бахтурина, В. С. Гольшенко / Под ред. С. И. Коткова. Москва, 1977.
17. *Полное собрание русских летописей*. Изд. 2-е. М., 1998. Т. 2: *Ипатьевская летопись*.
18. *Дювернуа А.Л.* О критическом значении Архангельского евангелия, хранящегося в Московском Румянцевском музее // *Журнал Министерства народного просвещения*. 1878. № 10.
19. *Тимберлейк А.* Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // *Вопросы языкознания*. 1997. № 5.
20. *Горский А., Невоструев К.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1855. Т. 1.
21. *Timberlake A.* On the Imperfect Augment in “Slovo o polku Igoreve” // *Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования*. М., 1999.
22. *Селищев А. М.* Старославянский язык, ч. II. Тексты. Словарь. Очерки морфологии. М., 1952.
23. *Lunt H. H.* *Old Church Slavonic Grammar*. The Hague, 1959.
24. *Кульбакин С. М.* Грамматика церковнославянского языка по древнейшим памятникам. Пг., 1915
25. *Dobrowsky J.* *Altrussische Geschichte nach Nestor*. Berlin, 1812.
26. *Bida C.* Linguistic Aspects of the Controversy over the Authenticity of the Tale of Igor's Campaign // *Canadian Slavonic Papers*. 1956. Vol. 1.
27. *Жолобов О.Ф., Крысько В. Б.* Историческая грамматика древнерусского языка: Двойственное число. М., 2001.
28. *Востоков А. Х.* Грамматика церковнославянского языка, изложенная по древнейшим одного письменным памятникам / Составлена А. Х. Востоковым. СПб., 1863.
29. *Востоков А. Х.* Филологические наблюдения А. Х. Востокова / Изд. И. Срезневский. СПб., 1865.

30. *Крыжановский Г.* Рукописные евангелия киевских книгохранилищ: Исследование языка и сравнительная характеристика текста. Киев, 1889.
31. *Ягич И. В.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке. München, 1968. (Slavische Propyläen. Bd. 25).
32. *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. М., 1907.
33. *Иорданский А. М.* История двойственного числа в русском языке. Владимир, 1960.
34. *Жолобов О. Ф.* Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте. Казань, 1997.
35. *Изергин В.* Материалы для литературной истории древне-русских сборников, I–II. // Сборник ОРЯС. СПб., 1905. Т. 81. № 1.
36. *Страхов А.Б.* О М.Ф. Мурьянове и о “Слове о полку Игореве” // Palaeoslavica. 1996. Vol. 4.
37. *Булич С.К.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке, ч. 1. СПб., 1893.
38. *Пенинский И.* Грамматика славянская. 3-е изд., вновь исп. СПб., 1827.
39. *Перевелеский П.* Славянская грамматика с изборником. СПб., 1866.
40. *Hanka V.* Počátky posvátného jazyka slovanského. V Praze, 1876.
41. *Miklosich F.* Formenlehre der altslovenischen Sprache. Wien, 1850.
42. *Miklosich F.* Bergleichende Wortbildungslehre der Slavischen Sprache. Wien, 1876. (= Bergleichende Grammatik der Slavischen Sprache. Bd. 3).
43. *Chodzko A.* Grammaire paléoslave, suivie de textes paléoslaves, tirés, pour la plupart, des manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris et du Psautier de Bologne. Paris, 1869.
44. *Leskien A.* Handbuch der albulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache: Grammatik, Texte, Glossar. Weimar, 1871.
45. *Барсов Е.В.* Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси. М., 1887–1889. Т. 1–3.
46. *Грунский Н.К.* Лекции по древнецерковнославянскому языку. 2-е изд. Юрьев, 1914.
47. *Винокур Г. О.* К вопросу о языке “Слова о полку Игореве” // “Слово о полку Игореве”. Комплексные исследования. М., 1988.
48. *Обнорский С. П.* Очерки из истории русского литературного языка старшего периода. М.:Л., 1946.
49. *Лихачев Д. С.* История подготовки к печати текста “Слова о полку Игореве” в конце XVII в. // ТОДРЛ. 1957. Т. 13.
50. *Щепкина М. В.* К вопросу о правописании рукописи “Слова о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1957. Т. 13.
51. *Творогов О. В.* К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со “Словом о полку Игореве” // ТОДРЛ. 1976. Т. 31.
52. *Лихачев Д. С.* Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России // Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике. Доклады советских ученых на IV Международном съезде славистов. М., 1960.
53. *Talev I.* Some Problems of the Second South Slavic Influence in Russia, München, 1973. (= Slavistische Beiträge. Bd. 67).
54. *Сперанский М. Н.* Первое издание “Слова о полку Игореве” и бумаги А.Ф. Малиновского // Слово о полку Игореве. Снимок с первого издания 1800 г. гр. А.И. Мусина-Пушкина под ред. А.Ф. Малиновского. М., 1920.
55. *Щепкин В. Н.* Русская палеография. М., 1967.
56. РГБ. Собр. Троице-Сергиевой лавры.
57. РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 387. XVII в.
58. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.
59. Bayerische Staatsbibliothek. München. Codex Monacensis Slavicus 4.
60. РГБ. Волоколамское собр. № 437.
61. РНБ. Кирилло-Белозерское собр.
62. БАН. Собрание Н.В. Тимофеева. № 9.
63. *Гальченко М.Г.* Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. М.;СПб., 2001.
64. *Калайдович К.Ф.* Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании Российских Древностей гр. А.И. Мусина-Пушкина // Записки и труды Общества истории и древностей российских. М., 1824. Ч. 2. Отд. 2.
65. *Дубенский Д.* Слово о полку Игореве, Свѣтславля пѣстворца старого времени / Объясненное по древним письменным памятникам магистром Д. Дубенским. М., 1844.

66. *Глаголев А.* Умозрительные и опытные основания словесности. СПб., 1834. Т. IV.
67. *Палевой Н.* Любопытные замечания к “Слову о полку Игореве” // *Сын отечества*. 1839. Т. 8. Отд. 6.
68. *Materialien zur Geschichte der slavischen Philologie. 2. Briefe von Dobrovský an Jacob Grimm // Archiv für slavische Philologie. 1876. Bd. 1.*
69. *Сперанский М. Н.* Русские подделки рукописей в начале XIX века (Бардин и Сулакадзев) // *Проблемы источниковедения*. М., 1956. Т. 5.
70. *Калайдович К. Ф.* Записки важные и мелочные К.Ф.Калайдовича // *Летописи русской литературы и древности*, изд. Н.С. Тихонравовым. М., 1861. Т. 3. Отд. 2.
71. *Лавров П. А.* Ученая деятельность Иосифа Добровского // *Известия по русскому языку и словесности*. 1929. Т. II. Вып. 2.
72. *Korrespondence Josefa Dobrovského. Díl 1. Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského a Fortunata Duricha z let 1778–1800 / izd. A. Patera. Praha, 1895 (= Sbíрка pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina druhá. Číslo 2).*
73. ГИМ. Синодальное собр. № 108.
74. *Ягич И. В.* История славянской филологии. СПб., 1910.



© 2003 г. К. А. МАКСИМОВИЧ

## СЛУЖЕБНАЯ МАЙСКАЯ МИНЕЯ КАК ПАМЯТНИК ДРЕВНЕБОЛГАРСКОГО КНИЖНОГО ЯЗЫКА (К новейшему изданию Путятиной минеи XI века)

Активизация славистических исследований, происходящая в России в последние годы, начала приносить свои плоды. Особенно отрадно, что наши ученые все больше концентрируются не только на исследовании рукописей древних переводных памятников, но и на их издании.

К числу бесспорных научных удач последних лет можно, на наш взгляд, отнести и новейшее издание одной из древнейших славянских рукописей – новгородской служебной минеи XI в., получившей в науке по имени писца Путяты название “Путятинна”. Рукопись хранится в Российской Национальной Библиотеке (РНБ, Санкт-Петербург) под шифром Соф. 202 [1. № 21] и представляет собой апограф архаичной минеи “достудийского” типа [2. С. 105]<sup>1</sup>. Издание, положенное в основу настоящей работы, осуществлено Л.И. Щеголевой [3].

Путятину Минейю (далее ПМ) начал готовить к публикации М.Ф. Мурьянов. Еще в 1988 г. коллега М.Ф. Мурьянова по Институту мировой литературы РАН Л.И. Щеголева взяла на себя поиск греческих оригиналов к славянскому тексту и подготовку современного русского перевода. После безвременной кончины М.Ф. Мурьянова (1995) его вдова передала материалы издания и фотокопии рукописей главному редактору журнала *Palaeoslavica* (Массачусетс, США) А.Б. Страхову. В 1998–2000 гг. в журнале был опубликован полный текст ПМ [4]. Автором издания указан М.Ф. Мурьянов, хотя издатель признает в Предисловии, что труд покойного ученого попал в его руки в далеко не законченном виде. А.Б. Страхов закончил подготовку рукописи к печати – и хотя он не привлек к изданию греческий оригинал, как это сделала позднее Л.И. Щеголева, количество ошибок, допущенных в словоделении, оказалось на удивление небольшим, учитывая обширность и сложность текста ПМ<sup>2</sup>. Являясь наиболее полным на сегодняшний день изданием ПМ, работа Мурьянова/Страхова представляет собой совершенно необходимый инструмент для любых исследований языка и текста болгарской майской минеи. Тем не менее, технику пе-

---

Максимович Кирилл Александрович – кандидат филологических наук, докторант Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.

<sup>1</sup> Точнее было бы говорить, вероятно, о минее “достудийско-алексиевского” типа, т.е. до составления типикона патриарха Константинопольского Алексия Студита (1025–1043),

<sup>2</sup> Эти ошибки разобраны в книге Л.Щеголевой [3. С. 21–25].

ревода удобнее исследовать на материале издания Л.Щеголевой, в котором параллельно со славянским текстом опубликован и греческий оригинал памятника.

В основу издания положен текст ПМ с приведением текстологических вариантов по двум другим спискам майской служебной минеи “студийского” типа – ГИМ, Син. 166 (XII в.) [1. № 89] и РНБ, Соф. 203 (XII в.) [1. № 90]. Параллельно со славянским текстом помещен греческий оригинал майской минеи по рукописи РНБ, Греч. 227 (XII в.), ff. 69r–80v с вариантами по списку XIV в. РНБ, Греч. 552, ff. 89r–103v, греческой печатной Минее (Roma, 1899) и изданию греческих канонов *Analecta hymnica graeca*, vol. IX (Roma, 1973). Таким образом, издание Л.И. Щеголевой вполне соответствует современным эдиционным стандартам и предоставляет в распоряжение славистов важный памятник византийско-славянской гимнографии.

Наша работа посвящена рассмотрению славянской майской минеи как памятника книжности. Несмотря на хорошее качество рукописи ПМ, она все же содержит немало описок, затрудняющих понимание текста без обращения к оригиналу. Так, уже в первом тропаре канона на 1 мая (1.1 – здесь и далее для экономии места ссылки даются на индексы тропарей, без указания страниц) читаем о пророке Иеремии: сѣтъ вѣтъ ѡзѣкомъ // пророкъ помазанъ. В соответствии с греч. ἡγίασθησ ἰεροῦ καὶ τῶν ἐθνῶν προφήτης ἐχρίσθησ ‘ты был освящен и помазан как пророк народам’ в славянском ожидалось бы не пророкъ помазанъ, а свѣтъ вѣтъ... пророкъ и помазанъ (т.е., как в греческом, с обязательным употреблением союза и). Известно, однако, что фонема <ы> обозначалась в древнеболгарской кириллице не только диграфом ѣ, но изредка и диграфом ѣи. Соответственно, болгарский писец (а может быть и русский, Путята), введенный в заблуждение слитным написанием слов в протографе, написал сочетание ѣи более привычным для себя образом как ѣ. В результате из пророкъ и (в слитном написании пророкъи) получилось пророкъы. Таким образом, грамматическая некорректность получившейся фразы вполне удовлетворительно объясняется палеографическими особенностями древнеславянских текстов. Грамматически корректное чтение Син166 и Соф203 пророкъ помазанъ явно вторично, поскольку не содержит союза и. Аналогичные описки нередки в ПМ, ср.: домъ ... разоумны бѣдшынь вместо разоумнь и бѣдшынь (5.28), ѡзѣкъы вѣдзшыньхъ тѣлесъ вместо ѡзѣкъ и вѣдоумныхъ тѣлесъ (5.35). Другие случаи порчи текста в ПМ – вѣсѣхъ, <наставъ>ника (1.2), прѣвѣзлюбаква<нъ>, слоужьбамъ вместо слоужьба (2.20), страстн вместо страстни (3.8), вѣхъ вместо вѣсѣхъ (3.12), мѣнкы вместо мѣкы (3.16), несжм'но вместо несжм'нико (4.10, ср. 7.30), извѣчеса вместо извѣчеса (4.30), плеонастичное повторение тѣ (2.22) и др.

Славянский текст майской минеи, сохранный для нас новгородским писцом Путятой, чрезвычайно интересен в языковом отношении. Разумеется, при переписке не обошлось без внесения отдельных черт новгородского диалекта – они перечислены в работе [4 (2000). С. 125]. Незначительная русификация правописания (в том числе мена ѡ/ж) не помешала Путяте (и семи другим писцам) в целом аккуратно воспроизвести древнеболгарский текст, включая отдельные формы без *l-epenthetism*, отражающие болгарскую фонетику [5. С. 157] – ср. ѡтазвень (5.26), земѣ (9.15). При том, что в ПМ тщательно соблюдается стандартное правописание слов и форм с йотированными гласными, есть целый ряд отклонений от общего правила, ср.: сѣтѣ вместо сѣ(ѣ)т(и)тѣ (4.3), вѣсѣ вместо вѣсю (4.4, 9.5), ворѣци сѣ вместо ворѣци сѣ (5.9), к'назѣ вместо к'назю (8.13), зарѣ вместо зарю (9.5, 10.3), издрадѣнж вместо издрадѣноу (9.35), ѣра вместо ѣра (лл. 47v10; 64v15)<sup>3</sup>. Аналогичные написания имеются в таких архаичных по происхождению текстах как Реймское евангелие, Златоструй Бычкова, Чудовская псалтырь, Бычковско-Синайская псал-

<sup>3</sup> Ссылки на листы ПМ, отсутствующие в [3], даются по изданию [4].



тырь, Саввина книга [6. С. 66]. Формы **вьсж**, **к'назү** могут объясняться фонетическими причинами: отвердением рефлексов прогрессивной палатализации в ряде южнославянских говоров, легших в основу сербского языка (**вьсь** < **вьсь** < \***вхъ**), и отвердением палатализованных согласных в южнославянских говорах X–XI вв. [7. С. 128–131]. Нередкие написания типа **грьдынү** (л. 62г1), **на землү** (л. 64v1), **приемлү** (л. 59г4) и т.п. объясняются использованием **Ү** для обозначения [у] после смягченных согласных, ср. **зарү** (л. 43г12), но **озарата** (л. 50v17), **заратами** (л. 56v15) (в ином случае ожидалось бы **озарата**, **заратами**). Такое употребление **Ү** не является в ПМ правилом, ср. **прѣвтыспрнүмоу** (л. 66v1), но **любъвь** (л. 63г3) (распределение таких написаний по отдельным писцам не входит в задачу нашей работы).

Лексика и синтаксис памятника производят двойственное впечатление. С одной стороны, ПМ демонстрирует весьма древние языковые черты, восходящие к кирилло-мефодиевской традиции. Обращают на себя внимание такие архаичные феномены, как форма прич. буд. вр. **вѣшаштєк** 'будущее' (1.35), ср. [8. С. 277; 9. С. 174], употребление энклитических форм дат. п. личных местоимений **ти** (греч. σου) и **си** (греч. σου, αὐτοῦ) со значением притяжательности (1.5; 1.6; 1.7; 1.11; 2.24; 4.12; 6.2; 7.11; 8.25; 8.26; 9.30 и др.) или медиальности (**постави си** – 2.14), дательный примененный в соответствии с греческим генитивом – **мироу владѣчице** (2.12), **очи еретникомъ** (2.13), **источьникъ цѣльвамъ** (2.16), **огнь мѣнинь** (3.6), а также **исплнь свѣтоу бѣживъ** (4.3), **стѣмъ стѣвиши** (**стѣи**) (4.4) и др., ср. [10. С. 106]. В лексике встретилось древнее (вполне возможно, еще кирилловское) заимствование из греческого **омоуѣсна** 'единосущная' (о Св. Троице) (2.35, без греч.), ср. греч. ὁμοούσιος 'единосущный' (о природе Лиц св. Троицы)<sup>4</sup>. Греческий термин ὁμοούσιος передается в ПМ также словом **кдиносжштѣнь** (2.17; 2.33), которое вполне может представлять собой древний, еще кирилловский вариант к **омоуѣсни**, ср. его употребление в кирилловском "Написании о правой вере" [14. С. 112, 178]. Отмечен также адъектив **паракантвъ**, произведенный от кирилло-мефодиевского заимствования **паракантъ** 'утешитель' (эпитет Св. Духа) (1.22; 1.35), а кроме того характерный термин **сжштѣство** (1.28; 7.21), который в богословской терминологии Константина-Кирилла регулярно передает греч. οὐσία 'сущность' [14. С. 16, 34, 46, 50, 85, 92, 204, 248, 277, 295, 315]<sup>5</sup>. Другие древние (кирилловские или охридские) термины, встретившиеся в ПМ: **ἀναρχος** – **безначальнь** (1.8; 2.33; 4.22); **χάρις** – **блгдѣть** (4.23; 4.25); **ἀληθῶς** – **вѣистинж** (4.12; 5.14); **ὑπερφῶς** 'сверхъестественно' – **вьше кѣстѣства** (4.26; 7.14; 7.20)<sup>6</sup>; **животъ** (без греч., 2.33); **жрътва** (без греч., 2.23); **ζυγός** – **нго** (3.26); **μονογενής** – **иночадъ** (8.6, 8.10); **ἄτρεπτος** – **непрѣложнь** (8.2)<sup>7</sup>; **ἀδιάρητος** – **нераздѣльнь** (10.29)<sup>8</sup>; **ἀναλλοίωτος** – **неразмѣсьнь** (7.20); **πορφύρα** – **прапржда** (4.8; ср. 5.33 – **вагърианица**); **ὑπερούσιος** – **прѣсжщѣствнь** (1.8), **прѣсжштѣнь** (3.4)<sup>9</sup>, **прѣвтышнни**

<sup>4</sup> Примечательно, что слово **омоуѣсна** отсутствует в пражском Словаре старославянского языка [11], зато имеется в древнейшей (кирилловской?) версии Никейского символа веры, которая сохранилась в древнерусской Устюжской кормчей XII–XIV вв. [12. С. 492], ср. [13. С. 129].

<sup>5</sup> Богословский термин **сжштѣство** имеет искусственный характер, образован от прич. наст.вр. **сѣи** по продуктивной (отадъективной) модели при помощи суффикса **-ѣств-**, ср. **вольство**, **сквернавьство** и т.п.

<sup>6</sup> Ср. [14. С. 215]: **ὑπερφῶς** – **паче кѣстѣства чловѣча**.

<sup>7</sup> Ср. [14. С. 139, 212].

<sup>8</sup> Ср. [14. С. 59]: **ἀδιάρητος** – **нераздѣльно**.

<sup>9</sup> Термин **прѣсжштѣнь** имеется и в "Написании о правой вере", ср. [14. С. 36]; в Соф203 заменен на **прѣкѣстѣствнь**.

(8.11), **присносжштѣнь** (2.11, 2.33, 2.35) (без греч.)<sup>10</sup>; **аїдиос** ‘вечный’ – **сѣприсносжщѣнь** (10.6); **оупостасѣнь** (ἐνυπόστατος, 8.2 – по вар.); **фύσις** ‘природа, естество’ – **кѣстѣство** (3.8, 10.10), **сжщѣство** (10.4 – вар. **кѣстѣство**)<sup>11</sup>.

Наличие в тексте ПМ лексических заимствований также вполне можно поставить в связь с кирилловской традицией перевода, ср. **кѣєри** (αἰθήριος ‘находящийся в горних высях, эфире’, 7.30), **геоньскѣ** (γεέννης, 3.24, 8.28), **конобѣ** (λέβης, 3.18), **метарси** (μετάρσιος)<sup>12</sup>, **олакарфосѣ** (ὀλοκάρφωσις ‘всесождение’, 2.31), **омооусна** (см. выше), **параклитовѣ** (см. выше), **перьфѣра** (πορφύρα, 6.32 – ср. 4.8: **прапржда**), **оупостасѣ** (υπόστασις, 10.29), **оусна** (οὐσία ‘сущность’, 2.33). Последнее слово заслуживает особого внимания. В свое время Д. Иванова-Мирчева предложила отнести грецизм **оусна** к “охридским” лексемам, а его славянский дублет **сжштѣство** – к “преславским” [15. С. 44]. Такое разделение нам кажется несколько произвольным, поскольку **сжштѣство**, как мы видели, является типичным термином для кирилловского “Написания о правой вере”, а **оусна** там ни разу не встречается. С другой стороны, заимствование **оусна** очень хорошо соответствует современным представлениям о кирилловской технике перевода. Анализ соответствующего места ПМ помогает найти разгадку этого противоречия. А именно, в сочетании **оусна присносжщѣна** (2.33) замена **оусна** на **сжщѣство** дала бы тавтологичное **сжщѣство присносжщѣно**, что никак не соответствовало бы изысканной стилистике гимнографического жанра. Поэтому в данном месте кирилловское **оусна** по необходимости было заменено на кирилловское же **сжщѣство**. Так же поступил переводчик майской минеи и в 2.35, где находим **омооусниѣ** и **присносжщѣноу** (Троицу), поскольку вариант **єдиносжщѣноу** и **присносжщѣноу** невозможен по стилистическим соображениям<sup>13</sup>. Таковую же заботу о стиле проявляет переводчик в тропаре 3.1 (ср. превосходный комментарий Л.И. Щеголевой к данному месту на с. 292). Таким образом, лексическое варьирование, о котором так много писалось в связи с Кириллом и Мефодием, ярко проявилось и в переводе майской минеи.

В то же время перевод греч. ἐκφαντορικῆς καὶ θείας ἐλλάμψεως посредством слав. **отъ свѣта и в(о)жня сина<ниа>** (1.11) должен интерпретироваться как переводческая неудача, осложненная последующей опиской. Вероятно, переводчик принял греческую форму прилагательного ἐκφαντορικῆς за 2 слова (ἐκ φαντορικῆς) – отсюда появление в переводе предлога **отъ** (= ἐκ). В первоначальном тексте стояло, по-видимому, **отъ свѣтъла**.

В другом месте для греч. ἐνδιαίτημα ‘обиталище’ выбран ошибочный эквивалент **подовьно** (5.6) – здесь, скорее всего, при переводе греческий термин был принят за (гипотетическое) прилагательное \*ἐνδιάτιμος ‘славный, почетный’ (ср. в 8.3 корректный перевод греч. ἐνδιαίτημα как **поконштѣ**).

Еще один пример того, как переводчик майской минеи не справился с оригиналом – оставление без перевода греч. ἀνυπόστος ‘невыносимый’ (9.23). Вероятно, переводчик не распознал в этом термине супплетивное производное от ὑλοφέρω ‘терпеть, выносить’. Столь же бессилён оказался здесь и преславский справщик, ви-

<sup>10</sup> Термин **присносжштѣнь** образован не от причастия **сѣни**, как может показаться на первый взгляд, а от древнейшего богословского термина **сжштѣ** ‘сущность’. В Изборнике 1073 г. слово **сжштѣ** регулярно передает греч. οὐσία ‘сущность’. Ср. кирилловское **сжштѣнь** [14. С. 82], также произведенное от **сжштѣ**.

<sup>11</sup> Искусственный богословский термин **кѣстѣство** типичен для кирилловской традиции, ср. [14. С. 78, 134, 155, 166, 170, 172, 184, 206, 234, 235, 238, 259, 262, 271, 281, 282, 293, 300, 302, 307, 316].

<sup>12</sup> В других славянских списках заменено на **прѣвъсокѣ**, ср. [2. С. 16].

<sup>13</sup> Аналогичный случай лексического варьирования **свѣдѣтель/послоуѣхъ** во избежание тавтологии мы уже имели возможность анализировать в мефодиевском “Законе судном людем”, ср. [16. С. 35].

димо, вписавший в текст иноязычное вкрапление \***анипостонъ** (или подобное), из которого писец Соф203 сделал **непостомане** (с. 352)<sup>14</sup>.

В целом, несмотря на эти и другие ошибки, перевод майской минеи отличается очень хорошим качеством. По своей ясности в сочетании с точностью перевод близок к лучшим образцам древнеболгарской переводной литературы. Переводчик достаточно свободно обращается с оригиналом, часто опускает отдельные слова или заменяет их смысловыми эквивалентами (2.13; 2.16; 2.26; 2.28; 2.30; 2.32; 3.4; 3.5; 3.21; 3.26; 4.1 и др.). К сожалению, греческая рукописная традиция майской минеи изучена недостаточно, критических изданий нет, поэтому трудно судить о том, какой именно оригинал переводил славянский переводчик – соответственно, в издании Л.И. Щеголевой достаточно мест, к которым не удалось найти адекватный оригинал (1.23, 3.25; 7.12; 7.16; 8.1; 8.9; 9.36 и др.). Тем не менее, в тексте ПМ заметны следы кирилло-мефодиевской переводческой школы. Таков, например, перевод изысканного греческого оксюморона *πυρὲνδροσος* ‘огненно-росистый’ (о печи 7 эфесских отроков) при помощи слав. **хладдоогньнъ** (ирмос к 9 песни канона на 2 мая). В этом переводе обращает на себя внимание инверсия обеих основ композита: основа **хлад-**, стоящая в греческом на втором месте, в переводе оказалась на первом месте, и наоборот. Такая же инверсия характерна для кирилловских сложений, в отличие от более поздних преславских вариантов, калькирующих греческий оригинал [17. С. 52–53].

В технике перевода в соответствии с кирилло-мефодиевской традицией нередко используются *контекстно-семные эквиваленты* (по терминологии Е.М. Верещагина – “ментализация”), т.е. перевод по актуальным семам в случае отсутствия подходящего славянского эквивалента<sup>15</sup>. Так, греч. *Χριστὸν ἐν σταδίῳ ... ἀνακηρύξατε* ‘вы проповедали Христа на арене стадиона’ было совершенно корректно переведено как **Ха въ мо<у>кахъ проповѣдаста** (3.3), поскольку неизвестное у славян спортивное сооружение – стадион – использовалось в поздней Римской империи именно как место казни христиан во время гонений. В Соф203 вместо **въ мѹкахъ** стоит **на соудници** (с. 293) – не самая удачная замена, поскольку она неточно передает смысл оригинала. Замечателен контекстный перевод трудного греческого термина *ἀρχέκοκος* ‘родоначальник зла’ (о дьяволе) посредством слав. **старъин злодѣи** (6.7), а также перевод *περιουσία τῆς ἀρετῆς* ‘избыток добродетели’ как **дѣтель издрядна** (9.35).

В другом тропаре вычурное греч. *τῷ πῦρὶ τῶν βασάνων προσομίλεις καρτερῶς* ‘ты стойко беседовал с огнем мучений’ переведено как **огнь мѹннижъ трьпѣлъ кси крѣпко** (3.6). Поздняя правка в Син166 (огньмь мѹчѣнню приближиса крѣпко) и Соф203 (**въ огни мѹннижъ** страдѣно претърпѣ), очевидно, только ухудшила ясный и лаконичный первоначальный перевод.

Сложное выражение *αἴγλη τῆς ὑπερουσίου μονάδος* ‘сияние сверхсущностной монады’ переведено упрощенно как **прѣвъшышняга зарпа кдина** (8.11).

Интересный случай перевода содержит тропарь 6.30, в котором греч. *σωσον τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν* ‘спаси наших императоров’ переведено **спси к’назга нашего**. Здесь мы имеем дело, вероятно, с *адаптирующим переводом*<sup>16</sup> или с древнерусской интерполяцией. Замена “императора” “князем” вполне объяснима на славянской почве – более того, она показывает, что православные славяне (южные или восточные – из текста не ясно) не молились за здоровье византийских василевсов, а значит, не счита-

<sup>14</sup> Другие ошибки или неудачи перевода, образцово откомментированные издателем: 2.8; 3.34; 3.35; 5.10; 5.33; 6.7; 6.24; 7.5; 7.10; 8.7; 8.11; 8.12; 8.58; 9.11; 9.35; 10.4 (неучет тонких оттенков греческих богословских терминов); 10.10 (то же); 10.29 и др.

<sup>15</sup> О контекстно-семном переводе см. [16. С. 34].

<sup>16</sup> Об адаптирующем переводе см. [16. С. 32].

ли себя их вассалами. Ср. также: **врагы покорѣши подъ ногѣ вър'нжмж к'назѣ на- шемоу** (8.13, без греч.).

Итак, древнеболгарский текст майской минеи богат интересными переводческими решениями, близкими к кирилло-мефодиевской технике перевода, и весьма далек от буквализма. С другой стороны, в тексте ПМ немало и более поздних, после-мефодиевских (“преславских”) феноменов перевода. К ним мы относим буквалистские (а потому иногда затемняющие смысл) морфологические и синтаксические кальки с греческого, а также другие искусственные образования, нетипичные для кирилло-мефодиевской переводческой техники. Ср.: **μεγαλύνω** – **величиги** (5.32); **πράγματι** ‘в самом деле, в действительности’ – **вештнж** (1.21); **ὕλη** ‘основа, субстанция’ – **вещьство** (6.6); **τῆς γνώμης τὸ ἐλεύθερον** ‘независимость мысли’ – **воля свободьнок** (1.33); **ἀντανάκλασις** ‘ответ, отражение’ – **възгъвеник** (1.27; 1.35); **ἀντελαμβάνετο** ‘воспринимал’ – **въспрнимаше** (1.34); **καλλιπάρθενος** – **добродѣваа** (5.19; 5.29 – **приснодѣваа**); **παρθενεύω** – **дѣвьствовати** (4.10); **ζωοδότης** ‘податель жизни’ – **жизнодавьць** (1.28; 2.33), **живодавьць** (9.8; 10.9); **ἀλλόφυλος** ‘иноплеменник’ – **иноплѣменьникъ** (2.2); **ἀκρογωνιαίος** – **кранигъльнь** (9.6); **μνηνογράφην** (без греч., 2.35); **ἀλείρανδρος** – **ненскоусомжъна** (4.29)<sup>17</sup>; **ὑπερβαίνω** – **пачевъзиги** (5.10); **τρόφιμος** ‘питомец’ – **пицьникъ** (9.2); **τῶν προσφευγόντων σοι** – **привѣгавъщаа ти** (вместо **къ тебѣ**) (6.4); **προσβάλλω** ‘нападать; искушать’ – **прилагати, приложити** (5.8; 6.7); **ἀειπάρθενος** – **приснодѣваа** (5.20); **πρωτόπλαστος** – **пръвозданын** (8.16), **ὑπερφύως** ‘сверхъестественно’ – **прѣвъсьно** (1.4); **πρὸ τοῦ τεχθῆναι** ‘прежде рождения’ – **прѣжде родити сѧ** (1.33); **ἐπικαρπία** ‘плоды (трудов)’ – **распложденик** (8.32), **φωτοειδής** ‘световидный’ – **свѣтозрачьнь** (3.13); **ἱερόνικος** ‘священнопобедный’ – **свѣченоповѣднь** (3.2); **ἐκατοστεύω** ‘давать урожай сам-сто’ – **сторичьствовати** (4.27); **οὐσίβομαι** ‘восуществиться’ – **сжщьствоватисѧ** (3.4); **καρτερικός** ‘прочный, долговременный’ – **трыпѣньн** (6.1); **τρανώω** ‘разъяснить’ – **оуясновати** (в рукописи порча: **основати**, ср. с. 284) (1.37) и мн. др.

Интересные лексемы ПМ: **воговѣтти** (без греч., 8.49), **вела** ‘добрая воля’ (**βούλημα**, 3.27 – ср. **велѣтти**), **въсперати** (**πτερόομαι**, 3.17), **дѣваа** (**παρθένος**, 5.39), **дѣло** (**ἀρετή**, 8.10), **изганиати себе** (о спасительной миссии Христа) (**κενόω ἐμαυτόν**, 3.29), **искоусьнъ** в значении ‘относящийся к искушениям’ (**τῶν λειρασμῶν**, 3.17), **истоуканьнъ** (**βῆς**) (**πληγῶν**, 3.25), **мероп'скъ** (**μερόπων**, 8.65), **моуцикискъ** (**μουσικός**, 10.20), **наржчати** (**ἀγκαλίζομαι** ‘обнимать’, 9.28), **неначакънъ** ‘отчаявшийся’ (**ἀπεγνωσμένος**, 1.10), **нерасѣкаемъ** ‘нераздельный (о единстве св. Троицы)’ (**ἄτμητος**, 10.29), **низосънити** ‘низойти’ (**καταφοιτάω**, 10.3), **оземьствовати** ‘изгнать’ (**ἐξορίζω**, 10.19), **оцѣль** (**ἀδάμας** ‘адамант, особо прочный сплав’, 6.1)<sup>18</sup>, **повѣдатель** (**μύστης**, 9.10 – вар. Син166), **помазь** (**μύρον**, 1.7)<sup>19</sup>, **потворити** ‘уничтожить’ (**σκεδάω**, 2.21), **правило** (**ιστίον** ‘парус’, 3.17; **αὔρα** ‘дуновение’, 4.1), **прижити** ‘родить’ (**ἀλοκυέω**, 3.28), **прижитик** (**τόκος**, 10.22), **рачитель** ‘почитатель’ (**ἑραστής**, 2.23, 5.29), **селитвѣ** ‘жилица’ (**οἰκησις**, 3.23), **словословити** ‘славословить’ (**δοξολογέω**, 7.23), **страстньничьскын** (**τῆς ἀθλήσεως**, 4.28), **сълнчьнъ** ‘воипостасный’ (**ἐνυλόστατος**, 8.2), **съприсносжщьствънъ** ‘совечный’ (**συναίδιος**, 7.19), **съставѣ еретичьскыа** (без греч., 2.34), **сѣдильна** (**κάθισμα**, 7.33), **трижпостасьнъ** (**τριυλόστατος**, 2.39), **тъзъ** (**ἑλώνυμος**, 10.14), **тѣлеса** ‘идолы, кумиры’ (**ξόανα**, 5.35), **тѧкло** (**φερωνύμος**, 10.17), **оудвариатисѧ** ‘поселяться’ (без греч., 5.39; ср. **въдвариатисѧ** –

<sup>17</sup> Ср. в 4.10 **искоусомжъно** как эквивалент греч. **ἀλειρογάμος** и преславский вариант в Син166 **ненскоусоврачьно**; ср. также (исконный) перевод **ἀλειρόγαμος** как **неврачьна** в 6.8, 6.11 и 10.4.

<sup>18</sup> Не исключено, что это моравизм – ср. [4. С. 196]; ср. также [18. Т. 14. С. 90], где приводится также вариант ж.р. **оцѣль**.

<sup>19</sup> Ср. **помазанник** в [11 (III). С. 149].

συναλιζομαι, 8.62), **οπραζνιτι** (καταργέω, 10.30), **φилософъ** (φιλόσοφος, 6.33), **цасньство** (τρανώτατα, 9.37).

В ПМ встретилось также интересное слово **чюдесник** в соответствии с греч. τὸ θαῦμα ‘чудо’ (1.24), ср. аналогичные образования **вездьник** ‘бездна’ (ἄβυσσος, 8.1), **вездмъвник** (σιωλή, ἤσυχία, 8.3), **благочъствник** (εὐσέβεια, 2.29), **бѣсловесник** (θεολογία, 8.14), **нечъствник** (ἀσέβεια, 2.29), **разоумник** (τὰς ἐμφάσεις – 1.29, γνῶσις – 7.1).

Ценнейшую информацию об истории текста ПМ дают текстологические варианты, приводимые издателем по спискам Син166 и Соф203. Эти варианты однозначно свидетельствуют о том, что первоначальный перевод подвергался неоднократному редактированию с использованием греческого оригинала майской минеи. Примеры поздней (преславской) правки славянской минеи по греческому тексту в Син166: греч. μύρον ‘миро’ переведено в ПМ **помазь** (1.7) – в Син166 заимствование **мѣро**; слав. **дворы** (греч. σταθμοῦς) в ПМ 1.18 заменено в Син166 в результате этимологизирующей правки по греческому оригиналу на **ставица** (с. 276); греч. κυβερνάμενον в 1.22 в ПМ переведено как **стронмъ**, но Син166 дает буквалистский перевод: **направляемъ** (ср. с. 278); греч. τρανώς в 1.23 оставлено без перевода во всех рассмотренных списках, кроме Син166, где в данном стихе стоит слав. **цасно** (ср. с. 279); греч. σὺν ἄσώματοις ‘с бесплотными (силами)’ в 1.25 переведено **съ англы**, тогда как Син166 дает буквальный перевод **съ бесплътънъыми** (ср. с. 279) и др.

Иногда Син166 и ПМ демонстрируют одинаковые чтения, в то время как Соф203 обнаруживает признаки позднего редактирования: 3.3; 3.4; 3.9 и др., ср. [2. С. 47–48]. Специально о Соф203 см. [2. С. 91–101].

Иногда ПМ, Син166 и Соф203 демонстрируют совершенно разные чтения, что позволяет сделать вывод о разных подходах к редактированию, и, следовательно, о разных ветвях текстологической традиции, представленных тремя славянскими рукописями, ср. 3.1; 3.6; 3.8; 3.11; 3.12 (здесь при справе использованы разные версии греческого оригинала!); 3.13; 3.25; 5.31 (разные версии оригинала); 5.33 и др. Это обстоятельство весьма сильно увеличивает источниковедческую ценность использованных списков майской минеи, ср. [2. С. 48–52].

Особенно интересно в текстологии славянской майской минеи то, что список Соф203, несмотря на явные следы поздней справы, изредка дает чтения более древние, чем ПМ! Только так, на наш взгляд, можно интерпретировать перевод эпитета мучеников τῶν ἀγγέλων ἰσοστάσιοι ‘стоящие наравне с ангелами’ в Соф203 как **съ а-нγγлы прѣстоцаца** (3.9, ср. с. 294). Свобода и в то же время адекватность перевода указывает на его древность (исконность). Наоборот, чтение ПМ и Син166 **англьмъ равностателма** представляет собой невразумительную буквалистскую кальку позднего происхождения. Точно так же обстоит дело с переводом греч. ἐνυλόστατος ‘существующий в ипостаси, воипостасный’ посредством слав. **оупостаснь** в Син166 и Соф203 – в ПМ 8.2 (ср. с. 335) стоит вторичный преславизм **сълнчнь**<sup>20</sup>.

Подобные примеры приводят к выводу, что текст ПМ сам по себе не может служить базой для реконструкции древнейшего перевода майской минеи, поскольку ПМ носит следы спорадической правки по греческому оригиналу. Анализ первоначального перевода необходимо проводить с привлечением Син166 и Соф203, текст

<sup>20</sup> Слово **сълнчник** и его производное **сълнчнь** типичны для болгаро-преславского перевода новгородской октябрьской минеи 1096 г., ср: **Животъ во истъин, сълнчньин, съвъкоупниа телесы, чистаа, по сълнчию, паче нестьства слово породила неси** (καθ’ ὑλόστατον) [19 (октябрь). С. 47]. См. также слово **сълнчник** в пражском “Словаре старославянского языка” [11. Т. III. С. 283]: в цитатах из Апостола исконный перевод **тѣльствик** (ср. выше **тѣло**) содержит только Христинопольский апостол XII в., что полностью соответствует современным представлениям об особой древности его текста. В Словаре русского языка XI–XVII вв. [18. Т. 25. С. 89] на слово **сличие** из древнейших цитируются только преславские памятники.

которых подвергся более систематическому редактированию, однако сохранил отдельные древние чтения. Благодаря грамотному текстологическому обеспечению новое издание ПМ вполне удовлетворяет задачам предварительной реконструкции первоначального перевода. Кроме того, после обзорной работы Т. Славовой о преславской редакции древнеболгарских книг [20] публикацию ПМ (и особенно вариантов из Син166 и Соф203) можно считать важным вкладом в расширение наших знаний о деятельности преславских справщиков-переводчиков.

Вопрос позднейшей справки чрезвычайно важен для локализации (и датировки) перевода майской минеи. Уже И.В. Ягич относил ПМ к архаичному типу служебных миней и датировал ее текст X в. [19. С. LXVII–LXVIII]. Однако время перевода можно существенно уточнить на основании текстологических данных. Ведь если данный текст подвергся “преславской” справе, то он никак не мог быть переведен в Преславе. По этим соображениям, а также по данным языка перевода следует, по-видимому, отнести к концу IX в. – возможно даже до 893 г. (вступление на престол царя Симеона).

Очень интересную информацию для датировки перевода дает сам текст ПМ – так, небуквальный перевод греч. ἀπρόσιτος ὄρασιότης ‘неприступная красота’ как **непрнкосновенѣи свѣтъъ** (7.6) прямо отсылает к тексту Апостола (1 Тим. 6.16), где говорится именно о “неприступном свете” (τὸ ἀπρόσιτον φῶς). Сочетание **непрнкосновенѣи свѣтъъ** встретилось также в Синайском евхологии [21. С. 372] как явная аллюзия на Апостол. Между тем, в древнейшем из сохранившихся апостолов – Христинопольском XII в. – в этом месте стоит другое сочетание: **непристѣпльнѣ свѣтъъ** [22. С. 246]. Своеобразная передача в ПМ греч. ἀπρόσιτος ὄρασιότης как **непрнкосновенѣи свѣтъъ** может (вслед за Синайским евхологием) восходить к древнейшему (ныне утраченному) переводу Апостола – если это так, то допустимо датировать перевод майской минеи временем относительно более поздним, чем перевод Апостола, но более ранним, чем его преславская справа. В этой связи можно также указать на буквальные цитаты из кирилловского перевода Евангелия в каноне св. апостола и евангелисту Иоанну: **искони бѣ слово** (8.2, 8.67), и **пльть слово бѣъ** (8.49, 8.55).

Наконец, рассмотренные выше редкие безйотовые написания гласных после отвердевших палатальных согласных (особенно такие, как **св(ѣ)т(и)ѣла**, **издраднѣж**, **ѣра**) могут указывать на западноболгарский диалектный ареал как на место славянского перевода майской минеи. И если на основе дошедших рукописей действительно реконструируется архаический тип безйотовой глаголицы<sup>21</sup>, то ничто не мешает предполагать для первоначального перевода майской минеи глаголический архетип.

Разумеется, в рамках небольшой обзорной статьи невозможно решать сложные вопросы датировки перевода майской минеи. Но можно, по крайней мере, наметить пути его решения, а также перспективы дальнейшего изучения ПМ. Главной задачей нам видится более подробное и всестороннее изучение языка памятника на широком сравнительном фоне с целью включения славянского перевода майской минеи в древнеболгарскую литературную традицию.

Из предварительного анализа текста ПМ следует, что славянская майская минея отличается высоким качеством и характерной свободой перевода, роднящими этот памятник с лучшими переводами кирилло-мефодиевской школы. Вместе с тем ряд “послемефодиевских” языковых признаков препятствует отнесению этого текста непосредственно к переводческой деятельности славянских первоучителей. Наиболее вероятным местом перевода следует считать западноболгарский Охрид. На основании косвенных данных время перевода можно примерно определить как конец 80–начало 90-х годов IX в. Поскольку первоначальный перевод майской минеи впоследствии подвергался редактированию, то сохранившийся текст вполне может рассматриваться как продукт первых десятилетий X в. Насколько можно судить по ва-

<sup>21</sup> Ср. [6. С. 65–66; 23. С. 78, 81, 83, 91 и сл.].

риантам из Син166 и Соф203, первичный (охридский) перевод майской минеи подвергался неоднократному исправлению с привлечением различных версий греческого оригинала. Столь активная деятельность справщиков свидетельствует о том, что майская минея широко использовалась при богослужении в период Первого Болгарского царства.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв. М., 1984.
2. *Нечунаева Н.* Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. Tallinn, 2000.
3. *Шеголева Л.* Путятина Минея (XI в.) в круге текстов и истолкования. 1–10 мая. М., 2001.
4. *Мурьянов М.Ф.* Путятина минея на май // *Palaeoslavica*, vol. VI (1998) 114–208; vol. VII (1999) 136–217; vol. VIII (2000) 123–221.
5. *Младенов Ст.* История на българския език. София, 1979.
6. *Кривко Р.Н.* Древнерусская орфография XI–начала XII века в свете суперсегментных тембровых оппозиций // *Вопросы языкознания*. 1998. № 2.
7. *Ван-Вейк Н.* История старославянского языка. М., 1957.
8. *Вайан А.* Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
9. *Селищев А.М.* Старославянский язык. Ч. II. М., 1952.
10. *Минчева А.* Разночтенията в триодните песнопения на Константин Преславски // Хиляда и осемдесет години от смъртта на св. Наум Охридски. София, 1993.
11. *Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae*. Sv. I–IV (ses. 1–52). Praha, 1958(1960)–1997.
12. *Maksimovič K.* Aufbau und Quellen des altrussischen Ustjurer Nomokanon // *Fontes Minores*. Bd. 10. Frankfurt am Main, 1998, S. 477–508 [= *Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, hrsg. von Dieter Simon, Bd. 22].
13. *Верещагин Е.М.* История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
14. Кириллово “Написание о правой вере” // *Верещагин Е.М.* Церковнославянская книжность на Руси. М., 2001.
15. *Иванова-Мирчева Д.* К вопросу о характеристике болгарских переводческих школ от IX–X до XIV в. // *Palaeobulgarica*. 1977. № 1.
16. *Максимович К.А.* Древнейший памятник славянского права “Закон судный людем”: композиция, переводческая техника, проблема авторства // *Византийский Временник*. Т. 61(86). М., 2002.
17. *Vofš Chr.* Die altbulgarische Übersetzungstechnik in der frühen Symeonischen Epoche. Zu vier (angeblichen) Patristikübersetzungen Konstantins von Preslav // *Palaeobulgarica* XXV (2001), 4, 49–63.
18. *Словарь русского языка XI–XVII вв.* Т. 1–. М., 1975–.
19. *Ягич И.В.* Службные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 гг. СПб., 1886.
20. *Славова Т.* Преславската редакция на старобългарските богослужбни книги // *Изследвания по кирило-методиевистика*. София, 1985.
21. *Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.)* / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.
22. *Kałużniacki Aem.* Actus epistolaeque Apostolorum palaeoslovenice. Ad fidem codicis Christinopolitani saeculo XII-o scripti. Vindobonae, 1896.
23. *Миронова Т.Л.* Хронология старославянских и древнерусских рукописных книг X–XI вв. М., 2001.



## ИЗ СЛОВАРЯ “СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ”<sup>1</sup>

Публикуемые материалы представляют собой предварительные версии статей к 4-му тому этнолингвистического словаря “Славянские древности”, издающегося под общей редакцией акад. Н.И. Толстого (Т. 1. А-Г. М., 1995; Т. 2. Д – Крошки. М., 1999; Т. 3. Круг – Перепелка. В печати). Они подобраны, как и в предыдущих публикациях, по тематическому принципу и посвящены персонажам, занимающим в народной антропологии маргинальное (Сирота, “чужие”) или лиминальное (Подменыш, Самоубийца) положение и получающим мифологическую трактовку как существа, причастные к потустороннему миру. Однако степень этой причастности у них различна. Менее всего она характерна для сироты – в восприятии этого персонажа на первый план выступает его социальная ущербность и обусловленная ею ограниченность ритуальных функций. Однако и для сироты связь с миром предков и покровительство высших сил оказывается существенными признаками; в этом отношении сирота близок нищему (см. публикацию 2001, № 6). В характеристике “чужих” (иноверцев, инородцев, странников и т.п.) преобладает оценочный компонент, накладывающийся на общее представление о “чужом” как опасном иномирном существе, который нередко наделяется демоническими свойствами. Наконец, в полной мере нечеловеческая, мифологическая природа приписывается так называемому подменышу (детенышу, подброшенному нечистой силой взамен украденного ею ребенка) и самоубийце, причисляемому к одному из самых опасных классов демонов, досаждающих живым родственникам и навлекающих на людей кару высших сил в виде стихийных бедствий (града, засухи, землетрясения и т.п.), мора, болезней.

Общая статья “Свой – чужой” суммирует традиционные народные представления о категории “чужого”, лежащие в основе мифологической трактовки и оценки всех маргинальных и лиминальных персонажей независимо от степени их “иномирности”.

**СВОЙ–ЧУЖОЙ** – одна из основных семантических оппозиций в народной культуре; соотносится с такими признаками, как “хороший–плохой”, “праведный–греховный”, “чистый–нечистый”, “живой–мертвый”, “человеческий–нечеловеческий (звериный, демонический)”, “внутренний–внешний”.

С последним признаком связаны представления о “своем” и “чужом” пространстве, которое мыслится как совокупность концентрических кругов, при этом в самом центре находится человек и его ближайшее родственное окружение (например: человек–дом–двор–село–поле–лес). Степень “чужести” возрастает по мере удаления от центра, “свое” (культурное) пространство через ряд границ (околица, река, гора и т.п.) переходит в “чужое” (природное), которое в свою очередь граничит или отождествляется с потусторонним миром. В фольклорной картине мира “свое” (освоенное, достигаемое) и “чужое” (другие страны, “тот свет”) могут соотноситься по вер-

<sup>1</sup> Продолжение. Начало см.: 1993. № 6; 1994. № 2, 5; 1995. № 3; 1996. № 5; 1997. № 4, 6; 1998. № 6; 1999. № 6; 2001. № 2, 6; 2002. № 6.

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного РГНФ (02-04-00067).



тикали: ср. представления о пути в “иной” мир через восхождение на высокую гору или дерево или через нисхождение под землю.

В народной картине мира универсальная оппозиция признаков “свой–чужой” пронизывает все уровни – от космологических представлений (“свое” и “чужое” пространство, человеческие существа и демонические персонажи) до бытовой прагматики (различия в языке, традиционной обрядности и укладе жизни).

Оппозиция “свой–чужой” в приложении к социуму осмысливается через разноуровневые связи человека: кровнородственные и семейные (свой/чужой род, семья), этнические (свой/чужой народ, нация), языковые (родной/чужой язык, диалект), профессиональные (своя/чужая вера), социальные (свое/чужое сообщество, сословие) [1; 2. С. 25–32; 3. С. 310–320].

Оценка “чужих” как враждебных и опасных существ восходит к архаическим верованиям в то, что все пришедшие извне и не принадлежащие ближайшему сообществу люди являются представителями “иного” мира и обладают сверхъестественными свойствами ([4. С. 53–62], ср. наделение инородцев и/или иноверцев зооморфными чертами и устойчивое соотнесение их с областью магии и ведовства [5. С. 86–99; 6. С. 9–10]).

К “чужим” заведомо относятся не-люди (демонические существа, предки, животные), люди “извне” (инородцы, люди иного социального происхождения и положения, странники). Отличительными признаками “чужого” являются его внешность, одежда, запах, бытовое, обрядовое и речевое поведение.

Признаки “чужести” могли приобретать и члены “своего” коллектива (семьи, общины). “Чужими среди своих” становились люди, обладающие эзотерическими знаниями или умениями (знахарь, мельник, кузнец и др.), меняющие социовозрастное (молодожены) или социальное (рекруты) положение или исполняющие определенные ритуальные роли (ряженные) [7. С. 110–121; 8. С. 80–83]. Причислению человека к категории “чужих” могли способствовать физические недостатки (слепота, немота, глухота) или окказиональные факторы (период после родов или месячные у женщин). Для людей, временно пребывающих в статусе “чужих”, предусматривались особые способы возвращения их в область “своего”: таковы очистительные ритуалы для ряженных, молодоженов, роженицы.

Появление “чужих” этносов и профессиональных сословий связывается с нарушением этических норм в далеком прошлом (согласно болгарским легендам, турки произошли в результате инцеста матери и сына или от связи человека и животного (женщины и собаки, овчара и змеи); влахи – это потомки изгнанных из человеческого общества разбойников) или с контактами людей и нечистой силы (по легенде из Галиции, цыгане – потомки женщины и черта; по гуцульским поверьям от женщины и черта произошли “волохи”-пастухи). С позиции этноцентризма положительно оценивается только свой этнос: именно он обладает “правильным” укладом жизни, “человеческим” языком и праведной верой. Характерной особенностью восприятия “чужих” конфессий является отношение к ним как к безверию (“чужой” Бог не может быть истинным Богом) или как к поклонению дьявольским силам.

Принадлежностью к сфере “чужого” определяется в народной традиции статус гостя, нищего (странника), священника, колдуна, что проявляется в особом “ритуализованном” отношении к ним.

“Чужим” принадлежит значимая роль в календарных обрядах, связанных с символикой “первого дня”, и в “обрядовых переходах”. Так, у всех славян счастливой приметой считался приход “полазника”-инородца на Рождество, Новый год [9. С. 220–221]. Своеобразный вариант “полазника”, приуроченного к родинам, был зафиксирован в белорусском Полесье. Если первым гостем, пришедшим навестить ребенка, оказывался еврей, это сулило счастливую судьбу новорожденному: “Кались казали, як ўродица дитя, а евреј пріде, то шаслівэ будэ” (с. Ровбицк Пружанского р-на Брестской обл., 1990, зап. С.П. Бушкевич). Особо были отмечены “чужие” в ритуалах, призванных обеспечить богатство и благополучие на целый год (ср. святочные и

масленичные маски ряженных “цыган”, “евреев”, “турок” и др. и связанную с ними символику плодородия).

В магических обрядах вызывания дождя использовались предметы, украденные у “чужих” (похищали горшок у гончара, соседа, иноверца); одним из распространенных приемов “магии против смерти” было приглашение в семью, где часто умирали дети, инородца или иноверца в качестве кума для ребенка. В кризисных ситуациях (тяжелая болезнь, пьянство, женское бесплодие, отсутствие молока у кормящей женщины) обращались за помощью к “чужим” священникам: раввину (укр., бел., пол.), православному попу (словен.). В то же время предметы, принадлежащие “чужим”, их культовые места и даты “чужих” праздников считались опасными [2. С. 30–31; 10. С. 213–215; 11. С. 62–65].

Таким образом, признак “чужой” в народной культуре обладает амбивалентной символикой. Это маркированный элемент, значимый в рамках системы ценностей, которую носитель каждой конкретной локальной традиции воспринимает как “свою”. Через процесс дистанцирования себя от “чужих” каждая этнокультурная группа пытается осмыслить (в привычных для нее категориях и терминах) свою непохожесть и свое отличие от соседних народов и социальных групп, утверждая при этом свой идентитет.

© 2003 г. *О.В. БЕЛОВА*, канд. филол. наук

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Bystron J.St. Megalomania narodowa. Warszawa, 1935.*
2. *Белова О.В. Этноконфессиональные стереотипы в славянских народных представлениях // Славяноведение. 1997. № 1.*
3. *Белова О.В., Виноградова Л.Н. Фольклорные этнологические легенды о поляках и их восточнославянских соседях // Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. М., 2002.*
4. *Виноградова Л.Н. Как распознать чужого среди своих? // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Oakland, 1997. Вып. 1.*
5. *Белова О. Образ еврея в народной демонологии славян // Еврейская культура и культурные контакты. Материалы Шестой ежегодной междисциплинарной конференции по иудаике. М., 1999.*
6. *Белова О.В. “Чужие” в Полесье // Живая старина. 2000. № 3.*
7. *Лотман Ю.М., Успенский Б.А. “Изгой” и “изгойничество” как социально-политическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода // Труды по знаковым системам. Тарту, 1982. Вып. 15.*
8. *Агапкина Т.А. Чужой среди своих // Миф и культура. Человек–не-человек. Тезисы докладов. М., 1994.*
9. *Богатырев П.Г. Магические действия, обряды и верования Закарпатья // Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.*
10. *Белова О., Петрухин В. Демонологические сюжеты в кросскультурном пространстве // Между двумя мирами: представления о демоническом и потустороннем в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2002.*
11. *Белова О.В. Опыт комплексного исследования в регионе этнокультурных контактов // Актуальные проблемы полевой фольклористики. М., 2003. Вып. 2.*

СИРОТА – наряду с нищим и вдовой лицо социально и ритуально маргинальное, имеющее статус посредника между людьми и Богом; участник календарных обрядов, направленных на повышение плодородия.

Тяжкая участь и незащитность С., лишенного опекунов и защитников, отмечается в пословицах (например: “Житье сиротам – что гороху при дороге, кто мимо идет, тот и урвет”; “В сиротстве жить – день деньской слезы лить”, рус.), в похоронных плачах, свадебных причитаниях невесты-С., а также в ряде календарных песен,

сюжет которых, как правило, связан со смертью С. Ср., например, полес. купальскую песню, в которой девочка-С. тонет (Челхов), тип полес. песен *сирітка, слепецька, постова́*, в одной из которых С., унесенный волками, просит сокола омыть перо в его крови и отнести отцу и мачехе в качестве известия о его смерти (Речица, гомел., ПА).

Как и нищий, С. считался обделенным, лишенным доли, а поэтому не мог участвовать в некоторых семейных обрядах, чтобы не распространить свою обездоленность на окружающих и на саму обрядовую ситуацию. С. не допускается к участию в свадебном обряде. Например, у болгар в обряде бритья жениха, предворяющем свадебную церемонию, в роли брадоброя не мог выступать С. У сербов муку для свадебного каравая должна просеивать девушка, у которой живы оба родителя; следили, чтобы мальчик, участвующий в некоторых этапах свадьбы, не был С. В Болгарии С. не могла присутствовать в послеродовом обряде, в котором на третий день после родов чествуют духов судьбы орисниц. С. не принимал участие и в некоторых календарных обрядах, исполняемых ради плодородия и правильного течения жизни. В Болгарии в день св. Германа, празднуемого для предотвращения града, куклу, изображавшую Германа, изготавливали в том доме, где живы оба родителя. В Сербии запрячалось С. разжигать первый огонь в новом доме.

Свадебный обряд с участием невесты-С. отличался от обычной свадьбы: невеста, у которой умерли оба родителя, заплетала в косы черные ленты, а если один родитель – черную и красную (полес.); при возвращении от венца С. пелись специальные песни: “Ой поглянь, поглянь, / Чужа нэ рўдна, / Як сиротэнька пла́чэ, / А сиротэнька пла́чэ, / Сільно рыда́е, / Шо порядку нэ ма́е” (Олбин, козелец, чернигов., ПА). Заключая брак, жених-С. обычно “шел в приемыши”, т.е. поселялся в доме у тестя и занимал зависимое положение.

С., не имея опеки среди людей, получал ее от Бога, забравшего у него родителей, но за это предоставившего С. свое особое покровительство (ср. рус. пословицы: “За сирого и вдового сам Бог на страже стоит”, “Дал Господь сиротинке роток – даст и хлеба кусок”, “За сиротою сам Бог с калитою”). Имея покровительство в сакральном мире, С. мог обращаться туда за помощью. В частности, невеста-С. перед венчанием приходит на могилу своих умерших родителей, чтобы попросить у них благословения и опеки. С., как и нищий, имел статус посредника между миром людей и “иным” миром. Слово С., как и слово нищего, быстрее доходит до Бога. Поэтому помощь, оказываемая С., считалась богоугодным делом и уравнивалась в глазах общества с помощью вдове, подаванием нищему, деньгами, отдаваемыми на церковь, и осмыслялась как Божья доля, которая должна была обеспечить дающему после смерти прощение грехов и достойное существование в загробном мире, а при жизни – удачу в делах. Например, при засеве земледелец просил Бога уродить хлеба “на всякую долю, на нищую долю, на сиротскую долю...”. Защитником С., вдов, нищих и убогих считался св. Николай, которому С. молились о заступничестве (полес.).

Связь с миром предков в ряде случаев повышала ритуальный статус С. и определяла его участие в обрядах. В Болгарии в день св. Лазаря во время ритуального обхода девушками-лазарками, просят девочку-С. покружиться с куклой Лазаря, чтобы велись пчелы, ягнята и телята. В сербском и болгарском обрядах вызывания дождя девочку-С., называемую пеперудой или додолой, украшают зелеными ветками и водят по селу.

Предвестием сиротства в сновидениях считался сон о роящихся пчелах. В Полесье о дожде, идущем при солнце, говорили, что это “сироты плачут” (Олтуш, ПА).

© 2003 г. Е. Е. ЛЕВКИЕВСКАЯ, канд. филол. наук

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Трофимов А.А. Убогий сирота // Живая старина. 1999. № 1.

**ПОДМЕНИШ**, о б м е н ы ш – персонаж славянской мифологии, ребенок нечистой силы, подброшенный людям взамен похищенного новорожденного. Поверья о подменше наиболее характерны для западнославянской демонологии; известны также у восточных славян (прежде всего на Русском Севере, в селах литовско-белорусского пограничья и в западноукраинском регионе); в южнославянской традиции подобные верования распространены в северно-западных областях (Банат, Славония, Словения, Хорватия). За пределами славянской зоны аналогичные поверья активно представлены в германской, романской, литовской, угро-финской и в других европейских мифологиях.

В славянских народных названиях этого мифологического персонажа устойчиво сохраняется значение “подмены одного ребенка на другого” или “подкинутого чужого младенца”. Ср.: пол. *odmieniec, odmianek, zamion, podrzuc, podcier*; словац. *preteň, preteňša, odmeň*; рус. *обмен, обменыш, обменёнок, обменёныш*; з.-укр. *підміна, відміна, подмінок, обміна, одмінок*; серб. *подметак, подмече*; хорв. *podmeće, podvršće*; словен. *podmenek*. В редких случаях терминология, относящаяся к этому персонажу, отражает представления об умственной отсталости или неповоротливости подменша (ср. пол. *bobak, głuptak*) либо, наоборот, о его сверхзнании (ср. славон. *mali veštac* ‘маленький вещун’).

Среди демонов, подменяющих детей, у славян чаще всего упоминаются: рус. *банник, обдериха, леший, домовик, гуменник, овинник, черт, колдун, обмениха, русалка, ведьма*; зап.-белор. *ведьма, лайма, русаука, мара, стрыга, чорт*; зап.-укр. *лісова відьма, повітруля, богіня, стриґа*; чеш., лужиц. “лесная старуха”, “полудница”, “белая баба”; словац. “стрига”, “богиня”; пол. “богинка”, “мамуна”, “дивожона”, “мара”, “краснолюдки”, “дьяволицы”; серб. “вила”, “вештица”; хорв. “цоприница”; словен. “шкопняк” и др. мифологические персонажи. В украинско-карпатских (бойковских) говорах слово *відміна* может обозначать (кроме “подменша”) мифическое существо, подменивающее детей. Ср. “Як при малі дитині по ночах не сьвітитьсьи (т.е. не горит свеча), то прийде відміна, підкине свою дитину, а ту забере” [1. С. 54].

Обстоятельства подмены детей. Считалось, что нечистая сила (преимущественно женские мифологические персонажи) стремится заполучить младенца сразу после его рождения либо в период до крещения новорожденного (реже - в первый год жизни, в 5–7-летнем возрасте). По южнославянским поверьям, чаще всего подмена детей случалась у тех матерей, которые не соблюдали запретов, предписанных беременным женщинам или роженицам в период первых сорока дней после родов; этой же опасности подвергались младенцы таких женщин, чьи мужья в раздражении проклинали своих беременных жен (словен.). На Русском Севере повсеместно верили, что причиной подмены ребенка служит родительское проклятье, когда мать в сердцах пошлет плачущего или непослушного ребенка к черту, к лешему и т.п. В польских поверьях потребность демонов в похищении младенцев объяснялась их обычной вредоносностью и стремлением заполучить душу человека, пока он мал и беззащитен. Подмена детей, по народным представлениям, происходила, если домочадцы оставляли новорожденного без присмотра (в доме, бане, в поле во время жатвы и т.п.). Чтобы факт похищения не был сразу замечен людьми, мифологические персонажи оставляли взамен своего (демонического) ребенка. Согласно русским верованиям, черти уносят некрещеных младенцев, если их перед сном мать не перекрестит; если при чихании новорожденного никто не пожелает ему здоровья. Особую бдительность следовало проявлять в банях, где обычно роженицы проводили первые дни после родов. «Если эти меры предосторожности не будут приняты, то мать и не заметит, как за крышей зашумит сильный ветер, спустится нечистая сила и обменяет ребенка, положив под бок роженицы своего “лешачонка” или “обменыша”» [2. С. 17].

В польских быличках широко распространен сюжет о том, как пришедшая на жатву мать положила грудного младенца на меже, работая совместно с односельча-

нами в поле; тем временем из ближайшего леса вышла “мамуна”, подкралась к новорожденному, схватила его, а на его место положила своего ребенка. Как только она стала удаляться, подменьш начал так громко орать, что факт замены ребенка стал для всех очевидным. Несчастливая мать пыталась было как-то успокоить подкидыша, но “знающий человек” запретил ей приближаться к нему и посоветовал всем продолжать жатву. Затаившаяся в лесу “мамуна” долго ждала, чтобы люди приняли ее надрывно кричащее дитя, однако, заметив, что никто к нему не подходит, не выдержала, вернулась за ним и отдала людям их новорожденного [3. С. 206–207]. Подмена ребенка могла происходить и в пространстве дома. По суеверным рассказам, записанным в Курпевской Пуще (Польша), роженица, несмотря на предостережение свекрови, открыла в летнее время окно, а затем вышла на мгновение в кладовку. Непривычно громкий крик младенца заставил ее срочно вернуться в комнату, где она успела увидеть, как неясного облика женщина в рваной одежде пытается схватить ее ребенка и подложить обменяша. Благодаря активному противодействию матери похитительница обратилась в бегство, и ребенок женщины остался невредимым [4. С. 138].

Если сам факт подмены происходил незаметно для людей, то распознать подменюша можно было по следующим признакам внешнего вида и особенностям поведения. Во всех славянских традициях подменюшу приписывались телесные и умственные аномалии. Он отличался уродливым телосложением: у него была непомерно большая голова и вздутый живот при тонких, слабых руках и ногах; оттопыренные уши; заросшее волосами тело; отмечалось преждевременное появление зубов либо двойной ряд зубов у годовалого ребенка; подменьш плохо рос, долгое время не умел ни ходить, ни говорить; не обнаруживал признаков разума, беспрестанно плакал, был капризным; мало ел либо, наоборот, был необычно прожорливым и ненасытным. По отдельным локальным поверьям, у подменюша тело “без костей” (серб.); старческое, сморщенное лицо (пол., хорват.); кожа темного цвета (пол., серб.); голова вытянута вперед, как у рыбы (с.-рус.); на пальцах рук когти вместо ногтей (в.-пол.); подрастая, подмененный ребенок становится хмурым, молчаливым и неприветливым (пол.); отличается острым взглядом и колдовскими способностями (*je халовито* - серб.); обладает необычной физической силой, бывает силен, “как конь” (с.-рус.). По гуцульским верованиям, “обміняника мож по тім пізнати, що він не говорить кілька років, довго не ходить, цілком дурний, німий або сліпий” [5. С.13].

Считалось, что подмененный ребенок (рус. *лешее детище*, *чертово отродье*) долго не живет, умирает после исполнения семи, девяти или пятнадцати лет, либо он убегает в лес, исчезает неизвестно куда. По единичным поверьям, если подменьш все же вырастает, то становится весьма удачливым, предприимчивым и дельным человеком, способным обогатить своих родственников (пол., с.-рус.).

Одним из признаков подмены считалось необъяснимое исчезновение пищи, приготовленной хозяйкой дома. Повсеместно в Западной Украине распространены поверья о духах, которые проникают в хаты, где оставлен без присмотра новорожденный, “крадут дитину, а лишают у колісці свою, демонську, дуже крикливу та пожарливу” [1. С. 55]. Ребенок-*відміна* ничего не ест в присутствии домашних, но, оставшись дома без присмотра, вылезает из колыбели, добирается до печи и выедает всю еду, какую там находит, а затем вновь возвращается на свое место [6. С. 210]. В южнорусских быличках повествуется, как спрятавшийся в доме старик наблюдал за грудным младенцем, как тот выходит из зыбки, съедает всю заготовленную хозяйкой еду и возвращается в колыбель; местного знахаря объяснил домочадцам, что они растят подменюша и велел утопить его в реке. Когда долго сомневающаяся хозяйка наконец решила бросить ребенка в Терек со словами: “Иди, откуда пришел!”, тот не утонул, а поплыл по течению и крикнул: “А, догадалась! А то было бы тебе!” [7. С. 446]. Про ненасытного ребенка в Вятской губ говорили: “этот обменок топерече, не могут (родители) ничем ни накормить, ни напоить” [8. С. 363]. По сви-

детельству жителей с. Тростянка Подольской губ., у них в селе был случай, когда в одной семье *богиня* подменила ребенка: “взяла хрестьянского, а на тоє місце лишила свое, который мало образ такой: руки і ноги – тонкі, черево – велике, голова така, як макогін, і вуха – мало не на шиї. І було воно восьми літ, але не ходило, ні говорило, а їсти – іно що попало. А як підуть (домочадцы) на жнива, а его лишат в хаті, то хоць оно і не ходит, але з горшків повиїдає все, що тільки знайде...” [9. С. 40].

Чтобы избавиться от подменыша и вернуть себе своего младенца, люди предпринимали особые магические действия. Например, рекомендовалось бить подкидыша розгами в особых ритуально значимых локусах (дома возле горячей печи, на пороге, во дворе на мусорной или навозной куче, на мосту, на перекрестке дорог, в поле на меже и т.п.) до тех пор, пока демон-виновник подмены не заберет его и не вернет людям их ребенка. По польским поверьям, бить “обменца” должна была либо сама роженица, у которой похитили новорожденного, либо приглашенный специально для этой цели пастух, либо сын девушки, родившей вне брака [10. С. 270]. В одном из русских (сибирских) рассказов, после того, как в доме стала регулярно исчезать вся приготовленная хозяйкой пища, старики решили, что в доме есть *обменёнок*; наломали по девять прутьев, связали шесть пучков, и шестеро стариков стали бить младенца, положив его на пол; и вдруг дверь открылась и какая-то женщина схватила подменыша со словами, обращенными к хозяйке дома: “Ты моего ребенка недокармливала, недопаивала, да еще и бить вздумала! Вот твой - забирай. А это мой!” И исчезла. Оказалось, что это чертовка была, детей-то и подменяла [11. С. 111]. Украинцы Подолии верили, что если бить подменыша во дворе на куче мусора, то появится “богиня” и скажет: “Я твоє (дитя) в маслі купаю, годую маслом-сиром, а ти над моєю ся збиткуєш!”, после чего заберет своего ребенка и вернет людям *мужицьку дитину* [9. С. 40].

В репликах, приписываемых нечистой силе, когда она забирает подменыша, часто отмечается противопоставление “твой ребенок – мой ребенок”. По укр.-карпатским свидетельствам, *лісова відьма*, услышав крик подменыша (которого люди били девятью прутьями боярышника на перекрестке дорог), вернула матери украденного младенца со словами: “На тебе твоє. Бей свое, а не мое!” [12. С. 8]. Сходного типа приговоры произносили сами люди во время подобного ритуала. Например, чтобы заставить *чортиху* забрать своего “уродца”, его били веником на куче мусора, приговаривая: “На тобі твоє, оддай мені мое!” [13. С. 4]. Так же поступали жители польского Подлясья: секли подменыша на “сметнике”, выкрикивая время от времени: “Odbierz swoje, oddaj moje!” [14. С. 188]. Более сложный заговор произносили в сходной ситуации жители Закарпатья (Прислоп); ночью в новолуние кто-нибудь из домочадцев выносил подменыша на улицу и, глядя на луну, говорил: “Абрагаме, сватайме ся, братайме ся, тобі діўка, мені хлопчіще. Берит собі своє, а мені предай мое”; потом он бьет лежащего на мусоре *подмінчу* метлой [15. С. 252].

У южных славян считалось, что распознать подменыша (и избавиться от него) можно было другим способом: хозяйка топила печь, укладывала ребенка на хлебную лопату и подносила к устью печи, делая вид, что собирается бросить его в огонь; при этом она говорила: “Ево вама ваше, дайте мени моје!” (Вот вам ваш, отдайте мне моего) [16. С. 95]. Жители Прекмурья (Словения), поднося младенца к печи, трижды спрашивали: “Dete, povej mi, ali si ti pravo, ali ne! Či mi nepoveš, te notri v reč vžem!” (Ребенок, скажи мне, настоящий ли ты или нет! Если не скажешь, я тебя тут же в печь брошу!). После этого ожидалось, что демоническое существо заберет свое чадо и вернет родителям их истинного ребенка [17. С. 135]. У русских Олонецкой губ. рекомендовалось бить подменыша прутьями ольхи, положив его возле горячей печи [8. С. 366].

По другим народным представлениям, подмененный ребенок проявлял свою демоническую природу тогда, когда его подносили к водным источникам, например переносили по мосту. Согласно рассказам подравских хорватов, когда люди понесли в церковь своего подросшего ребенка, который все еще не умел ни ходить, ни гово-

речь (они намеревались помолиться о его здоровье св. Антонию), то, как только они приблизились к каналу, услышали из воды голос: “Пуклич Шимена, куда тебя несут?”, на что ни говоривший до того ни слова малыш отозвался: “Меня несут к святому Анталару, чтобы я научился ходить и говорить, а я этого, ей богу, не хочу”. Услышав это, люди бросили подмышка в воду, а дома обнаружили своего живого и здорового, некогда похищенного, ребенка [17. С. 136].

В селах польского Подлясья распространены верования, что подмена могла происходить в тот момент, когда крестные родители несли новорожденного в церковь. Например, в одном из рассказов людей по пути в костел неожиданно накрыло облако пыли или тумана; а когда он развеялся, путники заметили убегающую “сатаницу” с ребенком на руках. Ничего не оставалось, как принести маленького дьяволенка в костел, где его стали поливать святой водой. Младенец поднял такой визг, будто на него лили кипяток. Тогда появилась неизвестная женщина и забрала своего подмышка [4. S. 139].

У словakov известны поверья о том, что если еще недавно здоровый, веселый, упитанный младенец становится вдруг худым, болезненным и крикливым, то это – *premej*. Матери носили таких детей на кладбище и просили умерших родственников либо излечить ребенка, либо забрать его к себе [18. S. 115]. Пытаясь вернуть себе своего истинного младенца, жители окрестностей Липтова пекли большой хлеб-калач, сквозь дырку которого протягивали двух-трехлетнего болезненного ребенка, считая его подмышком [18. S. 116].

Русское население Архангельской обл. полагало, что надежным способом избавиться от сомнительного младенца является перебрасывание его через порог из избы во двор: “Обменяли как-то в бане ребенка, обдериха, наверно. Мати оставила (без присмотра), за чем-то убежала, его и обменяли. Говорили ей, брось через порог, – обменяется обратно, да пожалела его, не бросила. Да к глупый был...” [19. С. 59].

*Мотив “чуда”*. Еще одним из действительных способов вернуть себе похищенного ребенка было стремление удивить подмышка, поставить его в тупик, показать ему нечто необычное, заставить заговорить. Наиболее характерен этот мотив для западнославянских суеверных рассказов. Например, по кашубским представлениям, надо было сделать вид, будто варишь пиво в скорлупках от гусиного яйца; при виде столь необычного зрелища подкидыш приходил в изумление и неожиданно произносил: “Мне уже сто лет, а я еще ни разу не видел, чтобы в яйце пиво варили”, после чего мгновенно исчезал, а на его месте появлялся ребенок хозяев дома [20. S. 237]. В других польских быличках повествуется, как люди клали рядом с подмышком самое крупное из гусиных яиц и слышали фразу: “Уже 77 лет живу на свете, а такой бочки без обруча еще не видел” [21. S. 142]. Либо хозяйка варили в горшке вместо мяса кусок старой кожи, затем делали вид, что уходят, а сами подсматривали за действиями подмышка; тот вылезал из колыбели доставал “еду”, и начинал есть, долго жевал и, наконец, говорил: “Я уже так стар, а такого твердого мяса есть еще не приходилось” [22. S. 131].

Подобные приемы могли использоваться для того, чтобы определить, заменен ли младенец человека на подмышка. В селах Сондецких Бескидов хозяйка устраивала младенцу следующее испытание: она готовила одинаковую пищу в двух посудинах разной величины (в крохотной чашке и в большом котле); ставила рядом с колыбелью и выходила из комнаты, прислушиваясь к голосу ребенка; если это был подмышка, то он говорил: “Тут мало – не наемся, а тут много – лопну” [23. S. 94].

Сходные мотивы встречаются и в южнославянских быличках. В Славонии рассказывали, что для распознавания подмененного ребенка, мать, по совету знахаря, разбивала много яиц и, сложив скорлупки одна в другую, расставляла их возле очага, а сама пряталась. Это зрелище вызывало большое изумление подмышка, который говорил: “Ай-уй! Сколько посуды! Столько не было даже тогда, когда наш Курцибан женился!” [17. С. 134]. У подравских хорватов в сходной ситуации мать давала младенцу для игры маленький горшочек и большую поварешку; тот так изум-

лялся, что впервые произносил фразу: “Мне уже свыше ста лет, а я еще такого не видел, чтобы черпак был больше горшка” [17. С. 134].

Рассказы с такими же сюжетами широко представлены в литовской народной мифологии: убедившись в том, что растят подброшенного лаумой ребенка, хозяйка наливают воду в половинки яичной скорлупы и расставляют их вокруг огня; при виде этого подменыш говорит, что он старше трехсотлетнего дуба, но такого еще не видел, – после чего исчезает [24. С. 308].

Подменыш в роли духа-обогапителя. В некоторых польских поверьях подброшенный людям ребенок нечистой силы обещал обогатить своих приемных родителей за хорошее с ним обхождение и особое питание. В с. Конопницы (Велюньского пов. Лодзинского воев.) рассказывали, что в одной семье рос малоподвижный хмурый и безмозглый ребенок, признанный подменьшем. Люди мало заботились о нем и плохо кормили. Однажды (до того не умеющий говорить) младенец сказал, что может принести в дом большое богатство, если хозяйка будет кормить его печеными жабами и змеями. Люди согласились и в дальнейшем выполняли все его капризы, а подменыш за это перед каждой денежной лотереей называл им выигрышные номера. Семья быстро разбогатела. Но как-то раз хозяйка забыла накормить подкидыша – и он, обидевшись, пропал из дома, а все накопленные деньги превратились в бумажную труху [4. С. 141].

Обереги, предотвращающие подмену. Чтобы защитить новорожденного от подмены, у западных и восточных славян считалось важным не оставлять его в комнате одного; мать должна была спать ночью вместе с ребенком, повернувшись к нему лицом; до момента крещения младенца каждую ночь в доме должна была гореть лучина или свеча; не рекомендовалось вывешивать пеленки во дворе после захода солнца; родители следили, чтобы на спящего малыша не падал лунный свет. В хорватских селах новорожденного накрывали на ночь мужской рубашкой в течение семи недель после рождения, чтобы его не подменила “цоприница”. Оберегом служили: металлические предметы (а также икона, крестик, четки, освященные растения), положенные в колыбель (общеслав.); завязанная на ручке младенца красная лента или нитка (польск.). На Русском Севере против подмены втыкали нож в притолоку дверей, у порога оставляли метлу прутьями кверху, под колыбель клали топор и т.п. [8. С. 366].

Подменыш-оборотень. Особый тип персонажа отмечается в русских и белорусских демонологических поверьях, согласно которым вместо украденного ребенка нечистая сила оставляет некий предмет (старый веник, чурку, полено, головешку, связку соломы и т.п.). Если случится родителям по неосторожности “чертыхнуться” в присутствии младенца, то он тут же исчезает, а на его месте оказывается “замена”. Например, одна женщина укладывала ребенка, а он кричит и кричит. «Она вышла из терпения: “Черт бы тебя взял!” Он и замолчал. Она глянула, а в зыбке головешка лежит» (рус. владимир.). [8. С. 428]. Чаще, однако, подброшенный предмет принимает вид точной копии похищенного младенца, так что родители не замечают факта подмены и продолжают растить подменьша-оборотня. В одной из белорусских быличек странник, ночевавший в крестьянской хате, видел, как ночью дьявол похищает новорожденного и кладет вместо него в колыбель полено; будучи “знающим” человеком, он отбирает дитя у нечистого духа и прячет его в свою торбу; утром на глазах родителей достает из колыбели “обменьша”, перерубает его топором (все видят, что это обычное полено) и бросает в печь, а хозяйкам вручает спасенного ребенка [25. С. 488].

Подобного типа мифологические рассказы известны и в литовской сказочной прозе. В одном из вариантов литовских быличек ночующий в доме посторонний человек является свидетелем того, как “лауме” похищает ребенка, а на его место кладет помело; утром он перерубает топором подменьша в виде помела и возвращает родителям их похищенного ребенка [24. С. 192].

В сев.-русских демонологических рассказах виновником подобной подмены часто оказывается леший: он похищает новорожденного, подкладывая вместо него поле-



но, которое родителям представляется в виде их собственного дитяти [26. С. 419]. У русских Архангельской обл. известны поверья, что “банная обдериха” стремится подменить младенца, подкладывая матери либо старый веник, либо своего демонического ребенка: “Родит жёнка, с ребёнком в бане мылась, так кладет камешок и иконку, а то обдериха обменяет и унесёт, и не найдется... А вместо ребенка окажется голик. А бывает, что и ребёнок окажется, но не такой, как все настоящие. Он всем лошадям и коровам заглядывает под задницу, да руку по локоть в рот запикивает. До пятнадцати лет живёт, а потом куда-то девается” [19. С. 59].

Поляки Люблинского воев. рассказывали о случаях, когда ведьма (“чаровница”) похищала младенца, оставленного матерью в поле на меже, а на его месте оказывались животные (кот, собака) либо древесная чурка, бревно [3. С. 149].

По представлениям западных и восточных славян, подмена детей могла происходить еще в период беременности женщины, т.е. персонажи нечистой силы незаметно от домочадцев якобы вынимали из чрева беременной плод, заменяя его веником, чуркой, головешкой, лягушкой, краюхой хлеба и т.п., а затем женщина в свое время рожала подмёныша [11. С. 152–153, 314]. Жители польского Подгалья верили, что “мамуны” способны в ночное время незаметно от людей вынимать из лона беременных женщин зародыши внебрачных детей и заменять их на уродливых “обменщев” [27. С. 107].

У русских случаи внезапной смерти грудных младенцев тоже часто объяснялись похищением его нечистой силой: вместо абсолютно здорового малыша утром мать обнаруживала мертвое тело, которое “не дохнет и слова не скажет”. Например, “приспанный” ребенок (т.е. по неосторожности задавленный во сне спящей рядом матерью) считался не умершим, а подмененным. В одной из смоленских быличек роженица, ребенок которой оказался утром мертвым, приходит в отчаяние, однако ночевавший в доме прохожий свидетельствует о факте коварной подмены и вынуждает колдунью вернуть родителям живого младенца [8. С. 363].

Возвращенные людям некогда похищенные дети. В русской традиции для цикла суеверных рассказов о подмене детей характерны такие мотивы, в которых основное внимание приковано к судьбе украденного ребенка, тогда как о подмёныше сообщается только то, что он много лет не растет, остается в рыбки и непрестанно плачет. В разных областях России широко распространены рассказы о “банной девке” или “невесте из бани”. Новорожденную девочку некогда подменил банник, который подбросил родителям подмёныша-оборотня; девочка незримо пребывала в бане на попечении банника 18 лет, а затем заставила одного из парней взять ее в жены, после чего смогла вернуться к нормальной “человеческой” жизни. Лишь тогда выяснилось оборотничество подкидыша, который все это время оставался в колыбели, а будучи разоблаченным, превратился в деревянную чурку [11. С. 120; 19. С. 60–61; 26. С. 72–76; 8. С. 367].

Считалось, что вернувшиеся к своим родителям из плена нечистой силы дети приобретают признаки либо “знающих” людей, либо “тронутых умом”: они обретают способность предсказывать судьбу, лечить больных и т.п. То, что похищение новорожденных часто воспринималось как невозвратимая утрата (смерть), подтверждается следующими народными представлениями: украденные нечистой силой дети впоследствии превращаются в русалок (девочки) или в леших (мальчики). Ребенок, унесенный “тайными людьми”, сам становится “тайным человеком” (духом), служит нечистой силе, выполняет ее поручения и т.п. [2. С. 18].

У западных славян, наоборот, центральным персонажем подобных рассказов является именно подмёныш, а мотивы, связанные с судьбой похищенного ребенка, практически не разрабатываются. По единичным польским свидетельствам, так называемый *zwrotek* (т.е. возвращенный) рос у своих истинных родителей хилым, болезненным, диковатым ребенком и редко доживал до повзрелости [4. С. 144].

1. *Хобзей Н.* Гуцульська міфологія: Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.
2. *Максимов С.М.* Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989.
3. *Pełka L.* Polska demonologia ludowa. Warszawa, 1987.
4. *Varapowski B.* W kręgu upiórów i wilkołaków. Łódź, 1981.
5. *Шухевич В.* Гуцульщина. Львів, 1902. Т. 3.
6. Етнографічний збірник. Львів, 1898. Т. 5.
7. Русский демонологический словарь / Автор-сост. *Т.А. Новичкова.* СПб., 1995.
8. *Власова М.* Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб., 1998.
9. Казки та оповідання з Поділля. В записках *М. Левченко.* Київ, 1928.
10. *Biegeleisen H.* Matka i dzecko w obrzędach, wierzeniach i praktykach ludu polskiego. Lwów, 1927.
11. Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. *В.П. Зиновьев.* Новосибирск, 1987.
12. *Левкиевская Е.Е.* “Там, на Черногоре есть нявское молоко...” (Женские демоны в карпатской мифологии) // “Живая старина”. 1996. № 1. С. 8–9.
13. *Ефименко П.* Сборник малороссийских заклинаний. М., 1874.
14. *Siemieński L.* Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Warszawa, 1975.
15. *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
16. *Ђорђевић Т.Р.* Вештица и вила у нашем народном веровању и предању. Београд, 1953.
17. *Раденковић Љ.* Словенска веровања о подметнутом детету // Кодови словенских култура. Београд, 2002. Т. 7.
18. *Dobšinsky P.* Prostonarodne obyčaje, povery a hry slovenké. Martin, 1880.
19. *Черепанова О.А.* Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. СПб., 1996.
20. *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967–1976. Т. 1–7.
21. Zbiór wiadomości od antropologii krajowej. Kraków, 1877–1895. Т. 1–18.
22. *Łęga W.* Okolice Świecia. Gdańsk, 1960.
23. *Lehr U.* Wierzenia demonologiczne // Studia z kultury ludowej Beskidu Sądeckiego. Kraków, 1985. S. 91–116.
24. *Кербелите Б.* Типы народных сказаний: Структурно-семантическая классификация литовских этиологических, мифологических сказаний и преданий. СПб., 2001.
25. *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 3. СПб., 1902.
26. *Криничная Н.А.* Русская народная мифологическая проза: Истоки и полисемантизм образов. Т. 1. Былички, бывальщины, легенды, поверья о духах-“хозяевах”. СПб., 2001.
27. *Važińska B.* Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich // Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Wrocław, 1967. Т. 7.

**САМОУБИЙЦА** – “нечистый” покойник, после смерти не имеющий успокоения и поступающий под власть нечистой силы, лишенный христианского погребения (см. Висельник, Утопленник). С. является причиной стихийных бедствий, эпидемий, неурожая, болезней и смерти людей. Из С. происходят многие мифологические персонажи (см. Вампир, Русалка, Кикимора).

Комплекс о.-слав. представлений о С. содержит в себе синтез народных и христианских взглядов на самоубийство. Мифологической основой народных поверий о С. является вера в то, что С., как и другие “нечистые” покойники (дети некрещеные, выкидыши, женщины, умершие во время родов, опойцы, люди, проклятые своими родителями, умершие случайной или насильственной смертью, замерзшие в пути и под.), не изжили положенного им срока жизни и поэтому вынуждены за гробом “доживать” свой век, так как их “земля не принимает”. Не получив на “том” свете пристанища и покоя, С. становится “ходячим” покойником (см. Покойник “ходячий”), существуя как бы на “границе” между миром живых и миром мертвых. Душа С. поступает во власть нечистой силы. О С. говорят, что он находится “у сатаны в коленях”; “ушел сатане в когти” (АА, Тихманьга каргопол. архангел.), “душу дьяволу отдал” (в.-слав.); С. называют “черту баран” (рус.), “чертовой жертвой”, “детьми дьявола” (укр.).

По церковным воззрениям, самоубийство есть тягчайший грех, т.к. С., самовольно лишая себя дарованной ему Богом жизни, восстает против Божьей воли. Поэтому С. не удостоивается церковного погребения, по нему не совершается поминовение, как по обычным покойникам.

Причина, по которой С. лишает себя жизни, – подстрекательство нечистой силы, которая стремится получить душу человека (о.-слав.). Согласно в.-слав. быличкам, человек, решивший покончить с жизнью, находится в состоянии наваждения: он слышит голоса демонов, поощряющих его к этому поступку; видит черта, являющегося к нему в облике знакомого и услужливо предлагающего веревку, объясняющего, где она лежит или заманивающего человека в воду. Если человек в этот момент перекрестится, произнесет молитву или упомянет имя Божье, нечистая сила исчезнет и наваждение прекратится.

Акт самоубийства часто осмысливается как свадьба С. с чертями, которые уносят с собой свою жертву. В полес. быличке рассказывается, как человек, заблудившийся в лесу, вышел ночью к лесной избушке, в которой гуляла странная свадьба. В невесте он узнал дочь своего соседа. Получив приглашение принять участие в веселье, он сел за стол и осенил себя крестным знаменем, после чего свадьба с шумом исчезла. Утром, возвратившись в село, он узнал о самоубийстве соседской девушки.

О месте, в котором находится С. после смерти, существуют различные представления. По рус. верованиям, С. живут вместе в чертями под землей; карпат. украинцы полагают, что С. обитают на мифической горе Черногоре; согласно карпат. и ю.-слав. поверьям, они обычно пребывают в градовых тучах, разнося их по свету. С. сохраняет связь местом своей смерти и своей могилы, появляясь возле них; поэтому такие места считаются “нечистыми” и опасными: около них что-то “видится”, “чудится”, “пугает” (например на месте, где хоронили С., по ночам видны горящие свечи, рус.); человек, наступив на такое место или пройдя мимо него, сбивается с дороги, тяжело заболевает или умирает; у скота, попавшего на такое место, может пропасть молоко (о.-слав.); на таких местах человека может погубить черт, приняв облик С. (рус.).

Обычно С. показываются после смерти ночью, в полночь, в период после захода солнца (о.-слав.), в начале каждого месяца (укр.), в новолунье (укр.), в лунную ночь (в.-слав., з.-слав.), в тот день в году, когда было совершено самоубийство (рус.). Согласно верованиям карпат. украинцев, висельники показываются при новолунии, а утопленники – в период безлуния (КА, Головы верховин. ив.-франков.)

Облик, в котором С. являются людям, часто не отличается от обычного вида этого человека при жизни; однако он может иметь мифологические черты (например белые одежды, вид звезды, невидимость, проявление себя только голосом, ветром, тенью и под.).

Поведение и деятельность С. за гробом сходны с существованием мифологических персонажей, особенно вампиров, которыми они часто становятся после смерти. С. встают из гроба, бродят, скитаются по земле, не находя себе покоя (о.-слав.). Русские полагают, что С. ходят “не своим духом”, т.е. вместо С. появляется черт, принимающий облик этого человека или забравшийся в его тело. С. пополняют ряды “заложных” покойников и поступают в услужение к нечистой силе: черти используют С. как лошадей, возят на них воду, ездят верхом, запрягают в повозки и часто заезжают к кузнецу, чтобы их подковать. Популярный сюжет в.-слав. быличек: кузнеца ночью будит путник, прося подковать коня; выполняя работу, кузнец узнает в лошади человека, недавно повесившегося в соседнем селе. Русские приписывают С. способность очень быстро бегать.

Действия С., как и всех “заложных” покойников, вредоносны для человека и природы. С. тревожат, пугают людей, особенно своих родственников и знакомых, являясь им во сне и наяву (о.-слав.), а также тех, кто проезжает мимо их могил или места самоубийства (в.-слав.); преследуют путников и морочат их, подобно рус. лещему (например, С. является на дороге прохожему, предлагая угощение и выпивку – чело-

век думает, что он сидит в доме, но в полночь, после крика петуха и пр. обнаруживает себя в непроходимом месте, рус.); проникают в дома и наносят ущерб хозяйству (разбивают оконные рамы, дверные замки и пр.), разрушают плотины (в.-слав.), вызывают пожары. С. способны причинять вред здоровью людей, в частности насыпать на них болезни, в том числе эпидемические, укорачивать (“подрезать”) жизнь встречному человеку (о.-слав.). В некоторых рус. быличках С. стерегут клад, зарытый в земле.

В о.-слав. представлениях сильна связь С. с атмосферными явлениями. Смерть С. сопровождается сильным ветром, вихрем, бурей, в которых черти уносят душу С. (в.-слав.). У всех славян существуют представления о влиянии душ самоубийц и некрещеных детей на непогоду и вредоносные атмосферные процессы; у вост. славян эти представления выражены слабее – в мотивах о самоубийстве и неправильном погребении “нечистых” покойников как причине непогоды, у юж. и зап. славян, а также на Карпатах такие покойники составляют самостоятельную группу персонажей, главной функцией которых является формирование атмосферных осадков (града, бури, ливней), а также засухи и заморозков. На укр. Карпатах пагубные погодные явления, наносящие ущерб хозяйству, связываются с деятельностью С., которые под руководством чертей куют град на Черногоре, а затем в больших тучах разносят его по свету.

У всех славян известно об особых способах захоронения С., призванных обезопасить живых и предотвратить природные аномалии. И народные обычаи, и церковные правила запрещают хоронить С. на кладбище вместе с “родителями”, “предками”, т.е. с покойниками, умершими своей смертью, во избежание природных катаклизмов – затяжных дождей, засухи, заморозков. Правило патриарха Андриана 1697 года гласит: “А который человек обвесится или зарежется, или купаясь ... утонет, или вина обопьется, или с качели убьется, или иную какую смерть сам над собою своими руками учинит ... и тех умерших тел у церкви Божии не погребать и над ними отпевать не велеть, а велеть их класть в лесу или на поле...” [1. С. 91]. В в.-слав. традиции существовало представление, что С. “земля не принимает”, выталкивая их на поверхность, а будучи погребенными в земле, их тела не подвергаются гниению. С., похороненный в земле (а тем более на кладбище), – причина неурожаев, засух и ливней. Поэтому вост. славяне вплоть до начала XX в. избегали хоронить С. в земле (несмотря на сопротивление церкви, которая предписывала единственный вид похорон – через погребение в земле), оставляя трупы С. в болотах, оврагах, ямах, топях и других труднодоступных местах и забрасывая их сверху листвой и ветками. Нередкими были случаи, когда С., похороненного в земле, по решению сельского схода тайно выкапывали и выбрасывали в овраг или болото для предотвращения засухи. Часто С. хоронили на месте их смерти (в.-слав.), а также на символических пограничьях с “иным” миром – на перекрестках, границах полей и сел. С. не отпевали, а на его могиле не ставили креста.

В некоторых местах укр. Карпат С. хоронили в мокром месте и в той одежде, в которой он повесился (такого покойника не обмывали и не одевали в смертную одежду); хоронили на кладбище, на специально отведенном месте и без гроба, завернув в полотно (закарпат.) или зарывали гроб в землю вертикально (полес.). На Русском Севере повесившихся не разрешали вносить в деревню, чтобы не навлечь беды на всех жителей, а хоронили под елью (АА, Сура пинеж. архангел.). У вост. славян проходящие мимо могилы С. бросали на нее мусор, ветки, палки, солому, камни, а когда накапливалась большая куча, ее поджигали.

В России в городах вплоть до второй половины XVIII в. существовали особые места (так называемые *жальники*, *божедомы*, *убогие*, или *божьи дома*, *скудельницы*), которые представляли собой большие глубокие ямы, куда свозили С. и других умерших “не своей” смертью – раз в году (в четверг на седьмой неделе после Пасхи); их закапывали в землю без соблюдения христианского ритуала.

Чтобы предотвратить превращение С. в ходячего покойника или в вампира, у трупа отрубали голову, клали ее между ног и так зарывали (ю.-слав., карпато-укр., з.-бел.), клали труп в могиле лицом вниз (карпато-укр.), подрезали жилы на ногах, запикивали в разрезы щетину, чтобы лишить С. возможности ходить после смерти (ю.-слав., в.-слав.) и пр. Если возникало предположение, что С. превратился в “ходячего” покойника, могилу разрывали, труп переворачивали головой туда, где были ноги или лицом вниз и после снова закапывали (ю.-слав., в.-слав.), или вбивали в могилу осиновый (в.-слав.) или боярышниковый (ю.-слав.) кол. Для предотвращения или прекращения засухи на могилу С., обычно утопленника или опойцы, лили воду (в.-слав.).

Официальное поминовение С. в церкви, в заупокойной молитве или в поминальных записках запрещено церковным каноном, однако для облегчения посмертной участи С. давали тайные пожертвования на литье колокола – он вызвонит у Бога милость несчастному (рус.), для поминовения удавленников раз в год сыпали на перекрестках зерна для птиц (рус.). У русских С. принято было поминать во вторник перед Троицей, разбивая на его могиле красное яйцо, а также в Семик (седьмой четверг после Пасхи); на Украине – в субботу перед Троицей, окрашивая яйца в красный и желтый цвет; в Полесье – на Радуницу; на Карпатах С. поминали за рождественским ужином – чтобы град (причиной которого были С.) не бил посевы, откладывали в отдельную тарелку по ложке от всех блюд и ставили ее на подоконник или под стол. При этом, называя по имени самоубийц данного села, приглашали их на ужин (верховин. ив.-франков., КА).

© 2003 г. *Е. Е. ЛЕВКИЕВСКАЯ*, канд. филол. наук

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Зеленин Д.К.* Очерки русской мифологии. М., 1995.



© 2003 г. В. И. КОСИК

## РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ В БОЛГАРИИ (1940–1950-е ГОДЫ)

2 апреля 1945 г. архиепископ Серафим (Соболев), сообщая Патриарху Алексию I о своей готовности войти в состав Московской Патриархии, просил оставить его патриаршим представителем в Болгарии, где он “сроднился со своею паствою, со своими духовными детьми, не только русскими, но и болгарами”, добавив ключевую фразу, что к советской власти будет лоялен. Одновременно он выразил желание включить в юрисдикцию Московской Патриархии все русское духовенство, которое находилось в ее ведении [1. Д. 16. Л. 72].

В сущности, такая позиция была predeterminedena многими факторами: здесь и подчеркнутое выше “родство”, и определенная фронда к возглавителям Русской Православной Церкви За Границей, и то, что в 1937 г. он не был запрещен в священнослужении митрополитом Сергием, в то время как все русские архиереи за рубежом подверглись прещению, и признание законности патриаршества Алексия I.

На 1946 г. русские православные общины действовали в Пернике, Рушцук, Пловдиве, Варне, Княжеве, Шумене (при инвалидном доме), в Софии и храм-памятник на Шипке [1. Д. 132. Л. 54]. Просили о переходе в юрисдикцию Московской Патриархии и священники, служившие в Болгарской Церкви, например, Всеволод Шпиллер, состоявший негласным советником у министра иностранных дел по вопросам, касающимся Русской Православной Церкви.

Вхождение в Московскую Патриархию несомненно рождало желание послужить ей своими опытом, знаниями на благо истинного православия, направленными против развертывавшегося экуменического движения на Западе. И здесь чрезвычайно важно подчеркнуть важнейшую роль, которую играло в этом процессе само государство, точнее, Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР во главе с Г.Г. Карповым, контролировавший деятельность Церкви. В экуменизме идеологи из ЦК КПСС видели, надо полагать, явление, способное стать серьезной помехой в деле распространения и усиления влияния Москвы. Безусловно, и сама Русская Церковь прилагала усилия в борьбе с экуменизмом, рассматривая его как угрозу целостности православия.

Вхождение Болгарии в орбиту советского влияния сопровождалось значительными изменениями во всех областях политической, экономической, культурной и религиозной жизни. При этом Москве, Московской Патриархии требовались исчерпывающие сведения об этих процессах, в том числе и о ситуации в Болгарской Церкви, положении русского духовенства в Болгарии.

---

Косик Виктор Иванович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Объемная информация, позволяла ведомству Карпова быть в курсе всего того, что происходило среди русского духовенства и, соответственно, предпринимать необходимые шаги. Так, 27 декабря 1948 г. Карпов писал в МИД СССР, что к нему поступили сведения о том, что Шавельскому, преподающему на богословском факультете Софийского университета, пришло приглашение в США на богословско-профессорскую кафедру. По мнению “охранителя” Карпова это могло повлечь за собой “усиление враждебной деятельности эмигрантского духовенства”, поэтому он просил руководство со Смоленской площади принять меры по предотвращению выезда Шавельского [1. Д. 419. Л. 195].

Протоиерей Шпиллер писал в Московскую Патриархию, что Рильский монастырь был превращен в место отдыха туристов. При этом монашество там “просто планомерно и систематически истреблялось”: такой вывод он делал в связи с отменой всех ночных и ранних утренних богослужений, “утомлявших без нужды” братию. Попытка митрополита Бориса Неврокопского заселить монастырь русскими монахами, и тем самым создать в Болгарии настоящий монастырь, как отмечал о. Всеволод, “вызвал в Синоде целую бурю” негодования [1. Д. 132. Л. 33].

В Болгарии, иронически заявлял Шпиллер, «хотели создать новый тип ученого монашества, но, конечно, не по русскому образцу этого действительно несколько особенного типа монашества, а по какому-то особенному образцу “просвещенного неженатого пастората” протестантской Германии и т. п. С грустью должен сказать, что не заметив, как помимо всего прочего это скверное само по себе дело превращается здесь еще и в дело прямо антирусское, в нем принимали непосредственное участие каждый по своему, двое видных русских людей: проф. Н. Н. Глубоковский, мой принопамятный учитель, в конце своей жизни искренне раскаявшийся в этом, и о. протоиерей Т. И. Шавельский, не только в этом никогда не раскаявшийся и не покающийся (считает монашество церковным учреждением отжившим свой век)» [1. Д. 132. Л. 32].

Говоря о необходимости поддержки архиепископа Серафима, ориентировавшегося на “прорусское движение”, Шпиллер несколько сгущал краски, говоря, что владыка «не может оставаться более в той унижительной мат[ериальной] зависимости от болг[арского] Синода, и от болг[арского] правительства, и, наконец, от отдельных болгар, его почитателей, в которой находится и по сей день. М. Филарет не постеснялся на днях почти в присутствии Владыки Серафима сказать мне следующую фразу: “25 лет Серафим живет у нас на содержании, ест и пьет на наш и, в частности, и на мой счет, и после не приглашать нас к чаю, устроенному им для Патриарха на наши же деньги”. Я должен был ответить ему, что сказано это им вполне по болгарски: двадцать лет они содержали одного русского архиерея – и сколько переживаний! В то время как Русская Церковь чуть ли не всю их Церковь содержала сотни лет, во всяком случае десятки лет, и, конечно, никогда им об этом не напомнит» [1. Д. 132. Л. 38].

Сама же внутренняя обстановка в Болгарской Церкви отчетливо обрисована в отчете архиепископа Псковского и Порховского Григория (Чуков Николай Кириллович) о поездке в Софию с 6 по 23 апреля 1945 г.: «Экзарх Митрополит Стефан, несомненно, самый умный из архиереев, пользуется большим авторитетом среди болгар, большой дипломат и до мозга костей политик. По видимому, его отношение к немцам по существу было отрицательным, хотя он принужден был лавировать. Англоманство в нем скрытно, вероятно еще есть в некоторой степени и теперь. Но сейчас он чрезвычайно ярко проявляет свое русофильство... идею славянства и его объединения под главенством России он громко заявляет в своих речах... О своих митрополитах он отзывался как о “немцах”... Тем не менее эти “немцы”-митрополиты являются его ближайшими помощниками (м. Михаил и м. Паисий), хотя вообще он всех их держит довольно властно... Теперь он приблизил к себе и поставил на ответственные должности наилучших людей русофильского направления – новорукположенного епископа Парфения, архимандрита Мефодия (протосингела Синода), иеродиаконов – Александра и Григория, иеромонаха Серафима. Эти лица – ду-

ховные воспитанники управляющего русскими приходами архиепископа Серафима Соболева, человека аполитичного, безусловно духовного, но очень "узкого", и политически довольно тупого, пользующегося однако большим уважением прихода" [1. Д. 16. Л. 88–89].

Однако в "политической тупости" архиепископу Серафиму отказали и советское посольство в Софии, и в самой Москве, в ведомстве Карпова, когда встал вопрос о назначении Владыки в Париж экзархом по Западной Европе на место архиепископа Серафима (Лукиянова). 1 ноября 1948 г. посол в Болгарии Бодров в письме на имя заместителя министра В.А. Зорина, отвечая на запрос, писал, что Серафим (Соболев) и Пантелеймон (Старицкий) "не скомпрометированы своей прошлой и настоящей деятельностью. Пользуются авторитетом среди прогрессивных деятелей болгарской церкви. Установили нормальные отношения с Комитетом советских граждан в Болгарии и поддерживают начинания Комитета в области культурной просветительной работы среди новых советских граждан... Посольство не возражает против выезда на работу в Экзархат Старицкого, Никандровой (келейница. – В.К.) и Шелехова" [1. Д. 419. Л. 125].

Одновременно советское посольство подчеркивало, что оно не возражает против "назначения советского гражданина протоиерея Шпиллера руководителем Русской Церкви в Болгарии, в связи с выездом архиепископа Серафима. Однако желательно порекомендовать руководству Московской Патриархии оставить пока Серафима главой Русской Церкви в Болгарии, а Шпиллера назначить заместителем Серафима по Русской Церкви в Болгарии. Этот вариант дал бы возможность Московской Патриархии присмотреться к работе Шпиллера, прежде чем решить вопрос о назначении его главой церкви" [1. Д. 419. Л. 125].

Возражали в Москве: 2 сентября 1948 г. Карпов писал в МИД, что в просьбе архиепископа Серафима взять с собой в Париж перечисленных в письме Алексею I священнослужителей Андрея Ливена, Ухтомского, Старицкого, Шелехова "должно быть отказано, так как тут явное стремление переключиться из страны народной демократии в более безопасное место" [1. Д. 419. Л. 4]. Предложение о назначении о. Всеволода Шпиллера также практически провалилось: 20 ноября 1949 г. ему распоряжением Совмина СССР был разрешен выезд с женой Людмилой Сергеевной и сыном Иваном на постоянное место жительства в Советский Союз [1. Д. 576. Л. 200].

Впрочем и само назначение в Париж архиепископа Серафима было под вопросом. Так, совсем иной отзыв на него пришел в ноябре 1948 г. из советского посольства в Париже. Оттуда, подчеркивая его связи с монархистами, вплоть до разгрома фашистской Германии, сообщали, что "некоторые советские граждане из бывших эмигрантов опасаются, что в Париже Серафим свяжется с местными монархистами и тем самым повредит Московской патриархии" [1. Д. 419. Л. 147]. Надо сказать, что назначение в Париж так и не состоялось по ряду причин, и сам архиепископ был оставлен в Болгарии.

Хотя к владыке, судя по поступавшей в МИД по своим каналам информации, не было претензий. 5 января 1950 г. Министерство сообщало в Совет, руководимый Карповым, что среди служителей Русской Православной Церкви в Болгарии находятся в основном советские граждане. При этом архиепископ Серафим старается, как подчеркивалось, "не допускать в число церковных служителей политически скомпрометированных лиц", "руководствуется в своей деятельности указаниями Московского Патриархата" и проводит курс на сближение с Болгарской Православной Церковью [1. Д. 719. Л. 1]. В ведомстве Карпова также знали (практически вся зарубежная почта на имя Патриарха вначале поступала в Совет по делам Русской Православной Церкви), что архиепископ Серафим продолжал оставаться активным борцом с экуменизмом. 26 апреля 1949 г. он писал Патриарху Алексею I: "Все митрополиты являются решительными последователями экуменизма, как до Московского совещания, так и после него... если экуменическое разложение будет идти и впредь такими же шагами, то недалек тот день, когда вожди Болгарской Церкви



приведут ее на радость врагов православия к полному духовному единению с создавшимся на Западе религиозным единством, которое в лице экуменизма ставит своею задачей поглощение всех поместных православных церквей и образование единой вселенской только не православной, а экуменической, т. е. еретической и масонской церкви, в чем и состоит сущность экуменизма” [1. Д. 576. Л. 92–93].

Большое внимание архиепископ Серафим уделил и богословскому факультету Софийского университета. По его мнению, именно он “является очагом модернизма и распространения на всю Болгарию экуменических идей”. При этом среди его профессоров, подчеркивал владыка, числятся “четыре масона во главе с вождем экуменического движения о. Ст. Цанковым и Дюльгеровым” [1. Д. 576. Л. 94]. “В экуменическом направлении болгарских иерархов, – продолжал архиепископ Серафим, – в их явном попустительстве экуменической деятельности профессоров богословского факультета и в его отрицательном отношении к православию надо искать одну из главных причин возникновения здесь великого зла – священнического союза. Последний стремится уничтожить власть епископата в лице Синода, быть главным распорядителем всего церковного имущества, допустить женатый епископат и двубрачие духовенства, а в конце концов - образовать в Болгарии живую или обновленческую церковь, как это было в России, в целях уничтожения канонов и догматов и всей Православной Церкви. Надо всегда помнить, что болгарские священники сплошь и рядом являются питомцами софийского враждебного Православной Церкви богословского факультета. И вполне естественно, что священнический союз отражает в себе всю противцерковность и антиканоничность сего факультета” [1. Д. 576. Л. 95–96].

По мнению архиепископа Серафима, “необходимо какое-то высшее вмешательство для оздоровления Болгарской Церкви” т.е. “надо включить в число митрополитов Болгарской Церкви таких иерархов, которые отличались бы преданностью Православной Церкви и могли бы вести борьбу с экуменизмом... Такими стойкими борцами за св. православие являются епископ Парфений, архимандрит Мефодий и архимандрит Серафим... Этих трех лиц и следовало бы теперь же сделать митрополитами. Причем на еп. Парфения надо возложить временное исполнение обязанностей председателя Синода. Он, как непоколебимый в православии, поведет Болгарскую Церковь противозкуменическим путем... Митрополитов же – Пасися, Кирилла, Иосифа и Филарета – совершенно беспринципального, самого худшего из всех болгарских иерархов – удалить на покой” [1. Д. 576. Л. 97]. Препровождая 10 июня 1949 г. копию письма весьма категоричного в своих утверждениях архиепископа Серафима в МИД, Карпов, намечал обширный план действий по “ослаблению рядов экуменистов”, используя принцип “разделяй и властвуй”. В частности, предлагалась организация кампании против названных в письме архиепископа Серафима лиц, как “реакционеров, которые своей деятельностью хотят посорить духовенство и верующих болгар с Русской православной церковью и русским народом” [1. Д. 576. Л. 100–101].

В борьбе с экуменизмом и протестантизмом “пострадал” и ученый с мировым именем Николай Никанорович Глубоковский, вернее, его рукописное наследство. Согласно завещанию от 21 августа 1931 г. “все рукописи и всякие бумаги” переходили “в полную собственность” его жены Анастасии Васильевны Глубоковской и “личное ее распоряжение” [1. Д. 576. Л. 138]. В свою очередь она завещала 23 марта 1939 г. все свое имущество Пучкову И.К., в том числе и “все книги, рукописи, бумаги покойного супруга... в благодарность за его заботы... к покойному супругу и ко мне. В случае, что мой заветник И.К. Пучков опочнет до меня, то вышеупомянутые мои распоряжения в силе и в пользу Ирины Михайловны Посновой, учительницы, живущей в Брюсселе, Бельгия, которая вправе унаследовать вышеупомянутые имущества, как моя заветница” [1. Д. 576. Л. 138].

В 1945 г., 18 мая, Патриарх Алексий I был проинформирован, что живущий в Софии наследник известного богослова Н.Н. Глубоковского И.К. Пучков предложил

приобрести для Богословского института неизданные рукописи Николая Никаноровича, «который перед смертью выразил желание передать их в Россию. 1. “Благовестие христианской славы в Апокалипсисе св. Иоанна Богослова” (сжатый обзор. 329 стр. 1935 г.) 2. “Евангелие христианской святости в Послании к Евреям” (2. 597 страниц. – 1934 г.) 3. “Христос-Искупитель” (118 стр. 1936 г.) 4. “Пастырско-искупитель[ельное] служение Христа-Спасителя” (172 стр. 1937 г.) 5. “Библейский словарь” (2552 стр.). Рукописи гр. Пучков передает не бесплатно, но просит выдать необходимую сумму денег, чтобы поставить памятник на могиле Н.Н. Глубоковского». В ведомстве Карпова было решено договориться с главой Болгарской Православной Церкви Стефаном во время его приезда в СССР, т.е. решить каким-либо образом этот вопрос “на безвалютной основе” [1. Д. 16. Л. 101].

Однако дело о приобретении рукописей было положено в долгий ящик. В последующей переписке число рукописей сократилось до четырех. В письме Пучкова их названия уточнены: “Евангелие Христианской святости в Послании к Евреям” (введение, экзегетический анализ, сноски, вокабуляр, дата 1937 г.), “Христос-Искупитель, Церковь Христова и Искупленный человек по Посланиям Св. Ап. Павла к Филиппийцам, Ефесянам, Колоссянам и Филимону с кратким обзором их” (закончено в 1936 г.), “Пастырско-искупительное служение Христа Спасителя и пастырские послания” – 1937 г., “Объяснительный библейский словарь”, 1933 г. Лишь 12 мая 1949 г. аналогичную информацию Патриарху Алексию I передал настоятель Болгарского Подворья в Москве архимандрит Мефодий. При этом в письме подчеркивалось следующее: “И.К. Пучков – человек уже старый и нездоровый, а по завещанию и вообще его наследником является Ирина Михайловна Поснова, дочь б[ывшего] проф. церковной истории Киевской Духовной Академии – Михаила Эммануиловича Поснова, которая после смерти отца перешла к католикам и сейчас находится на службе учительницы ордена. Она настаивает получить эти рукописи сейчас же, в чем ей помогает ее мать, живущая в Болгарии вместе с Пучковым” [1. Д. 576. Л. 137].

Уже 23 июля 1949 г. Патриарх Алексей, избрав председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР Г. Г. Карпова о существе дела и согласии Патриархии уплатить 50 тыс. рублей за рукописи, “имеющие большую ценность для православной богословской науки”, просил “на означенную сумму выдать болгарскую валюту и перевести эту сумму на имя архиепископа Серафима (София), которому поручено оплатить рукописи и доставить их в Патриархию” [1. Д. 576. Л. 126].

Однако Карпов не спешил давать “зеленый свет”: было запрошено мнение Посольства СССР в Болгарии. В свою очередь советские дипломаты, основываясь на мнении архиепископа Серафима, оспорили ценность рукописей Глубоковского – “активного приверженца протестантизма и екуменизма”, работы которого написаны “с этих позиций” [1. Д. 576. Л. 173]. После получения такого отзыва вопрос о приобретении рукописей и поддержке ходатайства Патриарха не возникал [1. Д. 988. Л. 3].

И тем не менее в архиве сохранился документ от 4 февраля 1952 г. за подписью Николая, митрополита Крутицкого и Коломенского о просьбе Отдела внешних церковных сношений Св. Синода Русской Православной Церкви выделить деньги на “приобретение литературного наследия покойного академика Н. Н. Глубоковского” [1. Д. 988. Л. 2]. Однако, судя по имеющейся информации, рукописное наследство виднейшего богослова все же оказалось не в Москве, а у И. Посновой. Так политика вмешивалась в науку, и каждый делал свой выбор, исходя из интересов государства, Церкви, идеологии, мировоззрения.

Борьба с екуменизмом не заслоняла вопроса о дальнейшей судьбе небольших русских православных общин, рассеянных по единой Болгарии. После кончины архиепископа Серафима в Болгарии в 1950 г. было организовано благочиние Московской Патриархии. Благочинным русских православных приходов был назначен архимандрит Пантелеймон (Старицкий). В 1951 г. в юрисдикции Московской Патриархии состояло свыше двух десятков священнослужителей [1. Д. 841. Л. 9–11].

В их числе были кн. Ливен Ольга Андреевна, в монашестве мать Серафима, основательница женского монастыря, а также замечательный иконописец Шелехов Георгий Николаевич. Можно упомянуть и Алексея Алексеевича Городецкого, судьба которого напоминала авантюрный роман. Выпускник юридического факультета Киевского университета св. Владимира в эмиграции служил псаломщиком в брюссельской церкви св. Николая, в Гарфильдской русской церкви в Северной Америке, десять лет проработал в Африке (Бельгийское Конго), где основал с двумя бельгийцами скотоводческую ферму, молочное хозяйство, свиноферму и кофейную плантацию. Получил за образцовое ведение хозяйства личную благодарность бельгийского короля Альберта [1. Д. 16. Л. 74].

В этой ситуации ведомство Карпова пришло к жесткому выводу о том, что благочиние, “если в нем есть надобность, должно ограничиваться русским храмом в г. Софии и возглавляться священником из СССР”. Совет недвусмысленно высказался против траты валюты на содержание духовенства из числа “бывших белогвардейцев”. Советское посольство в Болгарии в своем письме от 6 марта 1951 г. также было согласно с тем, чтобы русские священнослужители возглавлялись священником из СССР. Одновременно предлагалось командировать священнослужителя для ознакомления с положением дел на месте и учесть его мнение при решении вопроса о планируемой реорганизации русских приходов. Вместе с этим ответом посольство прислало политические характеристики на двенадцать священнослужителей, из которых восемь являлись бывшими белыми офицерами. Подчеркивалось, что некоторые из них враждебно относятся к СССР, как архимандрит Кирилл (Попов Александр Александрович), отказавшийся в 1946 г. от приема в советское гражданство [1. Д. 988. Л. 16–17].

В конце мая 1952 г. Московская Патриархия направила в Болгарию в качестве нового благочинного русских православных приходов протоиерея С.В. Казанского. Уже 3 июля 1952 г. он написал митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю о состоянии благочиния подробную справку:

I. Приход в г. Цареброе состоит из 45 верующих, причем все они инвалиды, живущие в доме призрения, где “имеется русский священник, которому разрешается только причащать и хоронить русских инвалидов”. Богослужения он может совершать по разрешению болгарского священника в болгарском храме по будням, когда там нет службы. Содержание священнику выплачивается из средств Московской Патриархии.

II. Приход в г. Русе (Руцук) своего храма не имеет, равно как и организованной общины. Русский священник служит в болгарском храме наравне с болгарскими священниками.

III. Приход в г. Сталине (Варна) также не имеет своего храма, богослужение совершается в болгарской церкви вместе с болгарскими, русских прихожан насчитывается 100–150 человек.

IV. Приход в г. Пловдиве имеет своего священника, который служит в болгарском храме, временно переданном русской общине из 36 семей.

V. Приход в г. Димитрово (Перник) не имеет ни храма, ни русской организованной общины, есть русский батюшка, совершающий богослужения в болгарской церкви вторым священником; при этом приход одновременно состоит в ведении св. Синода Болгарской Православной Церкви и Московской Патриархии.

VI. Приход на Шипке с храмом-памятником, статус которого “до сих пор твердо не определен высшестоящими организациями в Болгарии, является ли он только памятником и должен находиться всецело в ведении Комитета науки, искусства и культуры (КНИК) или этот храм одновременно является храмом для общины. На сегодня этот храм находится в ведении КНИКа, из дел благочиния усматривается, что в штате КНИК есть оплачиваемая должность священника, который должен обслуживать инвалидный дом, где находятся 35 русских инвалидов и только в определенные

дни года имеет право служить". В храме служит архимандрит Сергей (Чернов Николай Гаврилович)<sup>1</sup>.

VII. Приход в с. Княжево имеет своего священника и храм при русском инвалидном доме, прихожане – 180 человек инвалидов.

VIII. Приход в Софии имеет храм во имя св. Николы Чудотворца, община насчитывает 500 человек, есть два священника, диакон и псаломщик. Как подчеркивал протоиерей Сергей Казанский, только этот столичный приход "может считаться нормальным" так как остальные "не отвечают самым минимальным признакам нормального прихода" [1. Д. 974. Л. 67–69].

По монастырям картина была такова: в мужском монастыре св. арх. Михаила числились два архимандрита, один игумен, семь иеромонахов и один послушник, из них шесть человек жили в Софии. Фактически обитель состояла из четырех иеромонахов, иеродиакона и послушника. По национальности все монахи были русские, по гражданству и советские, и болгарские. Женский монастырь в честь Покрова Божьей Матери в с. Княжево состоял из игумении, двух манатейных монахинь, четырех рясофорных и трех послушниц. По национальности – пять болгарок, одна румынка и четыре русских. По гражданству: три советских и семь болгарских [1. Д. 974. Л. 70–72].

Как подчеркивал в своем письме о. Сергей Казанский, из просмотренной им переписки за ряд лет усматривалось, что "русские священники все время жалуются на ущемление их со стороны болгарского духовенства, которое запрещает ... крестить, венчать не только болгар, но даже русских, ограничивая исполнение треб только в храме. Это говорит о том, что наличие русских приходов и священников вызывало и вызывает ... среди болгарского духовенства некоторое неудовольствие и досаду и поддерживает ненужную рознь". Автор письма отмечал, что главный секретарь св. Синода Болгарской Православной Церкви владыка Иона в беседе с ним «осторожно высказал мысль, что болгарская церковь, как и вся страна очень многим обязана России, советской власти и русской церкви, и что наличие русских приходов в Болгарии не может нарушить родственных отношений самых близких сестер по вере, и что совместное существование двух параллельных однородных приходов только укрепляет родственные связи. Но когда... был затронут вопрос, как бы отнеслась болгарская церковь, если бы Московский Патриарх нашел нужным и целесообразным передать русские приходы болгарской церкви, то владыка Иона... с пафосом воскликнул: "Если святейший патриарх Алексей Всея Руси (так в тексте. – В.К.) найдет нужным и возможным передать русские приходы в юрисдикцию болгарской церкви, то это было бы великим актом проявления особой любви к болгарской церкви и болгарская церковь записала этот акт на скрижалих своей церковной летописи" [1. Д. 974. Л. 72–73].

Того же мнения придерживался и митрополит Кирилл. Будущий Патриарх подчеркнул, что он "принимает в свое ведение, обеспечивает всех русских священников пособием наравне с болгарскими священниками, а равно принимает в свое ведение и два монастыря". Общий вывод о. Сергия Казанского был таков: "Высшие иерархи болгарской церкви в большинстве не имеют ничего против того, что существует русское благочиние в Болгарии, но они были бы очень удовлетворены, если бы Русская Церковь передала в их ведение русские приходы и оставила одно подворье для представительства в г. Софии, как это имеет место в Москве... Все они, может быть, имели в прошедшем, какую-либо ценность и необходимость, но на сегодня они не приходы, а только фикция... Что касается мужского монастыря, то там все

---

<sup>1</sup> Храм-памятник в с. Шипка был освящен в 1902 г. и находился в административном ведении Российской дипломатической миссии, в духовном отношении – в ведении св. Синода и в прямом управлении митрополита Петербургского. После разрыва отношений в 1915 г. заведение храмом было возложено на о. Сергия. В 1934 г. храм-памятник был подарен болгарскому народу.

русские, но для того, чтобы его оживить, т. е., чтобы он мог существовать самостоятельно, а это по современному времени является главным условием существования всякого монастыря, туда должны влиться другие силы, которые могли себя обрабатывать, а это может сделать только болгарский Синод, у которого много монастырей” [1. Д. 974. Л. 73–74].

10 ноября 1952 г. по решению св. Синода Русской Православной Церкви находящиеся в Болгарии русские православные приходы, монастыри, клир и монашествующие передавались в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви.

Одновременно св. Синод Московской Патриархии постановил “братски просить Св. Синод Болгарской Православной Церкви простереть любовь и заботу на вышеперечисленные приходы, монастыри и клир и сохранить, по принятию в свою юрисдикцию, русский духовный уклад и быт в Кокалянском м-ре (св. арх. Михаила. – В.К.), согласно просьбы его братии... С момента подписания приемо-сдаточного акта передачи упомянутых приходов, монастырей и клира в юрисдикцию Болгарской Православной Церкви считать благочиние Русских Православных общин в Болгарии упраздненным, с оставлением прот. С. Казанского в должности Настоятеля Свято-Николаевского Русского Православного храма в Софии, который именовать Подворьем Московской Патриархии” [1. Д. 975. Л. 49]<sup>2</sup>.

Однако с самим о. Сергием Казанским было все не просто. В мае 1953 г. о нем писали в Москву, в ведомство Карпова, что он “не пользуется любовью своих прихожан, так как в первое время своего пребывания в Болгарии допустил ряд неправильных действий, оттолкнувших от него верующих. Им, например, был закрыт для посещения склеп с останками архиепископа Серафима, находящийся под алтарем церкви, что вызвало большое недовольство прихожан” [1. Д. 1101. Л. 91]. Сам “виновник” уже в Москве, куда он вернулся 6 июня 1953 г., в обязательной беседе с Карповым говорил, что через месяц жизни в Болгарии он “обратил внимание, что в храм св. Николая заходят верующие в подвал к гробнице архиепископа Серафима и суют какие-то записки в гробницу”. При ее обследовании он “обнаружил с трех сторон специальные отверстия, в которые, как в почтовый ящик, и опускали записки”. Пришлось вызвать рабочего и зацементировать отверстия. Однако “поток записок и писем не прекратился. Их стали оставлять около надгробия ... позже выяснилось, что архиепископ Серафим перед смертью говорил, что все, кто хочет получить благодать, должны присылать ему письма. Группа его единомышленников постаралась распространить это “завещание” среди верующих и раздуть почитание Серафима. В Болгарии Казанский “своим заместителем оставил и передал дела монаху Канабееву, которому оставил инструкцию не допускать служить в храме Николая чудотворца поклонников архиеп. Серафима и, в частности... болгарское духовенство, а особенно монахов б. Кокалянского монастыря” [1. Д. 1101. Л. 109–110].

В настоящее время около гробницы имеется своеобразный почтовый ящик, куда многочисленные верующие кладут свои записки архиепископу Серафиму.

Однако история с ликвидацией русских приходов получила позже свое продолжение. Во второй половине 1950-х годов в Москве встал вопрос о закрытия самого Подворья Московского Патриархата. Помог МИД. 11 января 1957 г. его руководство

---

<sup>2</sup> Следует напомнить, что Болгария в начале 1950-х годов стала одной из стран, куда высылались русские из Югославии, где они с началом советско-югославского конфликта стали нежелательным “элементом”. Так, в 1953 г. на болгарской земле в Капиновском монастыре “Св. Николай” (близ с. Велчово, Тырновской епархии) нашли прибежище десять монахинь из монастыря “Благовещение”, имевшие советское гражданство [1. Д.1426. Л. 93–95]. Их бывшая игуменья схиигуменья Мария (Дохторова), у которой с ее сестрами возникли “нестроения” [1. Д. 974. Л. 61–63], несколько позже также переехала в Болгарию и поселилась в скиту преподобной Петки-Параскевы вблизи Софии. Все русские монахини находились под особым покровительством болгарской высшей иерархии.

сообщило Карпову, что хотя расходы на содержание Подворья составляют примерно 39–40 тыс. руб., а доходы – 30 тыс., но закрытие нецелесообразно, так как это естественно приведет к закрытию Подворья Болгарской Православной Церкви в Москве, “против чего возражает Синод БПЦ” [1. Д. 1534. Л. 1].

Итак, история Русской Церкви в Болгарии в послевоенный период, в сущности, свелась к закрытию русских православных приходов и монастырей. “Белогвардейцы” не были нужны ведомству Карпова, за которым почти всегда было право окончательного решения. Отдельные русские священнослужители были востребованы Московской Патриархией и Советом по делам Русской Православной Церкви в основном в сфере борьбы с экуменизмом. Символом единения до сих пор остается храм-памятник Русской славы на Шипке.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив РФ. Ф. 6991. Оп. 1.



© 2003 г. А. ИВАНОВА

## СЕРБИЯ В КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ ИВАНА ВАЗОВА

Постоянный рост исследовательских точек зрения на литературное наследство патриарха болгарской словесности Ивана Вазова – естественное следствие накопившегося числа идеологов. Наряду с неизменной интеллектуальной склонностью к переживанию и художественному перевоплощению всего болгарского Вазов категорично и ясно выступает и как активный сторонник славянской идеи. В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что любые наукоподобные попытки насильно отлучить писателя от его славянофильских убеждений не могут и никогда не смогут подорвать и разрушить твердо укоренившееся и непоколебимое в болгарском сознании представление о Вазове как “великом сыне славянства” (это определение принадлежит И. Богданову [1. С. 11–12]).

Тот исторический факт, что формирование Вазова-поэта совпало по времени с борьбой за политическую и духовную независимость сербов, хорватов, населения Герцеговины и др., существенно повлияло на его мировоззрение и неизменно отражалось в его творчестве [2. С. 55]. Вазов неуклонно следовал идеалу славянского единства, который в чистом виде сохранился в его творчестве для последующих эпох и поколений. Корни устойчивости славянофильских чувств писателя лежат в его глубокой сопричастности животрепещущим проблемам славянских народов. В произведениях Вазова широко раскрывается подлинность славянской идеи в ее константно-стабильном виде, не затронутом деформациями, которые она претерпела в других славянских странах. Достаточно перечислить хотя бы некоторые типичные формы подобных деформаций, о которых говорит И. Конев: гегемонистские отклонения от иллиризма, мировоззренческий страх русского самодержавия перед свободным развитием и будущим других славянских народов, панславизм с присущим ему консерватизмом, югоцентризм сербской официальной политики XIX в. и ее распространение на Балканах [3. С. 130].

Естественно, что в значительной части исследований, анализирующих идею славянской общности и взаимности у Вазова, обращается внимание на русофильство писателя как неотъемлемую часть его патриотизма. Следует добавить, что для полноты картины славянофильства болгарского классика можно привлечь и подвергнуть анализу и другие образы и представления из его многотомного творческого наследия.

На бесспорную восприимчивость Вазова сущностных фактов и событий справедливо обращает внимание и его отношение к западной соседке Болгарии. У нас восприятие Вазовым Сербии в большинстве случаев отождествляется прежде всего с произведениями, тематически связанными с сербо-болгарской войной 1885 г., с превознесением болгарского воина и болгарского оружия как непреложного долга ав-

тора, с бессмертием неумолкающего траурного марша, звучащим над Новым кладбищем у Сливницы, но и со словами непонимающей логику братоубийственной войны бабушки Цены из рассказа “Идет ли?”: “Ведь все божьи христиане... А почему бились?...” В этих горьких словах о разрушенном войной пространстве славянского Юга звучит удивление героини быстрым крахом изначальной славянской общности.

Объемность образа Сербии у Вазова показывают и другие тексты, которые говорят о разнообразии творческих подходов к нему, а также об особенных, сущностно-симптоматических признаках в культурной и общественной жизни этой южнославянской страны. В этом отношении критика и публицистика Вазова представляют достоверный материал. Вазов-журналист, активно проявляя интерес к Сербии, на практике реализует “идею, которую условно можно обозначить как сознание социального и гуманитарного общения” [4. С. 185].

Значительная часть литературно-критических и публицистических работ Вазова сохраняет и продолжает его возрожденческий идеал болгаро-сербских взаимоотношений, оформившийся под непосредственным воздействием болгарских революционно-демократических идей 70-х годов XIX в. Поэтому в его представлениях со всей категоричностью укоренился образ “братской Сербии”.

Неслучайно в рубрике “Критика и библиография” журнала “Наука” (1883. Кн. 11–12) Вазов упоминает издание “Писем о Сербии” деятеля Возрождения Т. Икономова – книгу, представлявшую для своего времени энциклопедическую ценность. Патриот Вазов не стыдится, соглашаясь с Т. Икономовым, когда тот, “говоря о литературе и науке в Сербии, признает, что в этом отношении сербы стоят выше нас” [5. Т. 19. С. 440]. И в то же время писатель подчеркивает, что в “сербизации” Пирота “применялись и недозволенные средства” [5. Т. 19. С. 439]. Тем не менее Вазов поддерживает тезис автора книги, проистекающий из славянофильской идеи, в возможностях практического приложения которой он убежден: “Болгары в Сербии и сербы в Болгарии должны себя чувствовать, как дома” [5. Т. 19. С. 439].

Публицист Вазов выбирает и приводит факты и детали южнославянской взаимности в борьбе против турецкого рабства (1813–1815). Представляя 15-ю книжку периодического журнала Болгарского литературного общества в газете “Нардний глас” (1885. № 543. 17 VIII), автор сочетает специфику жанра аннотации и эмоции критика: “Статью Рачо П. Славейкова прочли с благодарностью. В ней прекрасно описаны, верно схвачены и интересно представлены характеры и подвиги нескольких наших соотечественников, которые своим героизмом прославили войну за освобождение Сербии” [5. Т. 19. С. 231].

Дополнением к творческому облику Вазова служат также его критические и публицистические материалы о сербо-болгарской войне. Независимо от того, что сердце большого патриота Вазова после прочтения книги “Портреты и биографии погибших болгарских офицеров и портупей-юнкеров в войне с Сербией в 1885 г.” (1890) “полно скорби и в то же время национальной гордости”, а в его рецензии подчеркивается достоверность “описаний их героической смерти на полях сражений”, писатель не упускает возможности упомянуть, что все это происходит во время “братоубийственной войны” [5. Т. 20. С. 101].

Яркий свет идеи о счастливом южнославянском будущем озаряет надежды Вазова на гармонизацию жизни этих народов. Резким контрастом с более поздним по времени образом “южнославянского Каина” представляет в статье писателя “поездка его величества сербского короля Милана в Русчук” (Народний глас. 1882. № 333. 13 X) личность Милана I. Королевская особа изображена в контексте южнославянской идеологии: “...мы ... желаем воспринимать этот факт как новую гарантию еще более добрых отношений между обоими правительствами в будущем и как ясное предзнаменование добрых дел, которые мы в праве ожидать от судеб славянства... Следовательно, мы сердечно и братски приветствуем его величество сербского короля Милана I и желаем ему во имя интересов южных славян обрести силы и мощь для успешного достижения цели: южнославянского единства и его укрепле-



ния” [5. Т. 19. С. 289]. Этот публицистический портрет короля Милана в довоенные годы полностью адекватен его образу, созданному Вазовым в заметках специфического журналистского жанра “ситнежи” (мелочь, крохи): несмотря на “грустные воспоминания”, “высокий гость”, прибывший 26 января 1899 г. по случаю погребения княгини Марии-Луизы (1870–1899), «вежлив, общителен, остроумен; он произвел впечатление доброго гостя и доброго человека на всех, с кем разговаривал. Господину Н. И-ву<sup>1</sup> он сказал во дворце: “Я приехал в Болгарию один, чтобы опровергнуть молву, что я будто бы враг болгарам, и чтобы доказать, что я желаю дружеского и братского согласия между болгарским и сербским народами»» [5. Т. 20. С. 286]. Этой характеристике соответствует и обобщающее высказывание писателя: “И мы всем сердцем желаем того же” [5. Т. 20. С. 286].

Убежденность Вазова в значимости художественной литературы для болгарской культурной среды способствовала и утверждению в читательских кругах Болгарии того времени ряда имен сербской литературы. В этом отношении важную роль играют характеристики, которые в своих рецензиях Вазов дает сербским авторам. В них он говорит о художественных достоинствах и о своеобразии произведений того или иного автора, а также о культурной эмблематике писателей. Так, например, о повестях известного сербского писателя и этнографа, последователя Вука Караджича М. Миличевича (1831–1908) Вазов пишет, что в них описываются “эпизоды из жизни народа, которые свидетельствуют о большом наблюдательском таланте писателя, о его правдивости, верно взгляде и легком художественном стиле” [5. Т. 19. С. 524]. Им помещено сообщение о награждении премией им. Мариновича Сербской королевской академии двух повестей: “Он зна све” (“Он знает все”) Л. Лазаревича и “Ново оружје” (“Новое оружие”) С. Матавуля [5. Т. 20. С. 104]. Оба автора по своему художественному профилю близки специфическому бытовому реализму и утверждают идеал новой личности под воздействием фольклора и народных традиций. Вазов отмечает и чествование сорокалетия литературной деятельности Й.Й. Змая (занявшего к тому времени прочное место в духовной жизни Болгарии), которое прошло в Вене по инициативе сербского академического общества “Зора”. Это был и повод для таких патетических определений, как “национальный и плодovitый корифей сербской поэзии” [5. Т. 20. С. 66–67].

Будучи авторитетной личностью в болгарском обществе, Вазов превращает свою критику и публицистику в средство формирования представления о западном соседе, исходя при этом из славянофильской идеологии. Выбор значимых, с точки зрения автора, культурных феноменов вписывается в доброжелательную программу конструктивного диалога между близкими культурами. Вазов выходит за рамки узконационального, но в то же время выбирает то, что, по его мнению, значимо для восприятия болгарского. Так, образ Сербии в критике и публицистике Вазова становится важным компонентом единения славянских культур, существенная часть которых – южнославянская литература.

Перевод *Н.Н. Пономаревой*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Богданов И.* Великий сын славянства // Славяни. 1961. Кн. II.
2. *Вълчев В.* Иван Вазов и славянството // Език и литература. 1963. № 5.
3. *Конев И.* Славянската идея и нейната съдба // *Конев И.* Ние сме цивилизован народ. София, 1994.
4. *Конев И.* Ние сред другите и те сред нас // Литературни взаимоотношения. София, 1984.
5. *Вазов И.* Събрани съчинения в 22 тома. София, 1979.

<sup>1</sup> Вероятно, полковник Н. Иванов, в то время военный министр.



© 2003 г. А. ГАЛЬВОНИК

## СЛОВАЦКАЯ ПРОЗА ПОСЛЕ 1989 ГОДА

В 1989 г. в бывшей Чехословакии произошла не только принципиальная смена режима; принципиально трансформировалось также понимание мира и общества. Изменились не только политические и общественные структуры, не только образ жизни; не менее серьезные перемены коснулись и духовной сферы. Думаю, нет нужды пространно рассуждать о том, какие новые качества принесли данные процессы. Через несколько лет, в 1992 г., все это привело и к самостоятельности Словакии, и к ее разлучению с традиционным, более чем пятидесятилетним партнером – Чехией, которая также стала независимым государством.

Эти изменения не могли не отразиться на положении литературы в обществе и постепенно воздействовали на ее внутренние процессы. Конечно, и сегодня, спустя более чем десятилетие, вряд ли кто-либо отважится точно сказать, в какие конкретные формы вылились все эти перемены и можно ли хоть что-то с уверенностью назвать современным *status quo* словацкой литературы. В ее истории всегда присутствовали произведения и авторы, которые своим размахом в известной мере синтезировали искания поколений или литературных направлений. В отличие от предыдущих исторических переломов, на которые словацкая литература реагировала в основном спонтанно и идеологически, после 1989 г. таких произведений или авторов просто нет. Литераторы с воодушевлением приветствовали перемены, но в конкретных произведениях это воодушевление проявилось скорее в повышенном проблематизировании тем и, парадоксально, – эстетизации и интеллектуализации прозы. К тому же любое преждевременное обобщение оказалось бы достаточно рискованным, поскольку оно до сих пор не было сформулировано литературной критикой, чья адекватная и системная рефлексия могла бы по крайней мере “нанести на карту” литературный процесс и подготовить почву как для выявления его деталей, так и для обобщений. Словацкая критика все еще находится в состоянии некоего брожения, целевые контуры которого до сих пор остаются неясными. Во всяком случае, очевидно, что речь идет о качественно новом трансформирующем процессе, кризисность которого должна была бы породить новые концепции современности и будущего цивилизации и национальной литературы. Это, однако, не является спецификой Словакии – скорее, побочным явлением меняющегося бытия, в котором литература явно утратила свои традиционные позиции духовного арбитра и вынуждена смириться с положением одной из составляющих коммерциализирующегося мира.

После 1989 г. все ждали появления книг, которые ранее не могли быть опубликованы или даже написаны. Подобные ожидания оправдались лишь отчасти: оказалось, что самое лучшее из литературного наследия предыдущего периода в конце концов вышло в свет при социализме, а в столе остались лишь второстепенные про-

---

Гальвоник Александр – директор Литературного информационного центра в Братиславе.

изведения, славы которым не прибавил даже былой ореол запрещенности. Обнаружилось также, что новая волна авторов, которой демократия и свобода развязали бы крылья, не подготовлена. Если трансформация и происходила, то речь шла прежде всего об изменениях глубоко внутренних, глубоко укорененных в романах и текстах предшествующей эпохи и лишь постепенно обретающих более ясные контуры, но и это – не столько в темах и их художественном воплощении, сколько в новом отношении и восприятии парадигм литературного произведения и его поэтических и эстетических противостояниях.

Характерно, что после 1989 г. не возникло произведений, которые были бы инспирированы лишь внешними переменами, как это часто бывает в переходный период; скорее здесь видны преемственность и акцентирование того сущностного критицизма по отношению к человеческой судьбе, который был основной чертой словацкой литературы (как прозы, так и поэзии) со второй половины 50-х годов XX в. Глубокая укорененность литературы в этом критицизме на грани рационального, интуитивного и фантастического надежно защищала словацкую прозу от дешевого политизирования, эротизирования, мистицизирования или “бульваризирования”, которые хотя и проявились в некоторых прозаических произведениях в виде отдельных элементов, но все же до сих пор не стали целостным и однозначным течением, серьезным образом отрицающим предшествующее развитие словацкой литературы. Поэтому сегодня для литературного процесса характерно скорее возвращение издателей и читателей (в меньшей степени критики) к ранним произведениям таких плодовитых авторов как Р. Слобода, В. Шидула, Я. Йоганидес, П. Ярош, Д. Татарка, П. Груз, Л. Баллек, П. Виликовский, Д. Митана, Д. Душек, А. Балаж, Ю. Балцо, М. Бутора, книги которых на протяжении десятилетий представляли собой авангард литературного движения и придавали литературе необходимую интеллектуальную и эстетическую энергию. Каждый из упомянутых авторов прошел свой путь и собственную эволюцию, но по существу можно обо всем этом поколении сказать, что первоочередной его творческой задачей было сломать романтически-натуралистскую и социально-критическую традицию, которая более полувека представляла собой основу восприятия мира, и выработать современную литературную форму, являющуюся синтетической проекцией рационального и духовного. Это течение было инспирировано главным образом французским экзистенциализмом и опирающимися на него направлениями (новый роман, сегментарные тексты), а потому в нем с самого начала совершенно естественно обнаруживались индивидуально трансформированные элементы постмодернизма, интертекстуальности и деконструкции, которые мы сегодня воспринимаем более отстраненно и ясно, чем во время их возникновения. Очевидным признаком данной тенденции были всеохватный скепсис и релятивизация, акцентуруемая юмором, иронией и обращением к магическому, причем основой мироощущения их создателей оставалось экзистенциальное содержание с элементами трагического и абсурда.

В жанровом отношении это поколение перешло от повести и рассказа к роману, чтобы затем вновь вернуться к малой форме или сегментированным текстовым структурам. При этом интересно, что более молодые авторы – своего рода “интергенерация” (Й. Пушкаш, П. Голка, Я. Тужинский, И. Гудец, А. Ферко, П. Юшчак, Л. Юрик, М.М. Шимечка, Э. Глаткий, И. Отченаш, В. Матюга, Б. Шидула, Б. Бодач) – в целом отказались от этой ориентации и стремятся либо к более реальному видению и выразительности (Юрик, Матюга, Шимечка, Шидула), либо к переводу реальной истории в область магического сна (Голка, Тужинский, Глаткий, Ближниак, Шуплата, Отченаш), а их излюбленным жанром является рассказ. Конечно, и здесь речь идет о чрезвычайно своеобразных писательских индивидуальностях, искать у которых общие признаки по меньшей мере рискованно. Объединяет их прежде всего скепсис в отношении индивидуума и общества и поиск пространства для самореализации литературного героя, отвергающего любой конформизм.

В творчестве многочисленной самой младшей и, бесспорно, самой талантливой поколенческой волны (В. Панковчин, П. Ранков, Балла, П. Пиштянек, Д. Тарагель, М. Гворецкий, Т. Горват, П. Шулей, Й. Гировский, М. Минарик) заметны прежде всего два стремления: 1) уловить в суровой действительности реальную угрозу человеку и человеческому индивидууму; 2) отразить более широкие онтологические связи человеческого существования, объяснить ими человеческую судьбу и найти истоки нового типа неантропоцентрического гуманизма. Представителями первой линии являются такие авторы, как Пиштянек, Тарагель, Гворецкий, Горват, Шулей и Гировский, другую, в первую очередь, составляют имена Панковчина, Ранкова. Однако и там, и там имеет место попытка проникнуть в мир, переплетенный информационными сетями, медийными манипуляциями, бизнесом и теневой экономикой, в мир, который стремится к вершинной стадии глобализации, коммерциализации и потребления. Если в первом направлении однозначно преобладает действие в соединении с информационными технологиями (компьютеры, Интернет), то в другом жесткая реальность смягчается лирилизацией и поэтизацией, переходами к фантастическому, таинственному и магическому. В обоих случаях, однако, очевидна инспирация научной фантастикой, литературой мистери и фэнтези, причем часто происходит нарушение жанровых и поэтологических границ этих жанров.

Особый слой в словацкой литературе представляют авторы-женщины. Интересно, что женщины в своем творчестве редко присоединялись к главным или авангардным течениям, хотя никогда не оказывались и совершенно вне их влияния. Это отдают нежелательным обобщением, но рискнем заметить, что словацкие писательницы словно бы пользовались формальными достижениями своих спутников-мужчин, но при этом всегда держались своей главной темой: положение женщины в обществе, в семейных отношениях, восприятие действительности с точки зрения матери, возлюбленной, партнерши. Одни писательницы (Я. Юранева, Э. Фаркашова) предпочитают интеллектуализацию, другие – психологизацию (В. Швенкова, Я. Боднарва, П. Саболова), поэтизацию (Р. Лихнерова, В. Шиколова), своего рода юморизацию и эротизацию (Г. Дворжакова, Г. Ротмайерова, М. Зимкова, Д. Завадова), иные сосредотачиваются на повествовании о женских судьбах на историческом или современном материале (Г. Зелинова, Т. Келлеова-Василькова).

Характерным явлением после 1989 г. стало то, что многие заслуженные прозаики обращаются к эссеистике и публицистике, что можно считать не только результатом давления реальной действительности, но и составной частью поиска новых отправных точек для прозаического творчества. С книгами эссе выступили, например, Л. Баллек, Я. Тужинский, А. Гикиш, П. Груз, П. Виликовский, Д. Митана, Я. Йоганидес, Э. Фаркашова, А. Ферко, Г. Мурин, В. Швенкова.

Среди лучших прозаических произведений последнего десятилетия мы можем назвать прежде всего такие книги как: Р. Слобода “Кровь, “Осень”, Воспоминания, Любовь”; В. Шиколова “Роза ветров”, “Орнамент”; П. Ярош “Подаяние-петля”; Я. Йоганидес “Наказующее преступление”; П. Виликовский “Жестокий машинист”, “Последний конь Помпеи”; Д. Душек “Пешком на небо”; Ст. Ракус “Темпоральные замечания”; А. Балаж “Лагерь падших женщин”; П. Голка “Щель (в тринадцатую комнату)”; Р. Добиаш “Тайные люди”; П. Груз “Спаривание одиночек”; Д. Митана “Крещение огнем”; П. Шулей “Elektronic café”; М. Гворецкий “Ловцы и собиратели”.

Перевод со словацкого Н.В. Шведовой



© 2003 г. С. М. БЕЛЯКОВА

## ПРИЗНАКИ “ГЛУБОКИЙ” И “ВЫСОКИЙ” В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Одной из важных проблем, обсуждаемых в этнолингвистической науке, является проблема признака в языке традиционной культуры. Как пишет С.М. Толстая, «реальные объекты окружающего мира обладают бесчисленным множеством самых разнообразных свойств, в то время как лишь очень немногие из них получают осмысление и обозначение в языке. Среди этих “немногих” отобранных языком признаков и свойств далеко не все наделяются культурными функциями. Происходит как бы **вторичный отбор** из уже отобранного» [1. С. 2–3]. К этому можно добавить, что один и тот же признак может восприниматься и оцениваться по-разному в различных типах культуры, т.е. иметь несколько кодов в пределах одного языка.

К наиболее важным локативным (параметрическим) признакам относится оппозиция “верх – низ”. Во многих культурах, в том числе и славянской, она трактуется однозначно – как “положительное – отрицательное”. Однако при рассмотрении характеристики “низ (нижний)” в этнокультурном смысле, как правило, не принимается во внимание признак “глубокий”, так же, как и признак “высокий” по отношению к понятию “верх”, хотя в лингвистическом плане данные прилагательные описаны в целом ряде работ. См., например, работы Ю.Д. Апресяна [2], Л.И. Ивановой [3], Р. Гжегорчиковой [4. С. 78–83], С.Ю. Семеновой [5. С. 117–126] и др. Как известно, признак “глубокий”, относясь к “низу”, выражает положительную оценку, характеризуя интеллектуальную деятельность (*глубокие знания, мысли*) или эмоциональную сферу (*глубокое чувство, в глубине души* и т. п.). Ср.: *поверхностные знания, “быть чувства мелкого работ”*. Признак “высокий” “закономерно” содержит положительную оценку, однако более определяет сферу моральную (*высокая мораль, возвышенные чувства, “дум высокое стремление”*) или деятельностьную (*высокий полет* – в переносном смысле).

То же мы находим и в других славянских языках: болг. *възвишени пориви*; серб. *узвишена идеја, високоморален*; словац. *vznešenu cit* (возвышенное чувство); укр. *глибина думок*; болг. *дълбок смисъл*.

Отметим, что характеристики “глубокий – высокий” в русском языке не являются противопоставленными, однако в народной культуре определенная оппозитивность присутствует. Так, В. Даль определяет существительное *глубота* следующим образом – “высота, вышина в обратном смысле” [6. Т. 1. С. 241].

Заслуживает особого внимания применение прилагательного *глубокий* по отношению к возрасту человека или обозначению времени. Оно характеризует возраст

человека как очень большой, преклонный (*глубокий старик*), а время – как отдаленное прошлое (*из глубины веков, глубокая древность, “преданья старины глубокой”*). См. также: *Далеко то, что было, и глубоко-глубоко: кто постигнет его?* (Екклесиаст, VII, 24). Еще более наглядно этот признак выражается в русских говорах, а также в просторечном употреблении. Например: *Года уж глубокие, я с двадцать второго года. Долго ли сунуться-та, глубоки года пришли. Глубокой раности я не помню* (тюмен., зап. авт.). *Я не очень глубокая, давношняя. Така што глубока, стара была бы, рассказала б вам. До глубокого веку не дожить ему* (арх. [7. Т. 9. С. 112]). Широко представлены различные варианты смысла “под уклон”, что тоже можно трактовать как определенную связь с “глубиной”: *преклонный возраст, на склоне лет; диал. уклонный возраст, годы уклонные* (тюмен., зап. авт.), *идти вниз “стариться”* (арх. [7. Т. 7. С. 92]); прост. *ехать под гору*.

Подобная картина отмечается во многих славянских языках: болг. *дълбока старост, дълбоки старини; преклонна възраст*; словац. *hlboka minulost*. Однако в чешском, а также словацком языках в данном значении используется признак “высокий”: чеш. *vysoký věk* (преклонный возраст), *vysoké staří* (глубокая старость); словац. *vo vysokom veku* (в преклонном возрасте). Имеется параллель и в говорах русского языка: *Дак чё уж, годы-то высоки, нажилися* (урал. [8. Дополнение. С. 95]). *Годы-то высоки* (много лет). *Витька выше тебя на два года* (арх. [7. Т. 8. С. 219]). Кроме того, в архангельских говорах прилагательное *высокий* может иметь значение “глубокий”. См., например, следующие контексты: *Юла-то (река) быстра, высока. Струга – мелко и вдруг высоко* (арх. [7. Т. 8. С. 219]). Это позволяет говорить об амбивалентности высокого и глубокого в славянской культуре, по крайней мере, в некоторых ее вариантах. Интересно в связи с этим замечание С.Ю. Семеновой о том, что лексемы *высота* и *глубина* “обозначают области пространства, расположенные на большом расстоянии вверх и вниз от горизонтальной плоскости отсчета” [5. С. 122] (выделено нами. – С.Б.), т.е. можно сказать, что в определенном смысле высота = глубина = большая величина. Укажем и на тот факт, что латинское *altus* означает не только “высокий”, но и “глубокий”: *altus mons* “высокая гора” – *altum flumen* “глубокая река”. Примеры амбивалентности, почти тождественности верха и низа можно найти в художественных текстах, например у И. Бунина: *И так же будет неба дно/Смотреть в открытое окно* (“Настанет день – исчезну я...”) или В. Высоцкого: *груз тяжких дум наверх меня тянул* (“Мой Гамлет”).

Заметим, что в традиционной русской культуре признак “глубокий” в целом выражен достаточно специфично. В имеющихся диалектных словарях система переносных значений, развиваемых соответствующим прилагательным, отличается от той, что представлена в литературном языке. В говорах, как правило, развиваются различные локативные и темпоральные значения. Приведенные выше словосочетания (*глубокая мысль, чувство* и т.п.) носят явный отпечаток книжности и в известных нам диалектах не фиксируются.

Прилагательное *глубокий* в диалектных текстах сочетается со словами *омут, река, яма, вода, колодец, снег*. Например: *Колодцы копали, мы их называли казённики. Глубокий, метров двадцать пять, глянешь – ведра не видно* (тюмен., зап. авт.); *Сёгуду глубока вода-то была* (о половодье) (арх. [7. Т.9. С. 112]); *Снег глубочашчей, лошади (идти) не могут* (арх. [7. Т. 9. С. 114]). Оно может содержать как слабую положительную оценку (пословицы *Глубокая вода не мутится; Снег глубока – год хорош*), так и слабую отрицательную, часто имплицитную (ассоциации с нечистой силой, которая помещается в глубоком омуте или другом глубоком месте). Так, например, в тюменских говорах *глубокий овраг*, по дну которого течет ручей, называется *черторой*: *Черторой – место глубокое, черт мерил-мерил да веревку порвал* (тюмен., зап. авт.). См. также следующий текст: *В реке русалкой речной страцали нас. Место было глубокое. Баушка говаривала: “Не надумайтесь идти на реку вечером, русалка там сидит, косы чёшет, увидит – курнёт в воду”* (тюмен., зап. авт.). Ср. также пословицы: *Где много воды, там жди беды; Тиха вода, да омуты глубоки*.

Сюда же можно отнести и пословицу *В тихом омуте черти водятся*, так как в значении слова *омут* присутствует лексема “глубина”. Как представляется, можно провести параллель между темпоральным и локативным значениями признака “глубокий” в народной культуре. Справедливо замечание Т.А. Бернштам о том, что слишком долгая жизнь человека, очень преклонный его возраст (глубокая старость) объясняются в народном сознании связью такого человека с нечистой силой [9. С. 210–211]. Та же связь легко обнаруживается и в прилагательном *глубокий*, обозначающем атрибут воды или рельефа.

Что касается признака “высокий”, относимого к морально-этической сфере, то подобное употребление также носит книжный характер и служит положительной оценкой. Исключением является прилагательное *высокомерный* и фразеологизм *смотреть свысока*. (Ср. также болг. *гледям някого отвисоко*, чеш. *vysokomyslny* – высокомерный.) Здесь диалектная речь дает нам весьма выразительные примеры. В говорах отмечаются прилагательные *высокомерный* “эгоистический, себялюбивый” (кург. [10. С. 28]), *высокоумый* “высокомерный, гордый” (урал. [8. Т. 1. С. 95]), *высокий* “высокомерный, надменный” (арх. [7. Т. 8. С. 220]); глаголы *высоколомиться* “гордиться, зазнаваться” (кург. [10. С. 28]), *высокомерить* “держаться высокомерно” (перм. [11. Т. 1. С. 189]), *высокосить*, *высокоумничать* “умничать, смотреть на других свысока” (урал. [8. Т. 1. С. 105]) и др. Весьма красноречива и лексема *вздыморылый* с тем же значением, зафиксированная нами в тюменских говорах. Все эти слова обозначают одно человеческое качество – высокомерие, заносчивость, которое традиционно осуждается народной этикой. Например: *Она всегда высоколомилась, когды говорили о ее сыне* (кург. [10. С. 28]); *Идет, высокосит: я – не я* (урал. [8. Т. 1. С. 105]); *Мало ли другой раз подсмеивается человек, высокомерит, людей не считает за людей* (перм. [11. Т. 1. С. 189]); *Шибко высока была – ни с кем не поздороваце* (арх. [7. Т. 8. С. 220]). См. также русские пословицы: *Высоко летает, да где-то (низко) сядет*; *Высоко залетел – больно падать будет*; *Высок репей, да черт ему рад*; *Высоко замахнулся, да низко стегнул*; *Высоко поднял, да низко опустил*; *Не гляди высоко, запорошишь око*. Ср. болгарскую пословицу *Високото дърво сянка не дава* [12. С. 218] (высокое дерево тени не дает).

Таким образом, пространственные координаты, оппозиция “верх – низ” в языке и культуре оцениваются не столь прямолинейно, как принято считать. Особая отмеченность этих характеристик порождает разноплановые коннотации. В то же время между ними существует определенный параллелизм, позволяющий соответствующим прилагательным развивать энантиосемию. Кроме того, как было показано, имеются существенные различия в отражении признаков “высокий” и “низкий” в традиционной и элитарной культурах.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстая С.М. Признак в языке культуры // Живая старина. М., 2001. № 3.
2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
3. Иванова Л.И. Полисемия русских прилагательных линейного пространственного измерения. Автореф. ... канд. филол. н. Воронеж, 1981.
4. Гжегорчикова Р. Понятийная оппозиция верх – низ (пол. *wierzch – spod*) и языковая модель пространства // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.
5. Семенова С.Ю. О некоторых свойствах имен пространственных параметров // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2001. Т. 1–4.
7. Архангельский областной словарь. М., 1980–. Т. 1.
8. Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск-Екатеринбург, 1964–1996. Т. 1–7.
9. Бернштам Т.А. Молодость в символизме переходных обрядов восточных славян. Учение и опыт церкви в народном христианстве. СПб., 2000.
10. Лютикова В.Д. Словарь диалектной личности (с. Кодское Шатровского района Курганской области). Тюмень, 2000.
11. Словарь говора деревни Акчим Пермской области. Пермь, 1984–. Т. 1.
12. Български пословици и поговорки / Сост. М. Григоров, К. Кацаров. София, 1986.



*М. ОТАГАЛ. Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha, 2002. 105 S.*

*М. ОТАГАЛ. Нормализация 1969–1989. К вопросу об изученности проблемы*

Книга, о которой идет речь, является превосходным образцом строго научного подхода к проблеме изучения периода нормализации в Чехословакии (1969–1989). Это первое исследование в данной области, имеющее столь всеобъемлющий и профессиональный характер.

Систематическое деидеологизированное изучение периода нормализации чешскими историками берет свое начало с момента основания Института современной истории АН ЧР вскоре после Бархатной революции (S. 16–17). Успехи, достигнутые в данной области, позволили уже к 1995 г. говорить о целом ряде работ по истории нормализации. В 1997 и 1999 г. вышли в свет обширные библиографические указатели трудов по истории Чехии, написанных в 1990–1995 и 1996–1999 гг., соответственно [1]. Периоду 1969–1989 в указателях отводились самостоятельные разделы. Именно на них, помимо собственного исследовательского опыта, опирался М. Отагал при выборе анализируемой литературы.

Историографическому исследованию в книге предшествуют два небольших вводных раздела. Первый из них, “Предисловие”, показывает развитие понятия “нормализация” и его трактовку М. Отагалом. Будучи одним из крупнейших специалистов в данной области историк опирался на собственные исследования [2]. Кроме того, в “Предисловии” даются критерии выбора литературы (ориентация, главным образом, на работы чешских авторов, опубликованные после 1989 г.); разъясняется струк-

тура исследования. Цель книги в целом формулируется так: «показать состояние изученности данного периода истории, а также, по возможности, дать оценку достижениям в этой области и обратить внимание на “белые пятна»» (S. 5–6).

Второй вводный раздел, “Вступление”, представляет собой краткий анализ этапов развития научной дисциплины “история современности” в чешской исторической науке, которая включает изучение нормализации.

В структуре исследовательской части книги ясно просматриваются два самостоятельных раздела. Условно их можно обозначить как общепаналитический и тематический. В первом М. Отагал характеризует всю существующую историографию по избранной теме как таковую, учитывая и те работы, которые вышли до 1989 г. В поле его зрения оказываются современная институциональная основа изучения нормализации, его источниковая база, методология, существующие библиографические сборники [3]; публикации документов оппозиции и государственных органов [4] и разработанные к настоящему времени хронологии (правильнее было бы назвать их хрониками) событий. Данные труды не являются попытками разработать какую-либо хронологию аналитического характера, т.е. разделить период нормализации на отдельные этапы. Они представляют собой кропотливо воссозданные *хроники* событий (пока таким образом освещен лишь период 1985–1990) с учетом наиболее важных, в зависимости от специфики сборника, моментов



(см., напр. [5]). Особенно ценным представляется анализ историографии до 1989 г. (в настоящее время большинство работ этого периода исключено из научного оборота). М. Отагал классифицирует указанный историографический массив по происхождению и характеру работ, подразделяя его на “коммунистическую”, “независимую” и “эмигрантскую” историографию.

Второй, тематический, раздел посвящен анализу состояния изученности конкретных проблем истории нормализации на базе успешно апробированной в предыдущих работах М. Отагала методологической триады “власть, оппозиция, общество” [6]. Следует отметить, что помимо сюжетов, относящихся к периоду 1969–1989 гг., в разделе подробно рассматриваются “пограничные” проблемы, а именно: процесс установления режима нормализации [7] и Бархатная революция. По мнению М. Отагала, какой-либо исторический период или историческое явление могут быть должным образом изучены лишь будучи завершенными, т.е. в том случае, если на момент исследования они рассматриваются как прошлое. Именно поэтому вопросам изучения Бархатной революции, в ходе которой было покончено с режимом нормализации, в книге уделяется большое внимание.

Главной заслугой М. Отагала явился, на наш взгляд, всесторонний анализ достижений и недостатков существующей историографии по истории нормализации. Руководствуясь результатами данного анализа, исследователь, приступающий к изучению каких-либо аспектов истории Чехословакии в 1969–1989 гг., без труда сможет не только составить представление о достижениях предшественников в интересующей его области, но и определить для себя круг наименее разработанных проблем. Таким образом, книга М. Отагала необычайно ценна для дальнейшего развития рассмотренного в ней сегмента чешской “истории современности”. Сделанные в ней выводы, несомненно, будут способствовать упорядочению проводимых исследований (которые до сих пор отличались заметной хаотичностью), более адресной постановке исследовательских задач и тем самым повышению результативности работы ученых.

Если говорить более конкретно, то в общеполитической части особых похвал заслуживает проработка источниковой базы. Внимание в данном случае уделяется не только традиционно упоминаемым и хорошо известным документам оппозиционного движения и главному государственному ма-

нифесту нормализации – “Урокам кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ”, принятому в декабре 1970 г., но и забытым или до сих пор оставшимся вне поля зрения исследователей материалам. В частности, для российских историков-богемистов важен констатируемый автором факт, что именно в наших архивах хранится доселе малоизученный пласт документов, касающихся как отношений Чехословакии с партнерами по соцлагерю в 1969–1989 гг., так и состояния ее внутренних дел, на которые СССР в период нормализации оказывал решающее влияние. Следует отметить, что М. Отагал проводит блестящий источниковедческий анализ в рамках соответствующего очерка: источники по истории нормализации четко классифицированы; определена репрезентативность разных их групп, сделаны выводы относительно степени их доступности для широкого круга исследователей и изученности на настоящий момент.

Тематический раздел книги затрагивает, пожалуй, все аспекты истории нормализации, которые до сих пор фигурировали в качестве предмета исследования. Заметим, что автор намеренно придает структуре раздела предельно нейтральный характер, стараясь, по возможности, исходить из традиционных методологических приемов рассмотрения того или иного исторического периода, которым он подчиняет свой историографический анализ. Проиллюстрировать данный факт можно на примере небольшого очерка “Экономическое и социальное развитие”. Известно, что М. Отагал является сторонником популярной сейчас концепции “общественного договора” между властью, дающей всем стандартные экономические блага, и обществом, добровольно лишаящимся взамен права голоса в политических вопросах, как основы нормализации. Однако в целях исповедуемой исследователем беспристрастности историк не находит возможным выдвигать на первый план “свою” концепцию в ущерб прочим. Поэтому он лишь упоминает о ней в очерке об экономической политике государства и ее влиянии на общество. На наш взгляд, это свидетельствует о высоком профессионализме ученого.

Отметим также чрезвычайно важные, как представляется, очерки, в которых М. Отагал намечает новые темы для будущих исследований. В частности, речь идет о развитии региональной историографии, т.е. разработке истории нормализации на уровне отдельных земель, городов, народов Че-

хословакии. У российских ученых особый интерес может вызвать обозначенная М. Отагалом проблема советского влияния, тем более что, как уже говорилось, именно отечественные исследователи могут располагать “эксклюзивной” источниковой базой.

Давая оценку выводам, к которым пришел автор, необходимо отметить наличие некоторых “неровностей” в исследовании в целом и неравноценности отдельных его частей. Во многом здесь, по-видимому, сыграли негативную роль отдельные несовершенства общей исследовательской концепции автора. Основным ее минусом, на наш взгляд, стала недостаточная проработка вопроса о критериях отбора литературы, включаемой М. Отагалом в понятие “историографии по истории нормализации”.

В первом, общеаналитическом, разделе книги оговаривается, что автором будут рассмотрены, за редким исключением, работы чешских авторов; при этом будут учитываться не только собственно научные труды, но и публицистические произведения, в том числе газетные и журнальные статьи, эссе и т.д. Однако М. Отагал фактически игнорирует закономерно возникающий вопрос о ценностных характеристиках данных типов литературы. Тезис автора о том, что он “не ставил своей целью оценивать качество и вклад тех или иных работ” (S. 6), не делает ситуацию более ясной.

В результате в некоторых случаях констатация реальных научных достижений подменяется общими впечатлениями о непрофессиональной литературе, которая затрагивает тот или иной аспект истории нормализации. При этом подобные впечатления получают статус научной оценки, что, безусловно, искажает реальную картину состояния изученности некоторых вопросов.

В основном это касается очерка, посвященного исследованию проблем Бархатной революции. Рассматривая в его рамках, к примеру, литературу, анализирующую деятельность Гражданского форума, М. Отагал совершенно не проводит различий между эмоциональной эссеистикой и научными трудами. Так, фундаментальное исследование историка Й. Сука о первых месяцах существования Гражданского форума (ГФ) [8] ставится в один ряд с крайне спорной с научной точки зрения статьей режиссера Й. Свободы [9. S. 91–95]. Й. Свобода участвовал в учредительном заседании Гражданского форума в Драматическом клубе 19 ноября 1989 г., однако этим его роль в деятельности этой организации и ограничилась. По-

этому его, как человека “со стороны”, кропотливо не изучавшего архивы ГФ, как это делал Й. Сук, нельзя считать специалистом по истории форума. Заметим, что список историографии по истории Гражданского форума, предложенный М. Отагалом, вообще не является полным. Не упомянуты, например, работы П. Димуна и Эд. Йичинского [10]. Однако это не мешает автору резюмировать, что “на данный момент *подробно изучены* (курсив мой. – А.Н.) стратегия и деятельность ГФ, а также процесс принятия решений внутри его структур” (S. 100). Данное заявление не имеет под собой реальных оснований. Правда, здесь следует учесть тот факт, что М. Отагал не является специалистом по истории Бархатной революции и никогда не объявлял себя таковым. Кроме того, на наш взгляд, для книги по историографии нормализации события 1989 г. все-таки не более чем пограничная проблема.

К числу недостатков книги М. Отагала можно также отнести поверхностность в рассмотрении части историографического массива. К примеру, говоря об изучении национальной проблематики, автор отмечает ее исключительную важность. Он называет ряд работ, проливающих свет на некоторые вопросы чешско-словацких отношений, положение венгерского меньшинства и т.д. Однако никаких пояснений относительно содержания и основных идей этих работ не приводится, помимо тезиса о том, что “вопросы, связанные с национальной проблематикой, до сих пор исследованы очень слабо” (S. 51). В связи с этим очерк об изучении национальной проблематики трудно считать органичной частью серьезного историографического исследования, каковым является книга. Тем не менее, на наш взгляд, важен уже сам факт упоминания проблемы и констатации ее малой изученности.

В целом же, учитывая, что труд М. Отагала является первым в своем роде опытом всеобъемлющего исследования по заданной проблематике, и тот факт, что указанные недостатки в большинстве своем не имеют принципиального значения, следует, на наш взгляд, признать рецензируемую книгу крупным достижением в развитии научной дисциплины “история современности” в Чешской республике. Несомненно, она станет важной вехой на пути к повышению авторитета данной дисциплины среди иных направлений исторической науки, так как будет способствовать приданию ей, по крайней мере, в перспективе, строгого профессионализма и академической упорядоченности.

В заключении автор констатирует, что чешские историки современности находятся лишь в начале пути, так как до сих пор не создано ни одного всеобъемлющего труда по истории Чехословакии в период 1969–1989 гг. В этой связи он замечает, что “Чехия в данном отношении отстает сейчас не только от Германии, где ситуация с изучением коммунистического прошлого вполне благоприятна, но также от Польши и Венгрии” (S. 101). На наш взгляд, книга М. Отагала поможет справиться с этой ситуацией. Она будет способствовать, помимо прочего, преодолению неприятия истории коммунистической государственности – структур, партийных элит и проч., характерного в целом для новейшей историографии и сильно затрудняющего воссоздание целостной картины развития Чехословакии в период нормализации.

© 2003 г. А.М. Носова

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bibliografie českých a československých dejin 1918–1995: Výber knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990–1995. Praha, 1997. Sv. 1, 2; Bibliografie českých a československých dejin: Výber knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996–1999 a doplňky za roky 1990–1995. Praha, 1999. Sv. 1, 2.
2. *Otáhal M.* Opozice, moc, společnost. 1969–1989. Praha, 1994; *Otáhal M.* Malý akční program Československého hnutí za demokratický socialismus // *Soudobé dejiny*. 1995. Č. 2–3. S. 374–398; *Otáhal, M.* K

- n kterým otázkám dejin “normalizace” // *Soudobé dejiny*. 1995. Č. 1. S. 5–16; *Otáhal M.* K některým problémům výzkumu tzv. normalizace // *Československo po sovětské okupaci*. Olomouc, 1997. S. 3–9; *Otáhal M., Nosková, A., Bolomský K.* Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970. Dokumenty. Praha, 1993.
3. Bibliografie k dejinám Československa 1969–1990. Praha, 1999; *Hanáková J., Zapotočský J.* Seznam samizdatové literatury ve fondu Národní knihovny. Praha, 1991.
  4. Čas demokratické iniciativy 1987–1990. České Budějovice, 1993; *Hnutí za občanskou svobodu*. Praha, 1994; *Vedení KSČ o disentu a opozici: Dokumenty z ledna 1986 – října 1989*. Praha, 1999; *Securitas imperii*. Sborník k problematice bezpečnostních služeb (ежегодник).
  5. Československá cesta k demokracii: Chronologie událostí 1985–1989. Praha, 1999; *Suk J., Cuhra J., Koudelka F.* Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1990. Praha, 1999.
  6. *Otáhal M.* Opozice, moc, společnost. 1969–1989. Praha, 1994.
  7. *Madzý J.* Sovětská okupace Československa, jeho normalizace v letech 1969–1970 a role ozbrojených sil. Praha, 1994; *Felcman O.* Husákovy představy o normalizaci při převzetí moci v dubnu 1969.
  8. *Suk J.* Občanské fórum: Listopad – prosinec 1989. Praha, 1998. Díl 1, 2.
  9. *Svoboda J.* Občanské fórum – formování a ztroskotání // *Listy*. 1995. Č. 4.
  10. *Dimun P.* Vznik stran na půdě Občanského fóra // *Listy*. 2000. Č. 6. S. 23–27; *Jičínský, Zd.* Československý parlament v polistopadovém vývoji. Praha, 1992.

Славяноведение, № 6

*Н.В. КОТОВА. Горно поле. Дупнишко. Речник. София, 2002.*

*Н.В. КОТОВА. Словарь говора района Горно Поле*

В 1957–1959 гг. Н.В. Котова, в то время аспирантка Софийского университета, а ранее ученица С.Б. Бернштейна, уделявшего, как известно, большое внимание описанию болгарских говоров как в самой Болгарии, так и на территории СССР, вела исследовательскую диалектологическую работу в селах юго-западной Болгарии: Сапарево, Са-

парева Бая, Гюргево, Овчарци, Крайници и Црвени Брег. Результатом этих исследований стал ряд статей (Говорно разнообразие в Станкедимитровка // *Език и литература*. 1960. № 4; Звуковая система говора района Горно Поле // *Славянская филология*. Сб. статей. М., 1963. Вып. 4), а также кандидатская диссертация, посвященная особенно-

стям говора данного района. Кроме того, Н.В. Котовой был составлен "Словарь говора района Горно Поле", который еще в 1960 г. был подготовлен к печати. Он получил положительные отзывы таких авторитетных специалистов-славистов, как Н.И. Толстой и В.К. Журавлев. Однако по не зависящим от автора "Словаря" причинам его издание тогда не было осуществлено ни в СССР, ни в Болгарии. Оно стало возможно только теперь, в 2002 г.

Говор района Горно Поле принадлежит к юго-западной группе болгарских диалектов. Он относится к числу весьма самобытных, существенно отличающихся от литературного языка говоров. Он был сравнительно слабо изучен и потому представляет собой интересный объект для диалектологического описания.

Важнейшей проблемой диалектной лексикографии, как известно, является проблема критериев отбора материала. Долгое время среди лексикографических диалектологических трудов господствовали так называемые дифференциальные словари, представлявшие только ту диалектную лексику, которая отличает говор от литературного языка. Н.В. Котова проблему отбора материала решает в пользу включения в словарь всех зарегистрированных в процессе полевых исследований слов, независимо от того, встречаются они только в диалекте или представлены и в литературном языке. Таким образом автор создает полный словарь описываемого говора. На момент завершения работы, в начале 60-х годов XX в., такой подход был абсолютно новым для болгарского языка.

В словарь вошло около 11 000 слов. Автор применяет дифференцированный подход к семантизации включенной в словник лексики. Способ семантизации определяется наличием / отсутствием слова в литературном языке, а также степенью фонетического и семантического расхождения между литературным и диалектным словом. В словаре используются такие средства семантизации, как перевод на литературный язык, толкование значения, семантизирующий

контекст (для служебных слов). Все словарные статьи снабжены примерами-предложениями, причем количество примеров определяется частотностью данного слова в говоре. Нередко в качестве фраз-примеров приводятся толкования значения данного слова, предложенные информантами.

Несомненная ценность "Словаря говора района Горно Поле" заключается и в том, что он наглядно демонстрирует морфологическую систему данного диалекта. Для каждого слова представлены основные формы, сопровождаемые грамматическими пометами. При этом предложения-примеры подобраны таким образом, чтобы показать функционирование слова в различных формах. В словаре представлены и диалектные тексты. Они записаны от людей разного возраста, пола, профессии, уровня образования и потому демонстрируют значительный диапазон стилистических различий внутри диалекта (фонетических и лексических), показывают тенденции в развитии говора.

Интересен и содержащийся в "Словаре" этнографический материал, характеризующий жизнь болгарского села. Следует отметить, что при подготовке книги к изданию автором было осуществлено новое редактирование в соответствии с принципами фонетической транскрипции, предложенными и реализованными в недавно вышедшем в свет фундаментальном труде Н.В. Котовой и М. Янакиева "Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком" (М., 2001).

Изданный "Словарь говора района Горно Поле" имеет большое научное и практическое значение. Он может быть использован при системных исследованиях диалектной лексики, для работ лингвогеографического характера, для трудов в сфере диалектного словообразования. Материал очень важен для сопоставительных исследований в области лексикологии болгарского, сербского и македонского языков.

© 2003 г. *О.А. Ржанникова*



## КОНФЕРЕНЦИЯ “СЛАВЯНСКАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ”

С 14 по 17 мая 2003 г. в Институте славяноведения РАН (Москва) состоялась международная научная конференция “Славянская этнолингвистика и проблемы изучения традиционной народной культуры”, посвященная 80-летию со дня рождения Никиты Ильича Толстого (1923–1996 гг.) – выдающегося ученого-слависта, академика РАН. Конференция была организована Отделением историко-филологических наук РАН, Институтом славяноведения, музеем-усадьбой “Ясная Поляна” и поддержана Российским гуманитарным научным фондом. В конференции участвовали коллеги и ученики Н.И. Толстого из России, Белоруссии, Болгарии, Польши, Сербии, Австрии, Украины, Эстонии. В докладах обсуждался широкий круг проблем, лежащих в русле научных интересов Н.И. Толстого, – славянская этнолингвистика, диалектология, фольклор, этнография и др.

Работа конференции продемонстрировала высокую плодотворность, жизненность и обаяние идей Н.И. Толстого, вдохновляющую силу его научного темперамента, которая объединяет не только непосредственных сподвижников ученого, но и неизменно привлекает к себе все новых последователей. Многогранная научная деятельность Н.И. Толстого придала новый импульс развитию славистики в 1960–1990-е годы. Им заложены основы комплексной научной дисциплины – этнолингвистики, нацеленной на реконструкцию традиционной символической картины мира. Успешное и разностороннее ее развитие, завоевание ею ведущих позиций в современной культурной антропологии стало возможным благодаря тому, что Н.И. Толстому удалось создать

сильную научную школу. В научных трудах самого Н.И. Толстого энциклопедическая широта взгляда, направленного в общеславянскую перспективу, сочеталась со скрупулезным анализом каждого языкового и культурного факта, которые “добывались” не только в кабинете, но и в ходе организованного им масштабного экспедиционного изучения Полесья, позволившего собрать богатейший материал, выработать методику полевой этнолингвистической работы, а также воспитать целую плеяду учеников – “полевиков”. Огромный авторитет и энергия Н.И. Толстого позволили ему успешно сочетать различные виды научно-организационной деятельности, всегда носившей инициативный характер: главный редактор журналов “Вопросы языкознания” и “Живая старина”, председатель Совета Российского гуманитарного научного фонда, председатель Российского комитета славистов, председатель Научного совета по фольклору РАН, член Президиума РАН, заместитель академика-секретаря Отделения литературы и языка РАН, председатель редколлегии полного собрания сочинений Л.Н. Толстого и др.

При открытии конференции со вступительным словом выступила *Т.М. Николаева*, член-корреспондент РАН, заведующая отделом типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, главный редактор журнала “Вопросы языкознания” (журнала, который в 1993–1996 гг. возглавлял Н.И. Толстой), выделившая основные направления научной деятельности Н.И. Толстого, подчеркнув, что они определяются глубинной связью с традициями старой русской культуры и в то же время орга-

ничным конструктивизмом, способностью чувствовать импульсы нового и идти навстречу ему.

Академик *В.Л. Янин* поделился своими воспоминаниями о совместной с Н.И. Толстым работе в Президиуме РАН, а также о деятельности Никиты Ильича как основателя и первого председателя Российского гуманитарного научного фонда.

Академик *Е.П. Челышев*, советник Президиума РАН, председатель комиссии по наследию Н.И. Толстого, председатель Оргкомитета конференции, рассказал о работе Никиты Ильича в бюро Отделения литературы и языка РАН (1985–1996 гг.), о его научном авторитете и непосредственном участии в разработке ряда направлений гуманитарной науки (например изучения языка и культуры русской эмиграции), в восстановлении связей академической науки с русской православной церковью, в реализации государственной программы по русскому языку, в издании 100-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

*В.К. Волков*, член-корреспондент РАН, директор Института славяноведения, отметил, что почти вся научная жизнь Никиты Ильича была связана с этим институтом, где ему удалось воспитать уникальный научный коллектив, ныне воплощающий в жизнь замыслы своего учителя и его программу по созданию этнолингвистического словаря “Славянские древности”, научного памятника, значение которого для развития мировой культуры и культуры славянских народов трудно переоценить.

*А.М. Молдован*, директор Института русского языка РАН им. В.В. Виноградова, председатель Национального комитета славистов РФ, продолжающий на этом посту дело Н.И. Толстого, сказал о том, что Никита Ильич был воплощением славистических идеалов, человеком, который объединял своей личностью несколько поколений славистов всех стран. С именем Н.И. Толстого связано создание и развитие нескольких направлений славистики – изучение истории славянских литературных языков, древнеславянского литературного языка, а также новой комплексной научной дисциплины – этнолингвистики, превратившейся ныне трудами его учеников в продуктивную отрасль науки.

Заведующий кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ *В.П. Гудков* посвятил свое выступление связям Н.И. Толстого с филологическим факультетом МГУ, где Н.И. Толстой, будучи учеником С.Б. Бернштейна, окончил

болгарское отделение, написал дипломную работу о македонском языке, учился в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию о прилагательных старославянского языка, а с 1968 по 1996 г. был преподавателем, затем профессором кафедры русского языка. Никита Ильич, обладавший ярким педагогическим талантом, воспитал сотни учеников, многие из которых стали сегодня известными славистами.

Протоиерей *Б. Даниленко*, директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата, настоятель Патриаршего подворья бывшего Андреевского монастыря, подчеркнул масштабность личности Никиты Ильича, силу его интуиции и умение предвидеть пути развития славянской науки и культуры. Н.И. Толстому удалось разрушить многолетний барьер между светской и церковной наукой и способствовать возрождению Синодальной библиотеки Московской патриархии на базе бывшего Андреевского монастыря по соседству со зданием Президиума Академии наук.

*Л. Раденкович*, директор Института балканистики Сербской Академии наук (Белград), говорил о сербских корнях Н.И. Толстого, который родился в маленьком банатском городе Вршце, учился в белградской гимназии; сербский язык был для него вторым родным языком. Это позволяло Н.И. Толстому сказать о себе: “Моя родина – Сербия, мое отечество – Россия”. Воспоминаниями о сербском периоде жизни семьи Толстых, о годах учения Никиты Ильича в русско-сербской гимназии, о его учителях, среди которых были такие яркие личности, как Г. Флоровский, и последующих приездах Никиты Ильича в Белград поделился профессор Белградского университета *А.В. Тарасьев*.

*Е. Бартминский*, профессор Университета им. М. Кюри-Скłodовской, главный редактор журнала “Этнолингвистика” (Люблин), выделил основные научные постулаты Н.И. Толстого, являющиеся фундаментом современной этнолингвистики: положение о глубинном внутреннем родстве языка и культуры, тезис о необходимости исследования национального языка во всем его богатстве и многообразии форм существования, новаторский взгляд на проблему прародин славян – перенос акцента из географической плоскости в духовную, поиск духовной прародины славян.

*С.М. Толстая*, заведующая Отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН, напомнила собравшимся, что 80-летие Никиты Ильича совпадает с

25-летием созданного им научного коллектива, объединенного работой над словарем "Славянские древности". Огромное значение в формировании и осуществлении замысла этого словаря имел опыт полевой этнолингвистической работы в Полесье под руководством Н.И. Толстого в 1960–1980-е годы. Основные направления исследований отдела отражены в изданной к конференции библиографии трудов его сотрудников (Славянская этнолингвистика: Библиография. М., 2003), насчитывающей более трех тысяч позиций.

Исполнительный директор издательства "Индрик" С.Г. Григоренко (Москва) представил новую книгу Н.И. Толстого "Очерки славянского язычества", которая вместе с книгой 1995 г. "Язык и народная культура", также изданной "Индриком", дает представление об этнолингвистическом наследии Н.И. Толстого.

Все выступавшие говорили о той важной роли, которую сыграла в их собственной судьбе встреча с Н.И. Толстым, его идеи, труды, научный и организационный темперамент и личное обаяние.

Научные доклады участников конференции отражали широкий круг тем, интересовавших Н.И. Толстого. Для ряда докладов непосредственным импульсом послужили конкретные сюжеты, разрабатывавшиеся им.

Доклад С.Ю. Неклюдова (Москва) "Живая речь и язык фольклора" был посвящен одной из ключевых проблем фольклористики – природе языка фольклора и его отношению к языку диалекта. Общая тенденция к их расхождению по-разному проявляет себя в текстах различных жанров, отличающихся по степени структурированности (в том числе ритмизованности); при этом наиболее дистанцированным от естественного языка видом фольклорной речи является пение.

В докладе Е.Е. Левкиевской (Москва) "Итоги и перспективы изучения славянской мифологии" были охарактеризованы основные этапы развития русской мифологической науки (от реконструкции древнеславянского пантеона до восстановления текста "основного мифа"). Перспективу развития славянской мифологии автор видит в переходе от уровня персонажа к уровню мифологических функций (при этом сам мифологический персонаж понимается как "скрепленный именем пучок функций").

Доклад Л.А. Софроновой (Москва) "Переодевание на старинной русской сцене" развивал идеи, высказанные Н.И. Толстым в статье "О переворачивании предметов в

славянском погребальном обряде" (1990). В театре XVIII в. смена костюма означала изменение социального статуса персонажа, его психологического состояния, могла служить знаком межличностных отношений. Максимальная условность костюма XVIII в. наделяет его функцией маски.

В докладе А.А. Гупиуса (Москва) "Сисиний и Сихаил: к сакральной просопографии берестяных грамот" предложено толкование имен *Сисиний* и *Сихаил*, которые фигурируют в известной апокрифическом тексте так называемой Сисиниевой легенды и восходящих к ней заговорах, в том числе в заговоре из берестяной книги XII в. Эти имена, по мнению докладчика, представляют собой анаграмму формулы *истинный Христос*; эту же анаграмму можно усмотреть в других элементах заговорных текстов (ср. Сидор, Симон, Анисим, Осип, Синайская гора, сидят и т.п.).

Доклад проф. Е. Бартмиевского (Люблин) "Христианство и народная культура: Богородица в польской традиции" открыл тематический блок, посвященный народному христианству. Докладчик охарактеризовал культ Богородицы как религиозный национально-патриотический стереотип, вместивший в себя глубинные концепты устной народной традиции и ставший символом национальной самоидентификации поляков. Материалом послужили фольклорные тексты, современный политический дискурс, а также особенности именования и характеристик Богородицы в языке, народном календаре, фольклоре.

Доклад С.Е. Никитиной (Москва) "О ядерных концептах народного христианства" основывался на материале фольклорных текстов (преимущественно духовных стихов) нескольких профессиональных групп (молоканы, духоборцы, старообрядцы). В докладе была рассмотрена система ключевых концептов народного христианства (*душа, грех, чудо, судьба, Бог, ад* и др.) и выявлены различия в содержании и трактовке каждого из них как по отношению к православной традиции, так и по отношению к соответствующим понятиям других профессиональных групп (например, отмечены существенные различия в понимании тяжести греха в православной и молканской традиции).

Р. Попов (София) в докладе "Народная этимология и культ святых" обратил внимание на роль этимологической магии в формировании болгарских календарных поверий, запретов и предписаний. Объектом такого рода магии становятся прежде всего

имена христианских святых, входящие в названия праздников: например, в день св. Прокопия нельзя приступать к новому делу, пускаться в путь, поскольку имя *Прокопий* испытывает притяжение к глаголу *прокопавам* и ассоциируется с копанием могилы и опасностью смерти (ср. в сербской традиции *Прокоп* – патрон рудокопов).

*О.А. Черепанова* (Санкт-Петербург) прочла доклад “Мифологические мотивы в народных рассказах о местнотимых старцах на Русском Севере”. Докладчица рассказала о найденной в 2000 г. в Тотеме рукописи “Краткие записи о житии отца Николая Константиновича Трофимова” – местнопочитаемого неканонизированного старца, умершего в 1958 или 1959 г. – и сопоставила ее текст с устными легендами о старцах, бытующими на Русском Севере. Автор показала, что повествования такого рода находятся на стыке нескольких культурных традиций – канонической агиографии, древнерусской литературы, фольклора, народного православия, “наивной” литературы и др.

*К. Михайлова* (София) в докладе “О семантике странствующего певца-нищего в славянской народной культуре” показала, что известный всем славянским традициям образ нищего певца-странника (чаще всего физического ущербного – слепого, хромого и т. п.) соединяет в себе целый комплекс мотивов и свойств: аскетизм, причастность к сакральным путям, обладание сверхъестественными свойствами (даром исцеления, предвидения), способность быть медиатором между миром земным и небесным.

В докладе *С.Ю. Дубровиной* (Тамбов) «Христианская лексика в диалектном “изводе”» рассматривалась лексика тамбовских говоров, реализующая основные концепты народного православия. В рамках данной предметной области были выделены основные лексико-семантические группы, предложены методики их описания с ономаσιологической и семасиологической точек зрения.

*В. Дабрик* (Краков) в докладе “Бабье лето и прочие бабьи дела” представила языковой и этнографический материал, относящийся преимущественно к польско-восточнославянскому пограничью. Отправной точкой послужили хронимы типа *бабье лето*, обозначающие аномальный (переходный) погодный период (другие его названия – “малое”, “бедное”, “сиротское”, “цыганское” лето). Подобные хронимы, так же, как и собственно женские праздники (праздники повитух, польский “попелец” и т. п.),

по мнению исследовательницы, отражают культ Богородицы.

Доклад *С.Б. Адоньевой* (Санкт-Петербург) “Социальное пространство крестьянской магии. Силы и хозяева” базировался на полевых данных, относящихся к одной локальной севернорусской традиции (Белозерье). По наблюдениям автора, различные социальные (половозрастные, профессиональные и др.) группы населения имеют неодинаковый доступ к сакральному знанию, по-разному взаимодействуют со сверхъестественными силами – “хозяевами” различных локусов (так, дети и молодежь практически не вступают в контакт с ними), пользуясь неодинаковыми речеповеденческими стратегиями.

*А.Б. Мороз* (Москва) в докладе “Народная интерпретация этнографического факта” обобщил опыт полевой работы на Русском Севере (Каргополье) и обратился к анализу мотивировок, которые предлагаются носителями традиции по поводу того или иного обряда или верования. Была отмечена необязательность и вариативность мотивировок у разных информантов, а также различная степень конкретности мотивировок: это может быть обобщенная апелляция к авторитету (“так старики говорили”, “так Богом дано”), отсылка к прецеденту (“нельзя в солонку залезать пальцами – так делал Иуда”), интерпретация конкретных признаков явления или ситуации (“нельзя качать пустую колыбель: 1) детей много будет, 2) ребенок умрет”); пустота колыбели оценивается здесь с разных сторон). Большую роль в выборе мотивировки играет народная этимология и паронимия (“нельзя стоять на пороге – это порок”), фольклорные, апокрифические, иконографические мотивы.

*В.Я. Петрухин* (Москва) выступил с докладом «“Проводы Перуна”: древнерусский фольклор и византийская традиция», в котором отметил, что летописные свидетельства о низвержении Перуна могут быть сопоставлены не только с византийскими хрониками Иоанна Малалы и Георгия Амартола, но и с фольклорно-этнографическими сюжетами (календарными обрядами уничтожения Масленицы или Костромы, легендами о змее, заманивающим девушек в свою пещеру). Перун как персонаж языческой предистории Руси стал объектом вторичной фольклоризации в восточнославянских легендах об острове Перуна, известных по поздним записям.

Доклад *А.В. Тарасьева* (Белград) «“Живая” и “мертвая” вода в “Докторе Живаго”» подверг сомнению утверждение Б. Пастер-



нака об отсутствии скрытых смыслов и подтекста в его произведениях. Исследователь проанализировал несколько сцен, в которых символическим смыслом наделяется вода. Живая вода (принесенная из колодца) и мертвая (замерзшая на пороге) в сценах встречи героя с женщинами, сыгравшими особую роль в его жизни, является значимой деталью, символизирующей переломные моменты в судьбе героя.

Д. Айдачич (Белград) в докладе «Коды и “Коды славянских культур”» указал на важность понятия *код* в изучении традиционной духовной культуры. Редактируемый им международный ежегодник “Коды славянских культур” (издается с 1996 г.) посвящает каждый выпуск одному из культурных кодов: растительному, пищевому, соматическому, цветовому, аграрному и др.

В докладе Г. Невекловского (Вена) “Жилище, посуда и пища у боснийских мусульман” анализировалась лексика материальной культуры недавних переселенцев из Боснии в Австрию. Параллельно со словами, изучаемыми в ареальном и генетическом аспектах (отмечается значительное количество тюркизмов – *чардак, бардак, сусак*; в меньшей степени представлена славянская лексика – *огњиште, котло, пећ, кућа, нађе*), автор рассмотрел особенности и историю самих реалий.

Доклад Г.А. Цыхуна (Минск) “Полесские нарубы (лингвоэтнический аспект)” продолжил интересовавшую Н.И. Толстого тему древних полесских надгробий (нарубов) и их терминологии – *пліты, надмогільнык, надгробнык, граміцы, хаткі, заграды, навалы, баран, лыжак, прыхоромы, прыклады* и др. Этим названиям соответствуют различные типы реалий, некоторые из них, по мнению автора, могут восходить к древним типам погребального обряда (трупосожжение, похороны в ладье).

Доклад А.Д. Дуличенко (Гарту) “Карпатские русины сегодня: этнолингвистический аспект” был посвящен этно- и социолингвистическому аспекту языка карпатских русин. Основное внимание было уделено этнонимам (*русины, руснаки, русские, угроросы, лемки, рутены, словакоросы, карпаторосы*) и лингвонимам (*руський* в отличие от *русский* ‘великорусский’) как важной составляющей языкового и культурного самосознания русин.

В докладе Л.Н. Виноградской (Москва) “Вербальные элементы обряда и их роль в раскрытии мифологической семантики” был проанализирован восточнославянский обряд “вождение стрелы”, имеющий разные

локальные наименования (*провождать весну, ховать весну, водить сулу, гонять старцоў, водить старцоў, провождать Христа* и др.), и мотивировки (от грома, от злых духов, “чтоб мороз не морозил” и т. п.); различны также песни, составляющие ядро ритуала. Автором рассматривается характер взаимодействия текста песни и структуры обряда – изменения в семантике и прагматике обряда в зависимости от содержания исполняемой песни.

Л. Раденкович (Белград) в докладе “Цвет как признак мифологических персонажей” отметил, что в “цветовых” названиях и характеристиках персонажей низшей мифологии преобладают “белый” (рус. *белая девица, белая баба*, серб. *бела*, польск. *biała pani, biała* ‘смерть, привидение’ и т.п.) и “черный” (ср. с.-хорв. *црно* ‘потусторонний мир, мрак’, *црни ћаво*, рус. *черная сила*); значительно реже используются другие цвета и цветковые признаки (рус. *красная баба, синец* ‘бес’, словен. *zelenjak* ‘черт’ и т. п.). При этом однотипные персонажи в различных локальных традициях могут разделяться разными цветовыми признаками. Такого рода характеристики мифологических персонажей, относящиеся главным образом к их одеянию (серб. *онај са црвеном капом, зелен капић*), отражают общую символику цвета в традиционной культуре.

А.В. Гура (Москва) в докладе “Пятна на месяце: способы конструирования мифологического текста”, основанном на материале всех славянских традиций, предложил классификацию мотивов поверий и легенд, которые объясняют происхождение лунных пятен: пятна – это лепешка навоза, брошенная девушкой; идущие по воду парень и девушка; два кузнеца; цыган с молотом и наковальней; еврей и цыган; вор, крадущий горох; наказанные за работу в праздник; два брата; Каин и Авель; Адам и Ева; архангел Михаил и архангел Гавриил; ангел и дьявол и др. Различные комбинации этих мотивов создают региональные варианты этиологических легенд.

А.Л. Топорков (Москва) в докладе “Этимология на службе магии” оперировал материалом любовных заговоров из рукописного сборника XVIII в. В центре внимания оказался образ Тоски как единственного состояния, персонафицируемого в русских заговорах. Тоска подвижна, агрессивна, проникает внутрь человека, часто оказывается запертой в доске/доской. Тексты заговоров о тоске разрабатывают те же мотивы сдавленности, пустоты, тесноты, которые определяют этимологические связи слова *тоска*

со словами *тощій, тцетный, тесный*. Эту же смысловую основу можно усмотреть в устойчивом паронимическом сближении *тоска – доска*, поддерживаемом рифмой (ср. типичные мотивы любовного заговора: тоска лежит, прижата доской; доска – орудие изгнания тоски и т. п.).

*Н.П. Антропов* (Минск) в докладе “Белорусские этнолингвистические этюды. 2. Вызывание дождя (акциональный код)” систематизировал материал, собранный для “Белорусского этнолингвистического атласа” (обследовано 347 населенных пунктов), который касается магии вызывания дождя. Автор разделил все акциональные элементы на специфические, неспецифические и сопровождающие действия. К первым отнесена магия у колодца (освящение воды, бросание хлеба, горшка, денег, веника, семян мака, ржи, проса и т. п.), ритуальное битье воды, поливание водой могилы, вырывание креста, голошение по утопленику, убиение лягушки, жабы, ужа и символическое погребение их, пахание реки, дороги, разгребание муравейника, вырывание и подбрасывание травы. Неспецифическими действиями, исполняемыми и с другими целями, являются обходы полей, опаживание села, ритуальная кража и др., а сопровождающими – такие действия, как изготовление обыденных предметов, выворачивание одежды, обнажение и др. Докладчик прокомментировал составленные им карты, демонстрирующие вариативность региональных форм обряда вызывания дождя.

Отдельное заседание было посвящено проблеме применения лингвистических методов для изучения традиционной духовной культуры.

В докладе *А.А. Плотниковой* (Москва) “Этнолингвистическая диалектология: южные славяне” развивались положения *Н.И. Толстого* о “диалектологии славянской мифологии” и возможностях картографирования элементов обрядов, верований, фольклора. Докладчица остановилась на понятиях культурного диалекта, этнолингвистической карты, на проблеме выбора единицы картографирования и соотношения языковой и культурной информации на карте, указав, что отправной точкой картографирования должна быть география реалии. В докладе был представлен опыт картографирования южнославянской этнокультурной терминологии с учетом экстралингвистического контекста – обрядовых функций, семантики и символики соответствующих реалий. Конкретным примером послужил обряд приношения в жертву животного на поминках у

южных славян и его терминология – *(по)души брав, душно, курбан*. На представленной карте обозначены также районы, где в качестве жертвенного животного выступает домашняя птица.

*Е.Л. Березович* (Екатеринбург) в докладе “Этнолингвистическая интерпретация полевых структур” отметила, что реконструкция языковой картины мира может осуществляться не только на основе анализа коннотаций отдельных слов, но и в еще большей степени на базе изучения более крупных семантических структур: семантического поля, мотивационного поля, поля культурной символики. Информативными с этнолингвистической точки зрения могут быть такие параметры интерпретации, как: выбор явлений действительности, получающих обозначение в языке и культуре, соотношение и иерархия различных смыслов. Например, в культуре особой значимостью наделяется оппозиция *высоко–низко*, а в языке – *далеко–близко*; при разработке концепта гостя в культуре делается акцент на ритуальной и этикетной сторонах гостеприимства, а для языка значимым оказывается также этический аспект (ср. развитие семантики ‘незванный гость’ в сторону негативной оценки).

*Т.И. Вендина* (Москва) выступила с докладом “Истина, Добро, Красота в языке традиционной народной духовной культуры”, в котором базовые концепты народной этики и эстетики интерпретировались на основе анализа семантической структуры соответствующих словообразовательных гнезд. Из приведенного материала следует, что народная языковая трактовка категорий истины, добра, красоты отличается от соответствующих концептов, реконструируемых на основе литературного языка, большей конкретностью и прагматической направленностью.

*И.А. Седакова* (Москва) в докладе “*Прощание и прощение*: опыт этнолингвистического анализа” рассмотрела глубинную семантику народно-религиозных категорий прощания и прощения, их соотношение и единство (ср. формулу “Прости и прощай!”), которое объясняется этимологическим родством глаголов *прощать* и *простить*: оба восходят к корню *прост-* и реализуют разные грани его семантического спектра – ‘прямой’, ‘элементарный’, ‘смирный’, ‘правый’, ‘пустой’ и др. Идея прощания и прощения занимает важное место в тексте славянского погребального обряда, ср. обязательное прощание с умершим, прощение его грехов (непрощенные обиды и

долги не дают ему успокоения и заставляют возвращаться, “ходить” и досаждают живым), а также характерный для погребального обряда мотив пути, отправления на “тот свет”.

*А.Ф. Журавлев* (Москва) посвятил свой доклад “Фонетика бесовских глоссолалий” проблеме звукового “портрета” персонажей низшей мифологии, который восстанавливается на основе: 1) глаголов, обозначающих речь нечистой силы (она *зукае, йойкае, гайкает, горкает, ивкает, хохочет* и т. п.); 2) имен нечистой силы (*кука, кукан, гуга, гогона, кока, ахоха, хохря-мохря, хухлик, кика, кька, кока* и т.п.); 3) междометий, изображающих собственную речь нечистой силы (*гу-гу-гу, гу-та-та* и т.п.). Преобладающими фонетическими элементами во всех трех случаях оказываются заднеязычные согласные и лабиализованные гласные, т.е. периферийные единицы речевого аппарата: эта периферийность согласуется с иномирной природой самих персонажей (ср. подобную организацию многих названий птиц и обозначение их голосов).

*Ст. Небжеговска-Бартминьска* (Люблин), прочитавшая доклад “Роль мотива в описании модели текста”, оперировала понятием модели текста (инвариантной схемы, лежащей в основе всех вариантов фольклорного произведения), структурным и содержательным компонентом которой является мотив. Выделены следующие функции мотива в структуре текста: конститутивная, информационно-поисковая, экспликативная, моделирующая. Сопоставление вариантов текста позволяет выделить в нем как устойчивые, так и факультативные сегменты: анализ внутренней структуры текста дает комбинаторику мотивов. Положения доклада иллюстрировались материалом польских заговоров от вывиха.

*А.В. Юдин* (Одесса–Гент) в докладе “Мифотопонимия украинских и белорусских заговоров” применил тезаурусный подход к описанию фольклорного слова, разработанный Е. Бартминьским и С.Е. Никитиной, к ономастическим элементам заговоров, соответствующим образом модифицировав тезаурусную схему-анкету. Иллюстрацией к этой схеме послужил анализ мифотопонима *Сион* и его вариантов, помогающий выявить специфику семантики фольклорного имени собственного, его слабую связь с денотатом (*Сион* в заговорах может быть не только горой, но и морем) и мифопоэтическое взаимодействие с аппеллятивной лексикой (*Сион* → *Сиян* к *сиять*).

В докладе *Г.Ф. Благовой* (Москва) “Тюркская антропонимия как проекция мифологических представлений” содержалась попытка реконструкции фрагмента древнетюркской картины мира по данным системы личных имен. Рассматривались имена, связанные с апелляциями со значением ‘туман’, ‘буран’, ‘снег’ и т. д. В основу такого рода именовании могут быть положены мотивы, отражающие поклонение природным стихиям. Так, имя *Туман* мог получить мальчик, родившийся в туманный день; это имя могло магически предопределить его судьбу – и, таким образом, туман становился его природным покровителем. Распространенность и устойчивость таких имен – свидетельство особой значимости погодных условий для быта древних тюрков.

*В.М. Гацак* (Москва) выступил с докладом “Зооморфный сон в эпических контекстах как метафорическая антитеза”, в котором рассмотрел универсальный для мирового фольклора мотив снов о животных и их толкований (как правило, негативных).

*Т.В. Цивьян* (Москва) в докладе “Фатальный путь Колобка” обратилась, вслед за Н.И. Толстым (см. его статью “Секрет Колобка”), к тексту сказки и попыталась ответить на вопрос, почему погиб Колобок. Объяснение этому, по мнению докладчицы, можно видеть в самой форме Колобка (на это указывает и его имя, ср. *коло* ‘круг’), а также в обусловленном ею способе передвижения: понятие ‘катиться’ предполагает движение вниз, к некоторому концу (это подтверждается возможным этимологическим родством славянского глагола с греч. *κατα-*, ср. *катастрофа*). Таким образом, Колобок погиб потому, что он был круглым и катился: связь этих понятий поддерживается анаграммами *к-л-б, к-р-л, к-р-б* и т. п., пронизывающими текст сказки.

Доклад *О.В. Беловой* (Москва) «Как в деревне Арзубиха “кабалу писали”» был посвящен севернорусскому обычаю обращаться к лешему с прошением о помощи в поисках пропавшей скотины. Текст такого прошения обычно писался знающей бабкой на бересте, возле печки, непонятными знаками, левой рукой, справа налево, в полном молчании; в текст нельзя было заглядывать. Записку клали под изгородь, под можжевельный куст, в дупло старого дерева, пускали по ветру, в ту сторону, где потерялась скотина и т. п. Запись об этом обычае, сделанная автором в 2002 г. в Харовском р-не Вологодской обл., как и другие его описания, не воспроизводит самого текста, но фиксирует его название *кабала*, которое ло-

кализуется на территории Архангельской, Пермской и Вологодской областей (по данным Д.К. Зеленина, Словаря русских народных говоров, картотеки Словаря говоров Русского Севера). Дальнейшей задачей остается уточнение географии термина *кабала*, а также выяснение путей его проникновения в говоры Русского Севера.

Ф.Д. Климчук (Минск) в своем выступлении “Из бесед с Н.И. Толстым (воспоминания)” рассказал о встречах в разные годы и обсуждении с ним проблем, связанных с этногенезом славян и славянской прародной, этнокультурной историей Полесья и Карпат, социолингвистической ситуацией на Балканах, понятиями национализма, патриотизма и мн. др.

В рамках конференции состоялась презентация выпущенной издательством “Индрик” книги Н.И. Толстого “Очерки славян-

ского язычества” (М., 2003), посвященной древнейшим, дохристианским, формам славянской традиционной духовной культуры – архаическим обрядам вызывания дождя и защиты от града, культу предков, мифологии времени, пространства, числа, народной демонологии, вербальной магии. В Синадальной библиотеке Московской Патриархии прошла церемония открытия именного книжного фонда Н.И. Толстого и представление интернет-сайта, посвященного жизни и научной деятельности ученого ([www.ntolstoy.ru](http://www.ntolstoy.ru)).

17 мая состоялась поездка участников конференции в Ясную Поляну на могилу Н.И. Толстого.

© 2003 г. *Е.Л. Березович, С.М. Толстая*

Славяноведение, № 6

## Чтения, посвященные памяти профессора С.Б. Бернштейна

Чтения, посвященные памяти выдающегося отечественного слависта профессора С.Б. Бернштейна и приуроченные к пятилетию со дня его кончины, были проведены Институтом славяноведения РАН, совместно с Филологическим факультетом МГУ, 8 октября 2002 г. Открывая Чтения, заведующий кафедрой славянской филологии филфака МГУ *В.П. Гудков* дал подробный обзор отечественных и зарубежных публикаций, освещающих жизненный и творческий путь ученого, различных мемориальных и иных мероприятий, посвященных С.Б. Бернштейну, а также рассказал о планах по сохранению и пропаганде его печатного и рукописного наследия (“Отклики на кончину профессора С.Б. Бернштейна [1911–1997 гг.]”).

*Н.Е. Ананьева* в докладе “Профессор С.Б. Бернштейн и польская славистика” проанализировала отдельные труды российского слависта и показала, что полонистика (в том числе польская диалектология) всегда входила в сферу его профессиональных интересов, более того: польская филологическая наука давала как материал, так и новые идеи, новые импульсы его творчеству. *Р.П. Усикова* (“С.Б. Бернштейн и развитие македонистики в нашей стране”) акцентировала внимание не только на трудах по македонскому языку самого С.Б. Бернштейна – ученика и продолжателя дела *А.М. Селищева*, –

но и на его роли в возрождении и успешном развитии в настоящее время македонистики в России. В докладе *Р.В. Булатовой* “О судьбе книги С.Б. Бернштейна “Очерки по македонскому языку”” подчеркнута глубокая, на протяжении всей жизни, увлеченность ученого проблемами македонского языка, македонистики в целом и освещена история написания данной монографии, охарактеризовано ее содержание. К сожалению, как известно, книга не была опубликована в свое время, и ныне ее рукопись хранится в Московском городском архиве.

*С.С. Скорвид* в докладе “Позднепраславянское диалектное членение” показал, как на современном этапе в соответствующем университетском курсе лекций на филфаке МГУ развиваются идеи С.Б. Бернштейна, изложенные им в книге “Очерк сравнительной грамматики славянских языков” (1961). В частности, курс сравнительной грамматики, читаемый в русле традиционного сравнительно-исторического подхода, за прошедшие десятилетия претерпел существенные изменения, обусловленные, с одной стороны, переориентацией общего преподавания славянских языков, а, с другой – развитием науки, открытием новых фактов, появлением новых гипотез. В качестве примера рассмотрена проблема диалектного членения в позднепраславянскую эпоху.

В докладе *Л.Э. Калнынь* “С.Б. Бернштейн и проект Общеславянского лингвистического атласа” (ОЛА) показано, почему ученый, наряду с другими ведущими славистами второй половины XX в., считается основателем/инициатором ОЛА – одного из фундаментальных трудов современного славянского языкознания: начало реальной работы над Атласом было положено докладом Р.И. Аванесова и С.Б. Бернштейна на IV съезде славистов (1958), в котором была обоснована идея структурированного пространства – славянского диалектного континуума, как объекта исследования в ОЛА. Мысли и предложения С.Б. Бернштейна в дальнейшем имели большое значение для развития данного проекта. *Г.П. Клепикова* в докладе “С.Б. Бернштейн и карпатское языкознание” подчеркнула выдающуюся роль ученого в становлении и развитии этого нового направления в ареально-типологической лингвистике, решающего задачи описания и интерпретации результатов длительных контактов в генетически гетерогенном пространстве зоны Карпат, а также в создании “Общекарпатского диалектологического атласа” (Вып.1–6. 1989–2001; Вып.7, последний, – в печати) – первого в Европе полилингвального, гетерофамильного, регионального атласа.

В совместном докладе *А.Н. Горяинова* и *М.Ю. Досталь* “С.Б. Бернштейн как историк славяноведения” отмечалось, что С.Б. Бернштейн – автор почти 50 историко-славистических работ; его биографические очерки, посвященные многим видным отечественным славистам, представляют большой научный интерес.

*Г.К. Венедиктов* в докладе “Новые изогlossы болгарского языка” поставил вопрос о понимании термина “новые изогlossы”, широко употребляемого в научной литературе и противопоставляемого термину “старые изогlossы”. По мнению докладчика, разграничение этих терминов не аргументировано каким-либо ясным, определенным критерием. В качестве такого критерия Г.К. Венедиктов предложил условно принять эпоху становления новоболгарского периода в истории языка и начало формирования новоболгарского литературного языка; в указанных хронологических рамках можно назвать изогlossы, время образования которых устанавливается весьма точно.

*Т.В. Попова* (“К вопросу о морфологической структуре болгарских существительных”) обосновала новый подход к проблеме морфемного членения словоформ мн.ч. некоторой группы существительных в болгарском литературном языке, предложив “слож-

ные” флексии (-ове, -ена, -ица и др.) рассматривать в синхронном плане в качестве структур, состоящих из двух частей – морфологического сегмента, расширяющего основу (-ов- и др.), и морфологической единицы – однофонемной флексии (-е, -а, -а и др.), что приводит к большей четкости описания словоизменительной системы существительных.

*Т.С. Тихомирова* в докладе “Еще раз о падеже” остановилась на роли, которую сыграла в развитии науки о падежах монография “Творительный падеж в славянских языках” (1958), написанная под руководством С.Б. Бернштейна и ориентированная на сравнительно-историческое описание всего объема разнородных значений данной формы. Высказано предположение, что единичей падежной системы следовало бы считать не отдельную падежную форму, но падежную словоформу во всей полноте ее лексических и функциональных особенностей. В докладе *М.И. Ермаковой* “Соотношение грамматических категорий одушевленность/неодушевленность ~ личность/неличность в серболужицких диалектах” содержались важные для истории серболужицких языков наблюдения над взаимодействием этих категорий, а также для характеристики отдельных групп современных говоров.

*О.С. Плотникова* посвятила свой доклад “Словенская диалектная дифтонгизация в свете данных сравнительной грамматики” некоторым аспектам обоснования генезиса и развития одного из сложных явлений в области словенского диалектного вокализма. *Т.Н. Молошная* в докладе “Категория определенности/неопределенности в грамматической структуре болгарского языка” описала некоторые ситуации функционирования определенного постпозитивного суффиксированного артикля, а также изложила наблюдения над передачей неопределенноличности с помощью различных морфологических средств. Круг вопросов, анализировавшийся в докладе *В.В. Усачевой* “Семантическая деривация и проблемы ономазиологии”, был рассмотрен, в частности, на материале ряда терминологических названий, зафиксированных в славянских языках и диалектах.

Следует специально отметить, что к Читиням Филологический факультет МГУ опубликовал “Филологический сборник памяти профессора С.Б. Бернштейна. К пятилетию со дня кончины” (М., 2002. 66 С.), в котором содержатся воспоминания некоторых учеников и коллег ученого, тезисы многих упомянутых выше докладов и иные материалы.

## Литературно-информационный центр в Братиславе

Литературно-информационный центр был учрежден указом министра культуры Словацкой республики И. Гудеца в сентябре 1995 г. Первоначально число его сотрудников доходило до 117 человек. Центр во многом стремился компенсировать активность других общественно-культурных организаций, направленность работы которых не соответствовала представлениям и интересам правительственных кругов того времени. Именно поэтому после выборов в 1998 г. и смены правительственного курса он стал подвергаться резкой критике, вплоть до требования ликвидации, со стороны литературных кругов, политически находившихся в оппозиции к предшествующему руководству.

Постепенно мы, однако, нашли поддержку со стороны нового руководства Министерства культуры СР прежде всего потому, что Литературно-информационный центр после своей реорганизации зарекомендовал себя как жизнеспособное и необходимое учреждение. В настоящее время в нашем Центре работает 31 сотрудник, в том числе более двадцати квалифицированных специалистов – менеджеров культуры.

В круг задач Центра не входят научно-теоретические или исследовательские разработки. Наша деятельность определяется информационными запросами и прежде всего направлена на пропаганду и распространение сведений о словацкой литературе как внутри нашей страны, так и в особенности за рубежом. Организационная структура – два производственных сектора, административно-экономический аппарат (7 человек) и дирекция (3 человека) – подчинена выполнению этих главных задач Центра.

В Секторе внутренней деятельности основным является Литературное отделение, аккумулирующее необходимые материалы и составляющее рекомендации для конкретной работы. Оно отвечает за профессиональное качество продукции всего Литературно-информационного центра. Важнейшим участком деятельности сектора является информационное обеспечение собственной интернетовской страницы ([www.lisentrum.sk](http://www.lisentrum.sk)), которая призвана суммировать основные сведения о словацкой литературе и литературной жизни в Словакии для сло-

вацких пользователей и зарубежных специалистов – словакистов, переводчиков, издателей – всех интересующихся, осуществляя публикации не только на словацком, но и на английском, немецком, французском и русском языках.

В сферу постоянных занятий сектора включена издательская деятельность. Мы концентрируем свое внимание на литературоведческих изданиях, издаем бюллетень “Knizna revue” (“Книжное обозрение”) периодичностью два раза в месяц, оперативно информирующий читателей о новинках книжной продукции в Словакии, журнал “Slniecko” (“Солнышко”), предназначенный для школьников младших классов. До недавнего времени мы издавали и теоретический журнал “Литерика”, но после реорганизации Центра в 1999 г. его издание было прекращено. Потребность в подобном журнале по-прежнему ощущается, и мы надеемся возобновить его выпуск. Впрочем, это будет зависеть от того, какие задачи перед нами поставит и какие средства выделит обновленное – после парламентских выборов 2002 г. – руководство Министерства культуры СР.

Сектор зарубежной деятельности имеет три основных направления. Первым является обеспечение достойного представительства словацкой книжной продукции на крупных международных книжных ярмарках. Мы ежегодно принимаем участие в шести подобных мероприятиях – в Лондоне, Болонье (литература для детей и юношества), Женеве, Праге, Варшаве и Франкфурте-на-Майне. Для участия в других ярмарках нам не хватает средств.

Важнейшей задачей сектора является налаживание сотрудничества с иностранными организациями и учреждениями, с издателями, переводчиками и отдельными авторами, а также поддержка распространения словацкой литературы за рубежом. Мы были приняты в РЕЦИТ – организацию, объединяющую Центры художественного перевода в государствах Европейского союза, хотя Словакия пока еще не является его членом. Один из наших сотрудников в течение почти двух лет исполнял обязанности вице-президента РЕЦИТ. В числе наших успешных мероприятий мне хотелось бы на-

звать Международный конгресс поэтов (World Congress of Poets), проведенный в 1997 г. в Братиславе. В нем приняло участие более 100 поэтов. В 1998 г. в Тренчанских Теплицах состоялась встреча европейских писателей. Среди приехавших был и хорошо известный у нас Ч. Айтматов. Мы провели также Месячник словацкой поэзии в Театре имени Мольера в Париже, организовали передвижную выставку детской книги в Италии под названием “Солнце”, которая три года путешествовала по таким крупным городам, как Удине, Генуя, Милан, Флоренция, Рим и другие. Во время вернисажа устраивались лекции по словацкой литературе и проблемам перевода. Тогда же в Италии была издана антология словацкой детской литературы. Нами была организована конференция, посвященная переводам словацких художественных произведений на французский язык в Институте славянских исследований в Париже. Проблематика словацкой литературы дважды обсуждалась и в Лондонском университете.

В сотрудничестве с Министерством культуры Французской республики и директором поэтического Театра имени Мольера мы приступили к организации Центра франкофонных поэтов Центральной и Восточной Европы. Штаб-квартира этого Центра будет располагаться в Братиславе.

В течение шести лет работы мы поддерживали издание более ста произведений словацкой литературы за рубежом, в основном в Европе, а также в Китае, Индии, Турции и в странах арабского мира, выплачивая гонорары авторам и переводчикам, а при необходимости участвуя в типографских расходах. Кроме того, мы издаем словацкий литературный журнал на английском, немецком, а в отдельных случаях и на французском и итальянском языках. На английском и немецком языках издается также “Альбом словацких писателей”.

При наличии договора с издательством мы нередко предоставляем переводчикам стипендию для поездки в Словакию (максимум на один месяц) с целью осуществления непосредственных контактов и общения с литераторами и лингвистами. В стипендию входит оплата проживания в гостинице и определенная сумма для расходов на питание. С формой заявок на издание перевода или получение стипендии можно ознакомиться на нашей интернетовской странице. Заявки можно присылать электронной почтой. Дотация на издание выделяется соответствующему издательству на основе представленных в наш Литературно-информационный центр нескольких экземпляров переведенного произведения.

Мы открыты к сотрудничеству, в том числе и с Институтом славяноведения, гостеприимно принявшим нас во время пребывания в Москве. Осознавая разницу в профиле наших учреждений, мы тем не менее полагаем, что в определенных областях могли бы быть полезны друг другу. Мы с интересом и с большой пользой для себя следим за научно-исследовательской работой сотрудников Института, специалистов по истории культуры и литературы Словакии. С другой стороны, мы охотно оказываем организационную помощь вашим ученым, посещающим нас в Братиславе во время научных командировок, снабжаем их нашими изданиями. Одной из форм возможного сотрудничества, о которой стоило бы подумать, могла бы быть организация симпозиума с заранее согласованной программой – в Москве или в Будмерицах (в Доме творчества словацких писателей) с последующим изданием материалов. Такая встреча, несомненно, послужила бы делу укрепления традиционных культурных связей между нашими братскими славянскими народами.

© 2003 г. В. Тимора



## К юбилею Геннадия Филипповича Матвеева

2 ноября 2003 г. исполнилось 60 лет известному российскому историку-слависту, профессору, доктору исторических наук Геннадию Филипповичу Матвееву.

В 1971 г. он окончил исторический факультет МГУ по кафедре истории южных и западных славян, а затем там же аспирантуру под научным руководством И.М. Белявской. Г.Ф. Матвеев остался верен своей *alma mater* и по сей день работает на кафедре истории южных и западных славян, с 1991 г. являясь ее заведующим.

Так получилось, что в памятные для Польши годы (1970–1971, 1974–1975, 1980–1981) Г.Ф. Матвеев стажировался в Варшавском университете. Может быть, потому он так хорошо чувствует пульс страны, занявшей центральное место в его научной и преподавательской деятельности.

Г.Ф. Матвеев пришел в историческую науку в начале 1970-х годов, во времена жестких идеологических установок и партийного управления научной жизнью, когда доминирующим руслом советского славяноведения было изучение истории национально-освободительного и рабочего, главным образом коммунистического, движений. Однако будущий профессор избрал иное направление исследований: его кандидатская диссертация, защищенная в 1976 г., была посвящена эволюции национальной демократии в межвоенный период – правого, националистического течения польской общественной мысли и политического лагеря.

В 1980-е годы, продолжая разработку истории этностики, Г.Ф. Матвеев значительно расширил сферу своих научных интересов, обратившись к изучению весьма актуальной в научном плане и политически острой тогда проблемы – истории аграризма. Крупное течение европейской общественной мысли XX ст. в то время было фактически исключено из реестра дозволенного советским уче-

ным. На материале ряда славянских стран Г.Ф. Матвеев проанализировал национальные варианты аграризма – польский, чехословацкий, болгарский, сербский, осветил политику демократических крестьянских партий, принявших аграризм в качестве идейной платформы. Итогом работы Г.Ф. Матвеева по данной проблематике явилась книга «“Третий путь”? Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период» (М., 1992), успешно защищенная в качестве докторской диссертации.

Цикл исследований по аграризму знаменовал шаг ученого от страноведения к региональному подходу и, одновременно, его обращение к более раннему периоду – концу XIX – началу XX в. В том же региональном разрезе лежит интерес Г.Ф. Матвеева к проблеме национальных меньшинств в Центральной и Юго-Восточной Европе, проблеме, ставшей актуальной в постверсальскую эпоху и особенно в канун Второй мировой войны, но уходящей своими корнями в XIX век.

В 1990-е годы, когда на время приоткрылись недостижимые ранее для историков российские архивохранилища, Г.Ф. Матвеев активно включился в работу над документальными публикациями по чрезвычайно важным и до сих пор дискуссионным в науке темам. Несомненным вкладом в историческую полониистику стал подготовленный им при участии польских ученых сборник документов “СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944–1949”, вышедший в 1995 г. в России и Польше. Эта книга открыла серию фундаментальных публикаций советских документов по истории отношений СССР со странами Восточной Европы после Второй мировой войны.

В 1997 г. в Варшаве на польском языке вышел из печати сборник «“Восстание” в Заолзье. Польская спецоперация», подготовленный Г.Ф. Матвеевым совместно с



коллегам из Польши. Содержащиеся в нем документы позволяют непредвзято судить о польской оккупации небольшого района Чехословакии накануне Второй мировой войны. В 1998 г. последовала публикация еще одного сборника документов, относящихся преимущественно к 1930 г., – «Операция “Лом”. Польская диверсионная деятельность в Закарпатской Руси». В подготовке обеих книг, основанных на материалах II отдела Генштаба Войска Польского, решающую роль сыграло знание Г.Ф. Матвеевым фондов Российского центра хранения историко-документальных коллекций.

Весьма актуальна и готовящаяся в настоящее время Федеральной архивной службой России в кооперации с польскими партнерами при самом активном участии Г.Ф. Матвеева публикация документов отечественных и польских архивов, посвященная истории польско-советской войны 1919–1920 гг. и судьбам военнопленных обеих сторон этого вооруженного конфликта.

Г.Ф. Матвеев играет видную роль в российско-польском сотрудничестве историков, в том числе, в качестве вице-председателя российской части Комиссии историков России и Польши. Особенно тесными являются его контакты с лодзинскими коллегами. Помимо названных выше публикаций источников, плодом сотрудничества с польскими коллегами стал изданный под его редакцией сборник статей “Модернизация в Центральной и Восточной Европе. Идеи, программы, реализация” (М., 2000).

Как полонисту Г.Ф. Матвееву близка мысль о необходимости углубленного изучения истории Украины и Белоруссии. Это понимание носило отражение как в его собственных исследованиях, так и в подготовке им молодых специалистов.

Естественно, много сил и времени поглощает учебный процесс, в организации которого в полной мере проявился дар Г.Ф. Матвеева – руководителя. За время его пребывания в должности заведующего кафедры пополнила свой ресурс солидными учебными пособиями, прежде всего двухтомной “Историей южных и западных славян”, увидевшей свет в 1998 г. Под руководством профессора Г.Ф. Матвеева защищено девять кандидатских диссертаций.

Г.Ф. Матвееву присуще бережное отношение к традициям кафедры (с создания которой, собственно, и началось возрождение отечественного славяноведения), памяти о ее преподавателях. Свидетельство тому – ряд мемориальных конференций и юбилейных сборников, где, помимо научной части, неизменно присутствует элемент воспоминаний. Память о предшественниках и забота о смене

– не только привлекательная человеческая черта, но и качества, немало способствующие как научной, так и педагогической деятельности. Дух кафедрального товарищества передан многим выпускникам. Они знают, что заведующий с готовностью придет на помощь, что это мудрый, надежный и неизменно доброжелательный человек.

Начав свою профессиональную деятельность сразу по окончании МГУ в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (1971–1972 гг.), Г.Ф. Матвеев не утрачивает связи с Институтом славяноведения РАН и по сей день: участвует в проводимых им конференциях, оппонировать на защите диссертаций, является членом редколлегии и автором журнала “Славяноведение”, публикует свои работы в других институтских изданиях и откликается на институтские труды рецензиями. Однако не ошибемся, сказав, что самая прочная и живая связь Г.Ф. Матвеева с Институтом заключена в сотрудниках последнего, прошедших кафедральную школу. Руководимая юбиляром кафедра была и остается главным поставщиком кадров историков-славистов для Российской академии наук, и возможности взаимодействия кафедры и Института славяноведения далеко не исчерпаны. Надежды на углубление этого принципиально важного сотрудничества с полным на то основанием мы связываем прежде всего с Г.Ф. Матвеевым.

Спокойная, неторопливая речь, характерная интонация размышления вслух, реализм в оценке исторических событий и различных жизненных ситуаций, вескость аргументов и вместе с тем искренняя увлеченность своим делом – эти черты Г.Ф. Матвеева-педагога и коллеги, безусловно, памятливы всем знающим его и для многих служат примером.

В профессиональной среде Г.Ф. Матвеев хорошо известен как опытный специалист, вдумчивый рецензент, яркий и ответственный публицист. Выступая по острым, болезненным проблемам, он демонстрирует не только профессионализм в работе с источниками, но также независимость в суждениях и внушающую уважение гражданскую позицию.

Поздравляя Геннадия Филипповича с юбилейной датой, от души желаем ему здоровья и плодотворного продолжения многогранной деятельности на поприще славяноведения.

© 2003 г. Л.Е. Горизонтов, А.Ф. Носкова

Редколлегия и редакция журнала “Славяноведение” присоединяются к поздравлениям юбиляру.

## УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2003 ГОДУ

Волков В.К. Место славяноведения в системе гуманитарных знаний..... № 5

### СТАТЬИ

Адельгейм И. Обновление психологического языка в межвоенной польской прозе.....	№ 3
Багдасаров А.Р. О варьировании литературных норм в современном хорватском языке.....	№ 5
Будагова Л. Чешский сюрреализм. Динамика и функция.....	№ 3
Виноградов В.Н. Канцлер А.М. Горчаков в водовороте Восточного кризиса 70-х годов XIX века.....	№ 5
Гардзанини М. Библия и экзегеза в России начала XVI века. Новая интерпретация “Послания” старца псковского Елеазаровского монастыря Филофея дьяку Мисюрю Григорьевичу Мунехину.....	№ 2
Гонно П. Неблагочестие и трактовка Священного Писания в “Повести о Савве Грудцыне”.....	№ 2
Досталь М.Ю. Кафедра славянской филологии МГУ (1943–1948): К 60-летию основания.....	№ 5
Из словаря “Славянские древности”.....	№ 6
Ильина Г. Лики Мирослава Крлежи (Трагедия левой художественной интеллигенции XX века).....	№ 3
Калугин В.В. Библейские цитаты в связи с вопросом атрибуции древнерусского перевода (на материале “Книги святого Августина”).....	№ 2
Макарова И.Ф. Русские подданные турецкого султана.....	№ 1
Макарова И.Ф. Русский царь в народных представлениях болгар.....	№ 5
Максимович К.А. Службная майская минея как памятник древнеболгарского книжного языка (К новейшему изданию Путятиной минеи XI века).....	№ 6
Марьина В.В. Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 1939–1943 годы.....	№ 1
Марьина В.В. Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация идеи. 1944–1946 годы.....	№ 3
Менцвель А. Мой взгляд на XX век.....	№ 3
Лаптева Л.П. Йозеф Добровский и русское славяноведение в XIX веке.....	№ 6
Нещименко Г.П. Великий чешский ученый Йозеф Добровский.....	№ 6
Опарина Т.А. Образ “третьей части звезд небесных” в русской публицистике XVII века.....	№ 2
Панек Я., Пешек И. Историки против насилия над историей. Точка зрения Содружества историков Чешской Республики.....	№ 1
Пономарева Н. Стремление к синтезу. Художественные тенденции в болгарской прозе и драматургии второй половины XX века.....	№ 3
Поп И.И. Историография истории русин и Подкарпатской Руси.....	№ 1
Романчук Р. Автор или читатель? Библейская цитата и библиографическая ссылка в текстах Древней Руси (XI и XV веков).....	№ 2
Свирида И.И. Пространство и культура: аспекты изучения.....	№ 4
Страхова О.Б. Языковая практика создателя “Слова о полку Игореве” и лингвистические взгляды Йозефа Добровского.....	№ 6
Флакер А. Глобализация пространства в хорватской литературе XX века.....	№ 3
Хаванова О.В. “Хунгарская” и “мадьярская” проекции венгерской нации в общественной жизни и системе образования в конце XVIII века.....	№ 4
Шведова Н. Эхо символизма: лирика Ивана Краско и словацкая поэзия XX века.....	№ 3

## СООБЩЕНИЯ

Белякова С.М. (Тюмень). Признаки “глубокий” и “высокий” в народной культуре.....	№ 6
Валенцова М.М. Словацко-южнославянские параллели: I. вилла.	№ 2
Венедиктов Г.К. О датах жизни Ю.И. Венелина.....	№ 1
Гальвоник А. (Братислава). Словацкая проза после 1989 года.....	№ 6
Данченко С.И., Чуркина И.В. Научная деятельность С.А. Никитина.....	№ 1
Иванова А. (София). Сербия в критике и публицистике Ивана Вазова.....	№ 6
Колин А., Стыкалин А.С. О работе комиссии историков России и Румынии.....	№ 3
Коровицына Н.В. Завершение строительства “основ капитализма” в постсоциалистическом обществе (по материалам конференции социологов стран Центральной Европы).....	№ 1
Косик В.И. Русская молодежь в эмиграции.....	№ 4
Косик В.И. Русская Церковь в Болгарии (1940–1950-е годы).....	№ 6
Крисань М.А. В поисках потерянного мира. О функционировании элементов крестьянской культуры в условиях эмиграции (на примере польских крестьянских писем рубежа XIX–XX веков).....	№ 4
Курбатов О.А. “Литовский поход 7168 года” князя И.А. Хованского и битва при Полонке.....	№ 4
Муртузалиев С.И. Вклад Ю.И. Венелина в изучение начального периода османского господства в болгарских землях (К 200-летию со дня рождения ученого).....	№ 1
Носов Б.В. Политика правительства Екатерины II в отношении Речи Посполитой и военные планы России в 1762–1763 годы.....	№ 4
Плотникова А.А. Актуальные вопросы изучения современного состояния языка в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Черногории.....	№ 3
Савицкий И. Становление Парижа как столицы русской эмиграции.....	№ 4
Серапионова Е.П. Т.Г. Масарик, К.Крамарж и русская эмиграция.....	№ 4
Стыкалин А.С. Международные научные конференции, посвященные истории Венгрии и русско-венгерских отношений.....	№ 5
Турилов А.А. Эпизод болгаро-сербско-русских связей середины XVII века (гипотеза о происхождении Карловацкой рукописи “Сказания о письменах” Константина Костенецкого).....	№ 2
Улуян А.А. Возрожденная Болгария.....	№ 3
Фрейдзон В.И. По поводу обстоятельств возникновения военных поселений в России.....	№ 2
Чуркина И.В. Русско-славянская филология в Тартуском университете.....	№ 5

## ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Акимова О.А. Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova.....	№ 5
Васильев М.А. Д.Е. Мишин. <i>Сакалиба</i> (славяне) в исламском мире в раннее средневековье.....	№ 4
Герчикова И.А. С.В. Никольский. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов).....	№ 3
Горизонтов Л.Е. И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки.....	№ 5
Гузенкова Т.С. В.В. Петровский. Современные украинско-российские отношения в западной интерпретации.....	№ 5
Досталь М.Ю. Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice.....	№ 4

Желички Б.И., И. Поп. Энциклопедия Подкарпатской Руси .....	№ 1
Задорожнюк Э.Г. Rozpad Československa. Česko-slovenské vzťahy 1989–1992.....	№ 5
Клопова М.Э. А.Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны .....	№ 3
Косик В.И. Бялата эмиграция в България. Материали от научна конференция. София, 23 и 24 септември 1999 г.....	№ 4
Марисина И.М. И.И. Свирида. Между Петербургом, Варшавой и Вильно: художник в культурном пространстве. XVIII – середина XIX в. Очерки .....	№ 5
Мишин Д.Е. Е.С. Галкина. Тайны русского каганата .....	№ 4
Носов Б.В. A. Bues. Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch-litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert. Möglichkeiten von Integration und Autonomie. ....	№ 2
Носов Б.В. Z. Zielińska. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku.....	№ 2
Носова А. М. Otáhal. Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání .....	№ 6
Ржанникова О.А. Н.В. Котова. Горно поле. Дупнишко. Речник .....	№ 6
Седова Н.В. Korespondence: T.G. Masaryk – B. Hlaváč .....	№ 3
Серапионова Е. L. Harbul'ová. Ruská emigrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktôbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939).....	№ 4
Сисс-Кшишовский С. Славянская учебная библиотека О.М. Бодянского: Каталог: Из собрания научной библиотеки МГУ .....	№ 5
Стыкалин А.С. Е.Ю. Сергеев. “Иная земля, иное небо...” Запад и военная элита России (1900–1914 гг.).....	№ 5

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Березович Е.Л., Толстая С.М. Конференция “Славянская этнолингвистика и проблемы изучения традиционной народной культуры” .....	№ 6
Горизонтов Л.Е. Национальные идеи и их геополитические проекции (Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа) .....	№ 2
Данченко С.И., Чуркина И.В. Международная научная конференция “Профессор Сергей Александрович Никитин и его историческая школа (К 100-летию со дня рождения)” .....	№ 1
Досталь М.Ю., Фалькович С.М. Международная конференция “Национально-культурное возрождение славянских народов и Карпатский регион (К 200-летию со дня рождения Ю.И. Венелина)” .....	№ 1
Досталь М.Ю. Международная конференция “200 лет русско-славянской филологии в Тарту” .....	№ 5
И.С. Конференция “Пространство в культуре. Культура в пространстве” .....	№ 4
Калнынь Л., Клепикова Г. “Круглый стол” “Методы изучения территориальных диалектов. К итогам опыта славянской диалектологии XX века”.....	№ 5
Клепикова Г.П. Чтения, посвященные памяти профессора С.Б. Бернштейна .....	№ 6
Машкова А.Г. Международная научная конференция “Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение) .....	№ 5
Новые издания Института славяноведения РАН.....	№ 3
Парсоданова В.С., Носкова А.Ф. К 90-летию И.М. Белявской (1913–1975) .....	№ 2
Платонова И.В. Научная конференция “Ю.И. Венелин и Болгарское национальное возрождение” .....	№ 5
Созина Ю.А. “Круглый стол” “Поэтический мир славянства” .....	№ 3
Тимора В. Литературно-информационный центр в Братиславе .....	№ 6
Фролова М.М. Научная конференция “Юрий Иванович Венелин: 200 лет со дня рождения (1802–1839)” .....	№ 1
Цыбенко О.В. Международная научная конференция “Польша в России – Россия в Польше. Диалог культур и политические отношения”. .....	№ 3
Шведова Н.В. Конференция “Фантастика и сатира в славянской литературе и культуре XX века” .....	№ 3

## ДИСКУССИИ

Иванов С.А. Концепция К. Цукермана и византийские источники о христианизации Руси в IX веке.....	№ 2
Калинина Т.М. Восточные источники о древнерусской государственности (К статье К. Цукермана “Два этапа формирования Древнерусского государства”).....	№ 2
Седов В.В. ( О русах и Русском каганате IX в. (В связи со статьей К. Цукермана “Два этапа формирования Древнерусского государства”).....	№ 2

## ПУБЛИКАЦИИ

Заварин А.А. Страницы из воспоминаний.....	№ 4
--	-----

## ЮБИЛЕИ

Горизонтов Л.Е., Носкова А.Ф. К юбилею Геннадия Филипповича Матвеева ....	№ 6
Дыбов В.А. К юбилею Г.П. Нецименко .....	№ 4
Карасев А.В. К юбилею Искры Васильевны Чуркиной.....	№ 2
Стыкалин А.С. К 80-летию Андрея Ивановича Пушкаша.....	№ 1
Стыкалин А.С. К юбилею Эмиля Нидерхаузера.....	№ 5
Стыкалин А.С. К юбилею Александра Михайловича Орехова .....	№ 5
Хорев В.А. К юбилею профессора Елены Захаровны Цыбенко .....	№ 2

## НЕКРОЛОГИ

Горизонтов Л.Е., Стыкалин А.С. Памяти Александра Сергеевича Мыльникова (1929–2003).....	№ 5
Досталь М.Ю. Памяти С.В. Смирнова.....	№ 4
Памяти С.П. Бобровой .....	№ 4
Памяти Ф. Якопина (1921–2002) .....	№ 2

## Новые издания Института славяноведения РАН

В 2000–2003 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- Адельгейм И.Е.* Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.
- \**Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
- \*А.С.Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.
- \*Балто-славянские исследования. 1998–1999. М., 2000.
- Белова О.В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.
- Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.
- Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.
- \**Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.
- \**Задорожнюк Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.
- \**Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.
- \**Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.
- \*Книга в пространстве культуры. М., 2000.
- Лябынцева Ю.А., Щавинская Л.Л.* Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.
- \**Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.
- Международные организации и кризис на Балканах. Документы. М., 2000. Тома I, II.
- Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции. М., 2000. Ч. I.
- \**Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.
- \*Политика и поэтика. Сб. статей. М., 2000.
- Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
- Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- \*Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000.
- Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1–2.
- \*Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000.
- \*Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М., 2000.
- \**Хаванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.
- \*Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. М., 2000.
- \*Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии. М., 2001.
- \*Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001.
- \**Гугнин А.А.* Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
- Европейские революции 1848 г. "Принципы национальности" в политике и идеологии. М., 2001.
- \*Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.; Новосибирск, 2001.
- \*Институт славяноведения. 1999–2000. М., 2001.
- \*Исследования по славянской диалектологии. М., 2001. 7.
- \*История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3.
- \**Калынь Л.Э.* Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах. М., 2001.
- Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. М., 2001.
- \**Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
- \**Молошная Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.

- \**Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001.
- Никольский С.В.* Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001.
- \**Смирнов Л.Н.* Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001.
- Стыкалин А.С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
- Фрейдзон В.И.* История Хорватии. М., 2001.
- Агапкина Т.А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
- \**Аникеев А.С.* Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период “холодной войны” (1945–1957). М., 2002.
- \**Вендина Т.И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.
- \**Исследования по славянской диалектологии.* М., 2002. 8.
- Левкиевская Е.Е.* Славянский обрег. Семантика и культура. М., 2002.
- \**Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
- \**Литература Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы.* М., 2002.
- Признаковое пространство культуры. М., 2002.
- \**Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков.* М., 2002.
- \**Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре.* М., 2002.
- Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. М., 2002. Т. 2: 1949–1953.
- \**Софронова Л.А.* Три мира Григория Сковороды. М., 2002.
- \**Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы.* М., 2002.
- \**Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева.* М., 2002.
- \**Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы.* М., 2002.
- \**Утопия и утопическое в славянском мире.* М., 2002.
- \**Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в.* СПб., 2002.
- Шемякин А.Л.* Смерть графа Вронского. М., 2002.
- \**Шерлашова С.А.* Литература “Пражской весны”: до и после. М., 2002.
- \**Пушкаш А.И.* Внешняя политика Венгрии. Февраль 1937 – сентябрь 1939 г. М., 2003.
- \**Славянская этнолингвистика. Библиография.* М., 2003.
- \**Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIII в.* М., 2003.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938–54–66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

## CONTENTS

### TOWARD THE 250TH ANNIVERSARY OF JOZEF DOBROVSKY

<i>Neshimenko G.P.</i> (Moscow). Great Czech Scholar Jozef Dobrovsky.....	3
<i>Lapteva L.P.</i> (Moscow). Jozef Dobrovsky and Russian Slavic Studies in XIX Century.....	19
<i>Strakhova O.B.</i> (Cambridge, USA). Language Practice of the Author of "The Tale of Igor's Host" and Jozef Dobrovsky's Linguistic Views .....	33

### ARTICLES

<i>Maximovich K.A.</i> (Moscow). May Liturgical Minea as a Monument of the Old Bulgarian Bookish Language (on the New Publication of XI Century Putyata's Minea).....	62
From the Dictionary "Slavic Antiquities".....	71

### COMMUNICATIONS

<i>Kosik V.I.</i> (Moscow). Russian Church in Bulgaria (1940–1950-ies) .....	85
<i>Ivanova A.</i> (Sofia). Serbia in Ivan Vazov's Criticism and Journakism.....	94
<i>Galvonik A.</i> (Bratislava). The Slovak Prose After 1989.....	97
<i>Belyakova S.M.</i> (Tumen). Adjectives "deep" and "high" in Folk Culture.....	100

### REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Nosova A.M.</i> M. Otáhal. Normalizace 1969–1989. Příspěvek ke stavu bádání .....	103
<i>Rzhannikova O.A.</i> Н.В. Котова. Горно поле. Дупнишко. Речник .....	106

### SCHOLARLY LIFE

<i>Berezovich E.L., Tolstaya S.M.</i> The Conference "Slavic Ethno-Linguistics and Problems of the Traditional Folk Culture Study".....	108
<i>Klepikova G.P.</i> Readings in Memoriam of Professor Samuel B. Bernstein .....	115
<i>Timora V.</i> Literary-Information Center in Bratislava.....	117



PERSONALIA

<i>Gorizontov L.E., Noskova A.F.</i> Toward Gennady Filippovich Matveev's the Anniversary.....	119
Index of Articles and Materials Published in the Magazine in 2003.....	121
New Rublications of the Institute for Slavic Studies, RAS.....	125

---

Сдано в набор 01.08.2003 Подписано в печать 29.09.2003 Формат бумаги 70 × 100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 6,0 тыс. Уч.изд.л. 12,1 Бум.л. 4,0  
Тираж 561 экз. Зак. 7715

---

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года  
В Министерстве печати и информации Российской Федерации  
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

---

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90  
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20  
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6  
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

